Н.ХОДЗА
ЗЛАЯ
ЗВЕЗДА

Н. ХОДЗА

ЗЛАЯ ЗВЕЗДА

ПОВЕСТИ

ЛЕНИЗДАТ · 1976

X69

X $\frac{70302-000}{M171(03)-76}$ 000—76

ОПЕРАЦИЯ „ЭРЗАЦ“

ПРОЛОГ

В середине октября начальник контрразведки Ленфронта вызвал к себе капитана Лозина *.

— Нитка продолжает молчать? — спросил он, разглаживая пальцами морщины на широком лбу.

— Молчит, товарищ старший майор. Хочется думать, что дело в передатчике.

Старший майор поморщился:

— Из всех вариантов нам полагается выбирать наихудший. Неисправный передатчик — полбеды. А если провал? Если она арестована?

— Я запросил сиверских партизан, товарищ старший майор. Приказал узнать о ее судьбе и срочно сообщить.

— И что же?

— Сообщений пока не поступало.

— Вы помните последнее донесение Нитки?

— О типографии?

— Да. Для чего немцам на Сиверской типография? — спросил начальник контрразведки и, не дожидаясь ответа, продолжал: — Младенцу ясно, чтобы печатать фальшивые документы наших воинских подразделений, гражданских организаций. Это облегчит им заброску шпионов, диверсантов и в Ленинград и в воинские части,— он поднял прищуренный взгляд на капитана.— У вас есть другие предположения?

— Никак нет. Я как раз и собирался дать Нитке задание, связанное с этой типографией, но, к сожалению, связь оборвалась, и партизаны молчат.

* До января 1943 года воинские звания работников госбезопасности не совпадали с общевойсковыми. Звание капитана госбезопасности соответствовало званию полковника, звание старшего майора — званию генерал-лейтенанта.

— При чем тут партизаны?! — прервал недовольно старший майор.— Что бы ни случилось с Ниткой, дела сиверской типографии нам должны быть известны. Тщательно продумайте план внедрения в типографию нашего человека. Свои соображения доложите мне через три дня...

1. ДОПРОС НЕСВИЦКОГО

Несвицкого привезли в Кезево с завязанными глазами. Это была излишняя предосторожность: экскурсовод дворцов-музеев в Пушкине, он великолепно знал все царские резиденции — Павловск, Ораниенбаум, Петергоф, Гатчину, — но в поселке Кезево, близ Сиверской, никогда не бывал.

Когда «оппель-капитан» въехал во двор двухэтажного деревянного дома, сидевший рядом немецкий офицер сдернул с глаз Несвицкого повязку. Несвицкий боком выбрался из машины, и офицер молча ткнул пальцем в сторону часового, стоявшего у дверей дома.

Три дня назад Несвицкий сделал коменданту лагеря военнопленных заявление. Путая немецкие и русские слова, он просил дать ему возможность применить свои знания для спасения от гибели сокровищ, которые дороже золота. Решив, что пленному известно место хранения каких-то ценностей, комендант немедленно сообщил об этом начальству и в ответ получил приказание: двадцать пятого сентября доставить Несвицкого в Кезево, к начальнику абвергруппы 112 капитану Шоту.

Не зная, куда и зачем его везут, да еще с завязанными глазами, Несвицкий всю дорогу находился в полубессознательном состоянии, и когда его ввели в кабинет Шота, обессиленный, опустился на стул.

— Встать! — сказал тихо капитан Шот.— Мне из-

вестно о вашем устном заявлении коменданту лагеря военнопленных.— Шот говорил по-русски, старательно выговаривая каждое слово.— Но прежде отвечайте, что заставляло вас добровольно переходить к нам?

— Логика и всепоглощающая любовь к искусству, господин капитан.

— Я требую объяснений, а не загадок,— сказал Шот, не повышая голоса.

— Тогда разрешите изложить подробно?

— Я жду. Можете сесть.

— Благодарю вас. Господин капитан, у каждого интеллигентного человека есть цель, ради которой он живет. Я живу ради искусства. Мой бог — искусство. Я мог стать профессором, крупным ученым-искусствоведом, но я предпочел работу скромного экскурсовода в Царском Селе, чтобы всегда находиться в окружении прекрасного, всегда любоваться великими творениями Растрелли, Камерона, Стасова, Ринальди! Но я никогда не мог примириться с диким требованием большевиков увязывать искусство с какими-то социальными интересами, рассказывать обо всем с каких-то классовых позиций. Мне это было противно, но я был вынужден... Это была пытка — водить по дворцам самодовольную малограмотную толпу, неспособную отличить рококо от ампира! Ужасно! И вот началась война. Скажу откровенно, господин капитан, вначале я не верил, что Германия победит. Но когда ваши войска стремительно подошли к Ленинграду, я понял — война проиграна. Жертвы бессмысленны! В начале сентября меня мобилизовали. Я задал себе логический вопрос: война проиграна, зачем же я должен идти на фронт? Быть покорной овцой, ведомой на убой? Это не в моем характере! Но больше, чем о себе, я думал о трагической судьбе произведений искусства. Что станет с творениями великих мастеров? Эрмитаж, Русский музей, дворцы русских царей в пригородах Ленин-

града превратятся в руины. Я не мог смириться с этой мыслью, господин капитан. Я сказал себе: нет, я не буду соучастником этого трагического преступления! И когда Красная Армия оставляла Царское Село, я спрятался в подвале Екатерининского дворца, дождался прихода ваших войск и добровольно сдался в плен. Сдался, чтобы защищать искусство, чтобы служить ему. Располагайте мною, господин капитан. Я могу быть вам полезным по всем вопросам, имеющим отношение к архитектуре Ленинграда, к произведениям искусства, мне известно, где закопаны статуи, украшавшие парки Царского Села и Павловска...

Несвицкий умолк, ожидая ответа. Ему казалось, что теперь его жизнь вне опасности. Он много читал о поэтической, склонной к сентиментальности немецкой душе. Безусловно, капитан воспользуется его предложением...

Немец смотрел на Несвицкого сквозь очки с каким-то настороженным удивлением, стараясь понять, кто сидит перед ним. Дурак или трус? А может быть, и то, и другое?

— Ваше заявление имело касание именно этих сокровищ? — спросил Шот.

— Совершенно верно, господин капитан. Можете располагать мною...

— Да, я могу... Что вы будете говорить, если мы станем видеть полезным использовать вас иначе? Для быстрого окончания войны.

— Не знаю, чем я могу быть вам еще полезен?

— Много ли вы имеете знакомых в Ленинграде?

— Конечно, господин капитан.

— Составьте список ваших знакомых: кто имеет родственники в Красной Армии. Кто есть коммунист, кто есть еврей. Чтобы кончать войну скорее, эти люди должны иметь место в лагерях. Я говорю правильно?

— Простите, господин капитан, но ваше предложение несколько противоречит... как бы это сказать?.. Это противоречит и науке, и религии, и логике. Я говорю о религии, потому что знаю: великий человек нашего времени Адольф Гитлер верит в провидение... Вот почему я осмелюсь не согласиться с вами, господин капитан.

— Не согласиться...— задумчиво повторил Шот.— Это очень жаль... Немецкая армия имеет необходимость в услугах русских интеллигентов. Но вы не согласны... Однако у меня есть надежда, что вы будете думать не так... Буду просить вас взять стул и сесть туда... в тот угол, у двери.— Голос Шота из тихого и мягкого вдруг стал скрипучим и резким.— Без моего разрешения не трогаться с места! Не говорить ни слова!

Под жестким, пугающим взглядом немца Несвицкий поспешно поднялся и на цыпочках, вздрагивая от скрипа собственных шагов, перенес стул в угол, сел, положил руки на колени и одеревенел.

Шот протянул руку к настольному звонку и нажал кнопку. В дверях появился высокий костлявый фельдфебель.

— Einführen! — приказал Шот.

«Ввести»,— машинально перевел Несвицкий.

За дверью послышались шаги, и фельдфебель ввел в кабинет пленного матроса. Голова его была перевязана грязной, задубевшей от крови тряпкой.

Шот сделал фельдфебелю знак, и тот вышел.

— Я буду иметь с тобой разговор,— сказал тихо и даже приветливо Шот.— Русские говорят, что немцы стреляют пленных, но это есть большая неправда, это есть выдумка комиссаров. У русских есть умная поговорка: «Человек сам берет свою судьбу». Пленный есть человек, значит, пленный тоже сам берет свою судьбу. Я говорю правильно?

Матрос с каменным лицом, точно он был глух от рождения, смотрел куда-то поверх головы немца.

— Я хочу слушать твой ответ, голубчик. Я говорю правильно?

— Не, неправильно,— равнодушно ответил моряк.

Немец пристально вглядывался в матроса, улыбка не сходила с его тонких красных губ.

— Я вижу, голубчик, ты есть храбрый человек, ты говоришь свои мысли смело. Немецкий офицер умеет дать цену храбрости. Ты имеешь желание жить?

— Имею,— впервые матрос взглянул на Шота.— Очень даже имею...

— Я вижу, ты есть разумный человек. Разумный и храбрый. Я буду назначать тебя старшим полицай на весь район. Будешь хорошо сыт и одет...

— Мне эта работа не подходит,— скучным голосом сказал матрос.

— Говори, голубчик, какая тебе работа подходит?

— Бить сволочей-полицаев!

Шот подался вперед, зрачки его за толстыми стеклами очков сузились.

— Ты коммунист?

— Русский я...— Матрос сдвинул со лба повязку, тоненькая струйка крови медленно зазмеилась по его небритой щеке.

— Ты есть коммунист? Отвечай точно!

— Точно и говорю... Русский я. А русские теперь все коммунисты. Пока немцы на нашей земле — беспартийных у нас не будет! И не ищи иуд среди матросов... господин офицер...

Шот откинулся на спинку кресла, его длинные белые пальцы начали выбивать по столу дробь.

— Я не имел удовольствия от разговора с тобою.— Немец тяжело вздохнул.— Я хотел спасать твою молодую жизнь...— Он перестал выбивать дробь, пальцы

слегка поглаживали кнопку звонка.— У нас говорят: лучше один день на этом свете, чем тысяча дней на том. Это есть правильно. Сегодня ты сам будешь видеть, что это есть правильно.

Он нажал кнопку звонка.

Мгновенно появился фельдфебель. Шот кивнул головой в сторону матроса:

— Erhängen! *

Матрос не знал этого слова, но догадался о его значении.

— Рвань фашистская! — крикнул он уже в дверях.— Сдохнешь на русской земле!

Смотря вслед матросу, Шот укоризненно покачал головой:

— Это не есть интеллигентный человек. — Он повернулся к Несвицкому. — Вы можете подходить сюда. — На губах Шота снова появилась улыбка. — Будем иметь маленькое продолжение разговора.

Несвицкий встал, ноги его дрожали, казалось, он не в силах дойти до стола.

— Вы понимали, какой приказ я давал? — спросил Шот.

— Понял... да... В институте я учил немецкий... читал книги по искусству..

— Хорошо! — одобрил Шот. — Надо, чтобы все люди понимали немецкий приказ... Это им будет польза...

Он встал из-за стола, подошел к окну и отдернул тяжелый занавес.

— Матроса будут вешать вот на тот столб,— сказал он, не оборачиваясь.— Можете смотреть туда... И замечайте, рядом есть еще один столб. Можете смотреть на этот столб тоже. Но сейчас я хочу спросить, есть ли ваше согласие выполнять мои приказывания?

---

* Повесить! *(Нем.)*

Синими, помертвевшими губами Несвицкий почти неслышно выдавил:

— Я... согласен...

— Прошу говорить громко, я имею не очень хороший слух.

— Согласен написать все, что вы сказали...

— Вы родились в Пэтерзбурге?

— Да... в Петербурге...

— Это есть хорошо, голубчик.— Шот поглаживал кнопку звонка. Остекленевшими от страха глазами Несвицкий следил за пальцами немца. Сейчас он нажмет кнопку, и тогда...— Вы, конечно, знаете свой город,— услышал Несвицкий тихий голос Шота,— знаете, где есть заводы, казармы, военные школы. Вы имеете друзей на заводах, в учреждениях, в армии?

— Да... есть... Петербург я знаю...

— Хорошо, очень хорошо. Нам нужны интеллигентные люди.— Он поднялся с кресла и, держа палец на кнопке звонка, сказал приглушенным голосом: — Мы вас будем отправлять в школу разведчиков. И прошу запомнить: ваша фамилия будет...— Шот раскрыл лежащую перед ним папку и заглянул в нее: — Ваша фамилия будет Глухов. Иван Григорьевич Глухов.

— Иван Григорьевич Глухов... — пробормотал Несвицкий, не отрывая глаз от кнопки звонка.

— Правильно. А теперь идите получайте отдых. Вас проводят. Наш разговор будет иметь продолжение...

2. ПРИГОВОР ОТСРОЧИТЬ...

«Оборону флота и сего места держать до последней силы и живота, яко наиглавнейшее дело». Царь Петр, отдавший этот приказ, не мог предвидеть, какой ценой потомки выполнят его завещание.

В эти дни налеты на Кронштадт совершались с точностью железнодорожного расписания — каждые два часа. В промежутках между бомбежками на крепость обрушивалась с южного берега залива осадная артиллерия. Казалось, жизнь в городе-крепости должна была замереть. Но балтийцы жили в эти дни по своим законам, жили под снарядами и бомбами, окутанные дымом пожарищ, оглушенные залпами корабельных орудий. Круглые сутки не смолкал грохот, кронштадтцы забыли о сне. Под яростным огнем врага они ремонтировали распоротые бомбами корабли, вели смертельный поединок с фашистской артиллерией, сбивали вражеские самолеты, лечили раненых, чинили электросеть, выпускали газету, тушили пожары, и все это, вместе взятое, составляло теперь жизнь легендарной крепости на Балтике.

Старший лейтенант Виктор Мямин попал в Кронштадт в самом начале сентября сорок первого. Стройный, светлоглазый, он щегольски носил морскую форму и не выпускал из крепко сжатых губ изогнутую пенковую трубку. Небольшие русые бакенбарды делали его похожим на моряков прошлого столетия. Все официантки офицерской столовой были в него влюблены.

До войны Мямин служил на торговом флоте вторым помощником капитана, ходил в заграничные плавания и был у начальства на хорошем счету. Правда, накануне войны он получил выговор — за провоз запрещенных пластинок из Ливерпуля, но капитан отнесся к этому снисходительно. Нехорошо, конечно, когда певец вставляет в песню непристойные ругательства на всех европейских языках, но моряков этим не удивишь! Все же помполит корабля вызвал Мямина для беседы. Мямин покаялся:

— Не для себя вез, честное слово! Проиграл приятелю «американку», а он, скотина, потребовал, чтобы я привез ему эти пластинки! Вот и страдаю ни за что!

— Послал бы к чертовой матери такого приятеля!

— Товарищ помполит! Я нарушил таможенное правило, но честь советского моряка я не уроню! Это был долг чести — отдать проигрыш! — В голосе Мямина звучало негодование.

— Не по курсу держишь, товарищ Мямин. Не может честь советского моряка противостоять законам страны. Кто он, этот твой приятель? Где работает?

— Товарищ помполит, вы требуете невозможного. Элементарная порядочность не позволяет мне назвать его имя!

— Как хочешь, дело твое, но тогда придется нам продолжить разговор в пароходстве.

Мямин не мог назвать имени человека, которому он проиграл пари, потому что такого человека не существовало, пластинки он возил для продажи и получал за них хорошие деньги.

От помполита Мямин вышел в отвратительном настроении, не зная, как избавиться от разговора с начальником пароходства, человеком решительным и крутым. Но назначенный на понедельник разговор не состоялся: в воскресенье началась война, и через несколько дней Мямин оказался в Таллине на одном из военных кораблей.

Трагический переход кораблей из Таллина в Кронштадт едва не закончился для Мямина гибелью. Весь день за кораблем охотились фашистские бомбардировщики, торпедные катера, подводные лодки. Хлестали по нервам непрерывные выкрики сигнальщиков:

— Прямо по курсу мина!

— Мина слева!

— Самолеты по корме!

— Торпедные катера с норда!

Все это время Мямин находился в состоянии шока, страх парализовал его волю, в сознании билась лишь

одна мысль: лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Только бы скорее!

На исходе дня со стороны заходящего солнца на корабль обрушилась очередная шестерка бомбардировщиков. Грохот, вой, пронизывающий свист оглушили Мямина, он потерял сознание и очнулся в воде. Пробковый пояс держал его на воде, он плыл, не зная куда, слышал крики о помощи, колыхались на волнах трупы, проплывали какие-то ящики, обломки палубных надстроек, перевернутые шлюпки...

Его заметил под утро поисковый катер. Из последних сил Мямин подплыл к осторожно идущему навстречу катеру. Ему бросили конец, и Мямин вцепился в него посиневшими пальцами. На палубе он снова потерял сознание...

В Кронштадте Мямин получил назначение командиром посыльного судна «Тарту».

Переход из Таллина травмировал Мямина до такой степени, что при одной только мысли о боевом выходе в море его начинал бить озноб.

Пятого октября Мямин получил приказ взять на буксир баржу с мазутом и в три часа ночи в составе каравана отбыть из Кронштадта в Ленинград.

Командир отдела плавсредств не скрыл от Мямина, что задание опасно.

— Над заливом круглые сутки шныряют немцы...— говорил он осипшим от бессонницы голосом.— Пойдете ночью. Луны сегодня не будет. Надо пройти! Любой ценой надо пройти! Ошвартуетесь у моста Свободы.

— Есть ошвартоваться у моста Свободы! — не без лихости ответил Мямин, но тут же добавил: — Что-то моя посудина забарахлила!

— Немедленно примите меры! К утру баржа должна быть в Ленинграде! За исполнением приказа следит член Военного совета Ленфронта товарищ Жданов!

Уловив на лице Мямина сомнение, командир пояснил:

— Мазут предназначен для хлебозавода. Топлива осталось всего на два-три дня. Представляете, какие последствия повлечет за собой остановка хлебозавода, хотя бы на сутки? Ка-та-стро-фи-чес-кие!

Выйдя из отдела, Мямин взглянул на часы: одиннадцать сорок пять. Через пятнадцать минут начнется тревога — последнюю неделю немцы ровно в полдень начинали очередную бомбежку. До пирса, где стоит «Тарту»,— десять минут ходьбы. Но Мямин направился в противоположную сторону. Пройдя с километр, он повернул обратно и зашагал к гавани. Мямин рассчитал правильно: воздушная тревога застала его рядом с убежищем. Услыхав вой сирены, он поспешно шмыгнул в подвал, забрался в дальний угол и стал обдумывать план дальнейших действий.

Бомбовые удары сотрясали землю, рушились поблизости дома, вздрагивали цейхгаузы петровской кладки, но мощные своды убежища казались непробиваемыми. Здесь можно было чувствовать себя в безопасности. Мямин с озабоченным видом обдумывал, как избежать выполнения приказа, неизбежно связанного с большим риском. «Обидно, так обидно! — твердил он про себя.— Пришел бы приказ завтра, и — порядок». Завтра с утра он должен был лечь в госпиталь на пустяковую операцию — удаление гланд... Буксировку поручили бы его помощнику — политруку Амарову... А теперь... Да... Не повезло! Мямин грыз мундштук потухшей трубки. Надо найти выход... Обязательно! Командир отдела плавсредств сказал, что топливо на хлебозаводе кончится через два-три дня. Значит, никакой беды не будет, завод не остановится, если баржа придет на сутки позже... Да, единственный выход — протянуть время, лечь завтра утром в госпиталь, и пусть баржу ведет Амаров...

Бодро прозвучал отбой воздушной тревоги. Мямин вышел из подвала и отправился на «Тарту»...

Приказ о ночном рейсе немногочисленная команда «Тарту» встретила спокойно и сразу же начала готовиться к переходу. Политрук Амаров спросил Мямина, будет ли разрешено матросам навестить в Ленинграде родных.

— Родных! — Мямин не сдерживал раздражения. — Это что — увеселительная прогулка? Пикник? Не пришлось бы этим родным справлять по нас поминки!

Он удалился в свою каюту и не показывался до обеда. В пятнадцать часов Мямин сошел на берег и снова отправился в отдел плавсредств. Во втором этаже он остановился перед дверью с цифрой «13». Мямину приходилось бывать в этом большом кабинете заместителя командира Кронштадтского порта кавторанга Лидоренко, но он никогда не обращал внимания на номер комнаты, сейчас же эта «чертова дюжина» окончательно испортила ему настроение.

Задерганный множеством дел, куда-то торопившийся, Лидоренко столкнулся с Мяминым на пороге кабинета.

— К буксировке готовы? Возвращайтесь завтра в ночь, предстоит новое задание!—быстро проговорил он.

— Товарищ инженер-капитан второго ранга, докладываю, что посыльное судно «Тарту» выполнить приказ сегодня не может. Необходимо исправление серьезных неполадок, но завтра,— торопливо добавил Мямин,— завтра к утру судно будет в полной боевой готовности и с честью выполнит любое боевое задание!

Лидоренко оторопел. Никаких рапортов о повреждениях на «Тарту» в его отдел не поступало. «К утру будет в боевой готовности!» Но буксировка возможна лишь ночью.

— В чем дело? Какие неполадки? Почему не доложили своевременно?

— Только что обнаружено. При проверке готовности судна к выполнению задания. Трос на винт намотало. В таком состоянии судно полным ходом идти не может и отстанет от каравана.

— Черт знает что! В резерве — ни одной посудины! Отправляйтесь на судно и ждите дальнейших распоряжений!

Через полчаса на «Тарту» была получена телефонограмма: командиру предлагалось немедленно поднять краном судно, привести винт в порядок и в указанное время отбуксировать баржу в Ленинград.

Но Мямин решил не сдаваться, сделать еще одну попытку оттянуть время. Не приступая к выполнению приказа, он явился к дежурному по отделу плавсредств. В комнате дежурного, скудно освещенной единственной лампочкой, как всегда, было накурено, дым плотной кисеей колыхался под серым потолком.

Дежурный не спал вторые сутки и, боясь задремать в кресле, принимал моряков стоя у стола.

Мямин не торопился. Он пропустил вперед трех офицеров, пришедших позже, и, лишь когда все ушли, представился и сказал приглушенным голосом:

— Получил телефонограмму... Сомневаюсь в подлинности... Сигнализирую. Прошу проверить и подтвердить.

— Излагайте существо дела,— раздраженно сказал дежурный.

— Сорок минут назад получил вот эту телефонограмму, якобы от имени начальника штаба КБФ. Сомневаюсь, чтобы товарищ вице-адмирал лично занимался столь незначительным вопросом. Опасаюсь провокации врага. Прошу проверить. Вот телефонограмма...

Встревоженный дежурный схватил телефонограмму и скрылся в соседней комнате...

Он вернулся не скоро — кого-то не оказалось на месте, пришлось разыскивать.

— Все правильно!—решительно сказал Мямину дежурный.— Следующий!

Выйдя от дежурного, Мямин отправился в госпиталь. Главный врач оказался на операции, и Мямин решил его дождаться. Он считал, что поступает хитро и осторожно. Ну, к чему тут придерешься? Ни к чему! Он получит от главврача справку, что пятого октября подал заявление о переносе операции. Справка послужит доказательством того, что он готовился к выполнению задания в ночь на шестое и потому отложил операцию. Не его вина, что неполадки на «Тарту» не удалось устранить до вечера...

Главврач, измученный непрерывными операциями, издерганный нехваткой медикаментов и перевязочных материалов, чтобы избавиться от многословных объяснений Мямина, приказал выдать ему нужную справку.

Вернувшись на «Тарту», Мямин принялся сочинять рапорт. Рапорт получился всего на одну страницу, хотя Мямин трудился над ним больше часа, но зато все формулировки были точные, лаконичные, убедительные. Рапорт заканчивался звонкой фразой: «Заверяю командование, что в течение ночи все неполадки на посыльном судне «Тарту» будут устранены и команда с честью выполнит любое задание Родины».

Мямин знал, что днем буксировка из Кронштадта невозможна: никто не позволит обречь команду на бессмысленную гибель. Значит, «Тарту» выйдет только в ночь на седьмое, когда он, Мямин, будет находиться в госпитале.

Так рассчитал Мямин, но на деле получилось иначе.

Ознакомившись с рапортом, вице-адмирал отстранил Мямина от командования судном, поручив соответству-

ющим органам разобраться в обоснованности рапорта.

В результате проверки Мямин оказался не в госпитале, а в тюрьме...

В середине октября обросший рыжей бородой Мямин слушал, опустив голову и не поднимая глаз, приговор Военного трибунала Краснознаменного Балтийского флота:

«Пятого октября 1941 года, старшему лейтенанту Мямину Виктору Петровичу стало известно, что посыльное судно «Тарту» должно отбыть из Кронштадта в Ленинград и доставить на буксире баржу № 1041 с мазутом. Вместо того чтобы принять необходимые меры и быть готовым к отводу указанной баржи, Мямин выискивал различные причины, чтобы уклониться от выполнения задания. С этой целью Мямин заявил заместителю командира порта, что на винт посыльного судна «Тарту» намотало трос, вследствие чего буксировка баржи невозможна.

В результате того что Мямин проявил преступную халатность, винт корабля был осмотрен только в четыре часа утра, когда караван уже отбыл в Ленинград. Во время осмотра оказалось, что винт совершенно чист и никакой обмотки троса на нем нет.

На основании всего вышеизложенного Военный трибунал признал Мямина Виктора Петровича виновным в преступлении, предусмотренном статьей 198-17, пункт «а» Уголовного кодекса.

Военный трибунал приговорил Мямина Виктора Петровича к лишению свободы с отбыванием в исправительно-трудовых лагерях на десять лет, без поражения в правах, и к лишению Мямина Виктора Петровича воинского звания «старший лейтенант».

Исполнение приговора отсрочить до окончания военных действий.

В связи с этим Мямина Виктора Петровича из-под стражи освободить и направить в часть действующей армии рядовым».

3. ГЛЯДИ В ОБА!

На колпинском участке Ленинградского фронта часы затишья были редки. Методично и ожесточенно немцы обстреливали передний край, бомбили завод и город. По ночам в небе застывали желтые ракеты, все чаще и чаще к переднему краю пробирались немецкие разведчики. Никто не сомневался, что наступление противника начнется со дня на день.

В один из часов затишья политрук роты Мартынов проводил в окопе короткую информацию о положении на участках Ленинградского фронта. Информация не радовала и не сулила на ближайшие дни никаких перемен.

Над окопом провизжала мина и разорвалась метрах в ста, в поле. Несмотря на ранний снегопад, поле было не белое, а грязно-бурое. Истерзанное взрывами, покрытое воронками и вывороченными комьями земли, оно напоминало лунный пейзаж.

Политрук Мартынов поднес к глазам бинокль — уточнить, где разорвалась мина, но тут же крикнул:

— Воздух!

В небе появился «хейнкель». Зудя на одной ноте, он приближался к окопам. Захлопали редкие зенитки, но опытный летчик, умело маневрируя, упорно приближался к траншеям. Огонь вокруг разведчика становился плотнее, снаряды рвались ближе, и вдруг под радостные возгласы солдат «хейнкель» с пронзительным свистом, рассекая воздух, ринулся вниз. Почти у самой земли самолет неожиданно отвернул в сторону, оставив паря-

щими множество белых листовок. Через минуту немец почти на бреющем полете скрылся за ближним лесом.

— Ловок, сволочь! — не выдержал старшина Гудимов.

Листовки плавно оседали на землю, в траншею их попало немного, почти все они белели на бурых комьях истерзанного поля.

— Листовки в траншеях собрать и сдать мне,— приказал Мартынов.— На поле листовки не трогать.— Политрук знал избитый прием немцев: выманить бойцов из траншей на открытое место и открыть по ним минометный огонь.

Вскоре перед Мартыновым лежала стопка немецких листовок.

Это были листовки-пропуска, все одинакового содержания:

«Русские солдаты!

Вас обманывают комиссары! Вы окружены! Сопротивляться вам есть одна большая безмыслица! Москва уже нами занята! Жители Ленинграда голодают все, кроме жидо-комиссаров и коммунистов! Они для себя спрятали много разного продовольствия, такие как сало, окорока и сигареты. Вы тоже будете скоро голодать и тоже скоро умрете или будете убиты!

Русские солдаты!

Оставляйте ваши окопы и приходите с оружием к нам в плен. Немецкое командование дает вам гарантий сохранять жизни, сытого содержания и обхождения!

Русские солдаты!
Знайте!

Этот обращений к вам есть пропуск. С этой обращений смело, не боясь, идите в плен. Тогда вы останетесь живы и здоровы и станете досытно есть три раза в один день».

На обороте листовки была напечатана фотография. Четыре толстомордых парня — три в форме красноармейцев, четвертый с двумя кубарями в петлицах — сидели за столом. Перед каждым лежал кусок сала, три яйца, полкаравая хлеба.

Под фотографией шла крупная надпись: «ЭТИ КРАСНОАРМЕЙЦЫ ЛЕНИНГРАДСКОГО ФРОНТА ИВАНОВ, ФЕДОРОВ, ПЕТРОВ И ИХ КОМАНДИР СЕМЕНОВ СДАЛИСЬ В ПЛЕН В СЕНТЯБРЕ ПОД ПЕТЕРГОФОМ. СЕЙЧАС ОНИ ЗАВТРАКАЮТ».

Собирая в траншее листовки, Гудимов заметил, как один из бойцов сунул листовку в карман шинели. Ничего запретного не было в том, что красноармеец положил поднятую листовку в карман, не держать же ее в руках. Но Гудимов насторожился: была какая-то вороватость в быстром движении бойца. Гудимов, конечно, не думал, что угрюмый солдат, только что прибывший в их часть, собирается перебежать к фашистам, его встревожило другое: утаив листовку (может, на курево, может, просто из любопытства), боец тем самым нарушил приказ командира. Это уже воинский проступок, надо, чтобы солдат понял свою вину, а то ведь недолго и до беды.

Гудимов продолжал осматривать траншею, не упуская из виду угрюмого бойца. Он надеялся, что тот подойдет к Мартынову и сдаст, как положено, свою листовку.

Но боец к Мартынову не пошел. Сняв перчатки, он стал торопливо свертывать цигарку. Гудимов подошел к нему:

— Одолжи на закрутку. Табак ваш, бумажку дашь, вот и закурим.

Красноармеец, не глядя на старшину, молча протянул кисет. Таких кисетов Гудимов еще не встречал — из тонкой блестящей кожи, украшенной каким-то тиснением. От кисета шел вкусный медовый запах. Видать, в нем не всегда держали махорку, бывал табачок и получше.

— Откуда к нам? — спросил Гудимов, все еще принюхиваясь к необычному кисету. Было в его аромате что-то бесконечно далекое от войны, траншейной грязи, копоти в землянках, от непроходящего чувства голода.— Как тебе у нас? Сам-то ленинградец?

— Ленинградец.

— Из какой части прибыл?

— Вы что, первый день в армии? — строго спросил боец. — Задаете неположенные вопросы.

Гудимов смутился: не помнил он, черт возьми, такого запрета.

— Всего в голове не удержишь,— сказал он, возвращая кисет, и, стараясь скрыть смущение, продолжил неудачно начатый разговор.— А фамилию спросить можно? Или—тоже не положено?

— Мямин,—коротко ответил боец.

— Спасибо за табачок, товарищ Мямин. Пойду сдавать фрицеву брехню. Ты уже сдал? А то пошли вместе.

— Сдал. Я приказы выполняю,—сказал Мямин, пряча кисет.

— Ну, тогда пойду. Еще раз— спасибо. Уж больно у тебя хорош кисет. Духовитый!

Он вытащил из кармана шесть листовок, аккуратно расправил их и отправился к политруку.

— Разрешите обратиться? — спросил он, сдав листовки.— Боец у нас есть один... Недавно в нашей части. Не понимает еще кое-чего.

— Что за боец? Чего не понимает?

— По фамилии Мямин, может, знаете?

— Знаю,—насторожился Мартынов.— А в чем дело?

— Звал я его вместе сдать это самое...— Гудимов ткнул пальцем в листовки. — А он говорит — сдал уже.

— Мямин мне листовок не сдавал,—сказал встревоженно Мартынов.— Мне не сдавал, а больше некому. Быть может, он ничего не подобрал.

— Оно конечно... А только показалось мне, что сунул он одну листовку в карман... Сунул... Точно... Может, приказать, чтобы сдал?

— Не надо! — резко оборвал Мартынов— Ни в коем случае! И чтоб никому об этом не рассказывать! Понятно?

— Понятно, товарищ политрук. Разрешите идти?

— Можете идти.— И неожиданно добавил: — Спасибо за информацию. Положение, брат, сегодня такое — смотри в оба!

* * *

Вскоре во взводе Гудимова появился новый солдат — Разов. Молчаливый, необщительный, он держался в стороне, и солдаты тоже не искали с ним дружбы, не задавали обычных вопросов: кто, откуда, как попал в часть.

Особенно не понравился Разов Гудимову.

— Прислали... С такими воевать — раньше смерти загнешься! —сказал он Мартынову.

— Ты о ком?

— О Мямине и Разове. Один к одному! Баптисты какие-то! Молчуны!

— Характер — дело сложное, товарищ Гудимов. В злое время живем. У каждого своя беда. От иной беды и онеметь можно.

— Это верно. Чего-чего, а беды— взахлеб!..

Мямин и Разов чувствовали к себе общую неприязнь и, должно быть, потому держались особняком от других. Случайно, а может с учетом сходства характеров, командир роты не раз назначал их вместе нести службу в окопе охранения, где полагалось находиться двум бойцам.

В одну из промозглых осенних ночей, сидя в окопе, метрах в ста от «ничейной земли», Мямин и Разов вели приглушенный разговор. Должно быть, такой разговор велся не впервой, и теперь они понимали друг друга с полуслова.

— И ребенку ясно, чем кончится...—сказал Мямин.

— Наше дело правое,— заметил Разов, не то всерьез, не то иронизируя.

— Ну, правое. Ну и что? — осторожно спросил Мямин.

— Конечно... — отозвался Разов. — Дело не в правоте...

— Кто сильнее, тот и прав...

— Точно... Победителей не судят...

Над ними провизжал снаряд. Мямин втянул голову в плечи.

— Бьет по заводу,— определил Разов.

— Зря кровь проливаем...

— А что делать?

— Кончать войну... Надеяться больше не на что...

— Как ты ее кончишь?

— Здесь из нас месиво сделают! Живыми не уйти...

— Похоже...

На вражеской стороне взвились две зеленые ракеты, медленно рассыпались, и раскаленный пунктир трассиру-

ющих пуль прорезал темноту ночи. Разговор прервался. С немецкой стороны ветер донес обрывок знакомой песни.

— Патефон... «Катюшу» поставили, — определил Разов.

— Нарочно завели, чтобы мы слышали.

— Они и на передовой — как в тылу.

— Им чего? Не сегодня-завтра протопают по нашим трупам до самого Невского...

— Думаешь, не удержимся?

— Брось притворяться! — зло сказал Мямин.— Сам знаешь! Советской власти — амба!

— Значит, и нам тоже?

— А ты как думал?

— Что же делать?

— Человек не баран, соображать должен!..

Разов бросил на Мямина быстрый вопросительный взгляд: как уцелеть, как выжить?

На этот немой вопрос Мямин ответил хриплым шепотом, с трудом выдавливая тяжелые слова:

— Перейти туда... к ним...

Разов продолжал молчать, ожидая, что еще скажет Мямин. Он слышал его тяжелое дыхание и, казалось, видел испуганно-вопрошающий взгляд.

— Ну? — выдохнул Мямин.

— Боюсь, не поверят нам... пустят в расход, скажут, что подосланы советской контрразведкой.

— Мне-то поверят, за меня ухватятся.

— А что им за тебя хвататься?

— А то, что я осужден трибуналом. Это, брат, немалый козырь. Осужден за то, что сорвал доставку горючего в осажденный город. Добавь к этому, что я разжалован из офицеров в рядовые. Как ты считаешь, это чего-нибудь стоит?

— Конечно... Но у меня-то нет ничего, никаких заслуг в этом смысле. Разве только то, что из партии исключили в сороковом...

— За что исключили?

— Засыпался на работе.

— На чем засыпался? Ты где работал?

— Полиграфист я. Цинкограф. Работал в типографии Ивана Федорова.

— А за что из партии?

— Делал «налево» штампы и печати некоторым артелям. Однажды за три тысячи смастерил даже штамп для прописки в Ленинграде, который в паспортах ставят. Ну, об этом, слава богу, не узнали, а то бы гнил сейчас в лагерях...

— Слушай, я вижу, ты совсем пентюх. Такой человек для немцев — находка.

— На это только и надежда...

— Увидишь, все будет в порядке. За себя-то я не беспокоюсь. Трибунал, разжалование — это, конечно, неплохие козыри, но ведь это еще нужно доказать. Наговорить можно что угодно. А у меня про запас есть, можно сказать, козырный туз.

— В таком деле козырных тузов не бывает.

— А у меня будет. Я заранее все обдумал. Остался у меня в Ленинграде верный человек. Все, что прикажу о т т у д а,— все будет выполнять. Обо всем договорились.

— Тогда конечно... Тебе-то бояться нечего. А что за человек? О чем вы договорились?

— О чем надо, о том и договорились...

— Ну, если не доверяешь — твое дело. Только зачем тогда и разговор?

— Я тебе доверяю... И так сказал много. А имена в таком деле, сам должен понимать, не называют. Погодя, может, и скажу, а сейчас еще не время.

* * *

Информация Разова о последнем разговоре с Мяминым встревожила дивизионную контрразведку. Накануне было принято решение об аресте Мямина, но теперь, когда выяснилось, что в Ленинграде у него есть сообщник, с арестом следовало подождать: необходимо прежде узнать, кто этот предатель.

Разов не терял надежды вызвать Мямина на откровенный разговор, но понимал, что для этого нужна подходящая ситуация. И, когда они снова оказались вдвоем в окопе охранения, Разов издали начал осторожный разговор:

— Говорят, скоро в наступление нас бросят... на убой, можно сказать...

— Мало ли что говорят. Пропаганда для поднятия духа! Об этом наступлении давно уже идут слухи, да, видно, кишка тонка.

— Боюсь, что на этот раз сбудется: знаю от серьезного человека. Есть у меня товарищ в штабе полка. Вчера случайно встретились.

— Кто такой?

— Сам же учил имен не называть.

— Можешь фамилии не говорить, не в фамилии дело, а что он в штабе делает?

— Знает немало,— уклонился Разов от ответа.

— Член партии?

— Да.

— Он — как, в курсе твоих настроений?

— Догадывается, конечно. Иначе бы не стал говорить мне, что наступление обречено на провал, что на второй фронт нечего и надеяться. У тебя — человек в Ленинграде, а у меня будет в штабе полка. Еще неизвестно, что немцам важнее.

— Тебе своего надо еще обламывать, а когда? Уходить надо до наступления, нет у нас времени ждать.

— А я его здесь и трогать не буду. Я его оттуда заставлю плясать под мою музыку: у меня ключик к нему подобран, дело верное.

— Какой ключик?

— Понимаешь, жена его с пятилетней дочкой в июле эвакуировалась в поселок Волосово. В июле эвакуировалась, а в августе немцы поселок захватили. Соображаешь, как можно на этом сыграть? Придем туда — начну действовать. Дескать, не будешь выполнять задания — повесим и жену, и дочку, и мать. Никуда ему от нас не деться.

— Слушай, это же тоже козырный туз! Уж не Иванов ли это из штаба?

— Не спрашивай, ничего сейчас не скажу. Узнаешь перед уходом туда. Но и ты не должен от меня таиться.

— Согласен. Только еще раз говорю: откладывать нам больше нельзя: начнется наступление, мы окажемся не там, а в раю, а я в рай не спешу, успеется...

Перед рассветом, когда Разов и Мямин возвращались в часть, немцы внезапно открыли ураганный огонь по переднему краю. Это был короткий, но шквальный артиллерийский налет. Взрывной волной Разова отбросило далеко в сторону...

Когда Разов очнулся, уже рассвело. Опираясь на винтовку, он с трудом поднялся и только теперь вспомнил о Мямине. Неужели убит? Тогда имя его сообщника в Ленинграде останется неизвестным!

Разов огляделся — Мямина нигде не было.

«Может, он уцелел и пошел в санчасть за санитарами, чтобы оказали мне помощь? — подумал с надеждой Разов.— Скорее всего, так и есть. Подожду немного...»

Тянулись долгие минуты, а санитары не появлялись.

«А вдруг он ранен, не смог дойти до медсанбата? Где-нибудь лежит, истекает кровью и может умереть каждую минуту, каждую секунду! Нельзя допустить такое».

Собрав последние силы, чувствуя непрестанный шум в ушах, Разов побрел в часть. Несколько раз он останавливался, и тогда шум немного стихал, но как только начинал идти, шум в ушах возобновлялся с прежней силой...

В части его встретили Мартынов и Гудимов:

— Мы уже опасались, не накрыли ли вас! А где Мямин?

— Разве он не вернулся? Я думал, он либо в части, либо тяжело ранен.

— В расположении полка не появлялся. Когда вы последний раз его видели?

— Во время артналета. Меня отбросило взрывом, а когда пришел в себя — Мямина нигде не было...

Через неделю, во время разведки боем, Разов исчез. А еще через день весь полк уже знал, что Разов перебежал к немцам.

4. ОНА ВЫБРАЛА СМЕРТЬ

Шот допрашивал Разова уже третий раз. На допросе присутствовал офицер военной секретной полиции. Эсэсовец сидел на диване, непрерывно курил, стряхивая пепел себе под ноги.

— Ты повторяешь утверждение, что родился в Пэтерзбурге? — спросил Шот.

— Так точно, господин гауптман. Я родился в Петрограде шестнадцатого января тысяча девятьсот пятнадцатого года.

Шот повернулся к эсэсовцу, молчаливо предлагая ему принять участие в допросе.

— Ответь,— эсэсовец уставился на Разова большими светлыми глазами,— как в Петрограде называлась до революции улица Пролеткульта? — эсэсовец говорил по-русски правильно, без малейшего акцента.

— Малая Садовая...

— Далеко ли от нее находится Итальянская улица?

— Рядом. Только она теперь называется не Итальянская, а улица Ракова.

— Кто такой этот Раков?

— Говорят, какой-то официант... точно не знаю.

— Где расположен Зимний сад?

— Зимний сад? — Разов растерянно заморгал.— Зимний сад? Не могу сказать. Летний — знаю, а Зимний?.. Никогда не слышал...

— Немецкий язык знаешь? — неожиданно спросил Шот.

— К сожалению, нет. Знаю несколько немецких слов, которые употребляются в полиграфии. Все цинкографы и граверы знают эти слова.

— Известен тебе солдат Мямин? — спросил эсэсовец.

— Известен, господин офицер. Мы собирались бежать вместе, но он исчез во время артобстрела. Боюсь, что он убит.

Эсэсовец усмехнулся.

— Что тебе известно о нем? Он коммунист?

— Нет, он беспартийный. Знаю, что его судил трибунал и разжаловал из офицеров в рядовые... Точно знаю...

— За что его судили?

— Он говорил мне, что сорвал доставку горючего из Кронштадта в Ленинград.

— Почему его не отправили в лагерь?

— Его приговорили к заключению на десять лет. Он должен отбыть их после войны.

— Это есть очень глупой решений, — сказал Шот. — Кто имеет охота воевать, чтобы потом быть много лет в тюрьма? — По привычке он выбивал пальцами по столу дробь. — Мы имеем о вас сведений. Это есть правда, что вы делали печать для прописки в паспорт?

— Значит, Мямин жив, он у вас! — радостно воскликнул Разов.— Только он знает об этом.

— Вы сговорились,— эсэсовец с силой крутанул колесико зажигалки. Брызнули искорки, но фитилек не вспыхнул, должно быть, иссяк бензин.— Вы пытались обмануть нас. Мямин говорит неправду о вас, вы говорите неправду о Мямине. Вы оба подосланы, вы — шпионы.

— Господин офицер, я докажу делом! Я знаю не так много, но это может оказаться очень важным для немецкого командования...

— Что ты знаешь?

— Вблизи Колпина расположен большой закамуфлированный аэродром. Ваша разведка его не может обнаружить.

— Что ты еще знаешь?

— В полковом штабе есть офицер... Он будет работать для немецкой армии.

Шот взглянул вопрошающе на эсэсовца.

— Он лжет, — сказал эсэсовец по-немецки. — Неужели вам не ясно?

— Я пришел к такому же убеждению.— Шот обращался к эсэсовцу, но не спускал глаз с Разова.— Что вы советуете?

— Повесить! — отрубил эсэсовец.— Повесить на вашем любимом столбе и тем самым избавиться от всяких сомнений.

— Ваш совет хорош хотя бы тем, что легко выполним. Через час этот субъект будет болтаться на виселице и продолжит свою глупую легенду на том свете!

Оба расхохотались. Глядя на них, Разов улыбнулся, и эта улыбка мгновенно оборвала смех немцев.

— По какой причине ты можешь улыбаться?— спросил Шот.

— Не знаю.— Улыбка еще не сошла с лица Разова.— Вы смеетесь, и мне стало весело...

Шот и гестаповец переглянулись: очевидно, перебежчик и в самом деле не знает немецкого языка.

Немцы не представляли себе, чего стоила Разову эта улыбка. Он знал немецкий язык в совершенстве. Переходя к врагам, Разов был готов к тому, что ему не поверят, может быть, станут пытать. И все же, когда он услыхал, что сейчас его повесят, сердце забилось с такой силой, что казалось, его удары гулко отдаются по всей комнате. Но инстинкт самосохранения, тренированная воля подсказали Разову единственно правильную реакцию на зловещие слова немца — улыбаться.

— Какую пользу ты еще можешь давать нашему командованию? — спросил Шот.

— Господин гауптман, я уже говорил, что могу выполнять любую работу в типографии. Там бы я мог принести большую пользу. Ваши листовки пишутся на неправильном русском языке, и солдаты над этим смеются. Набирая такие листовки, я могу исправлять все ошибки. Могу делать штампы для разных бланков, печати для любых удостоверений,— был бы только оригинал, с чего делать.

— Хорошо. Об аэродроме и штабном офицере показания дашь письменно,— сказал эсэсовец, делая вид, что такая информация не представляет особого интереса.— Как долго ты работал в типографии?

— Семь лет. Я, господин офицер, не только гравер-

цинкограф. Если надо, могу стать и за наборщика. Хоть ручной набор, хоть машинный...

— Тебе будет проверка, изготовишь несколько штамп...— сказал Шот.

— Слушаюсь.

— А теперь садись и пиши очень подробно все, что можешь знать о аэродромах, о дислокациях воинских частей и фамилии командиров и комиссаров, которые ты имеешь знать...

— Запомни, — добавил эсэсовец, — за ложные сведения наказание одно.— И он сделал выразительный жест, как бы затягивая на шее невидимую петлю.

* * *

На пятый день после исчезновения Разова вражеская авиация прорвалась сквозь редкий заслон нашей зенитной артиллерии и обрушила мощный бомбовый удар на аэродром в двенадцати километрах северо-восточнее Колпина.

В тот же вечер два офицера враждебных друг другу армий, смысл жизни которых состоял в смертельной борьбе друг с другом, с одинаковым чувством знакомились с результатами этой бомбежки.

Капитан Шот дважды с удовлетворением прочел важное сообщение: «Обнаружив в квадрате 73/29 замаскированный советский аэродром, немецкая эскадрилья тяжелых бомбардировщиков подвергла его эффективной бомбардировке, уничтожив при этом не менее четырнадцати самолетов противника. При возвращении с боевого задания один наш бомбардировщик и один истребитель были сбиты».

«Если и не четырнадцать, а семь — неважно,— подумал Шот.— Важно, что сведения Разова оказались точными. Кажется, на него можно положиться...»

В это же самое время капитан Лозин, также в отличном расположении духа, читал донесение, полученное из отдела контрразведки Ленфронта: «Сегодня на рассвете немецкая эскадрилья тяжелых бомбардировщиков бомбила объект шестнадцать-бис. При возвращении огнем нашей зенитной артиллерии было сбито два вражеских бомбардировщика и один истребитель».

«Неважно, сколько сбили,— подумал Лозин.— Важно, что они проверили Разова, убеждены, что бомбили не ложный, а настоящий фронтовой аэродром. Похоже, что Разов внедрился. Да, на такого человека можно положиться...»

* * *

Лиза Попова явилась к деду на Сиверскую в начале августа и почти сразу была арестована. Деда во время ареста дома не было. Лиза заявила, что он ушел рано утром неизвестно куда. Найти его так и не удалось.

По поселку пошли разговоры, что Попову еще в июле в Ленинграде исключили из комсомола за распространение паникерских слухов и пораженческое настроение.

Заняв Сиверскую, гитлеровцы сразу освободили Попову и взяли буфетчицей в офицерскую столовую. Объявился неизвестно где скрывавшийся дед.

Лиза была красива, и немецкие офицеры всегда торчали у ее буфетной стойки. Ей даже выдали пропуск на хождение по поселку после комендантского часа: немецкие офицеры поздно засиживались в столовой, стало быть, и буфетчица должна быть на месте.

Дом деда стоял на окраине, у самого леса. Наступила осень, и старик частенько на рассвете ходил за грибами. Иногда с ним ходила и Лиза.

Дед знал — в поселке все презирают Лизу, презирают не столько за то, что работает у врага,— пить-есть надо, куда денешься,— а за то, что она и не скрывала, что живется ей хорошо, весело, а немецкие офицеры не прочь провести с ней время не только у буфетной стойки. Многие слышали, как она хвалила гитлеровские порядки. К тому же скоро выяснилось, что дед втихую гонит из картошки самогон и продает его немецким солдатам. И когда Лизу убили, никто не пожалел о ней, никто не зашел к деду с утешным словом. Хуже того, старика в поселке теперь ненавидели, и он неделями не выходил из дома. Если бы не дым из трубы, можно было подумать, что его нет в живых.

Пасмурным морозным днем, когда исполнилось сорок дней со дня Лизиной смерти, старик с утра пошел на кладбище. Подойдя к заснеженному холмику, он увидел, что кто-то воткнул в могилу лист фанеры. Он смахнул с фанеры слой снега, и черные, жирно намазанные дегтем слова ударили старика сильнее обуха: «Здесь зарыта немецкая овчарка. Собаке — собачья смерть!»

Он просидел на кладбище до темноты, потом, боясь кого-нибудь встретить, окольным путем, увязая в снегу, добрался до дома.

Он сидел в каком-то оцепенении, ни о чем не думая, стиснув большими ладонями седую лохматую голову. Стук в дверь вывел его из забытья. Шаркая валенками, старик вышел в сени. «Может быть, за мной гестапо, — подумал он, с непонятным чувством облегчения,— тогда народ, может, и догадается...» Но вдруг он ощутил такую злобу и такую силу, что решительно схватил топор и твердым шагом подошел к двери: «Может, хоть одного перед смертью убью!»

— Кого надо?

— Насчет горючего, папаша,— ответил незнакомый голос.— С морозу для сугрева...

— Нет ничего! — Его охватило отчаяние: значит, еще не конец, снова ему жить страшной жизнью, когда свои считают его врагом, а враги — другом, и не видно этому конца. — Нету ничего и не будет! — еще раз крикнул он.

— Скажите, папаша,— голос за дверью вдруг изменился, точно там появился новый человек,— где здесь имение господина Елисеева?

Старик выронил топор, его непослушные пальцы лихорадочно искали засов.

— Сейчас, сейчас...— бормотал он.— Темно здесь... Погоди! — Наконец он нащупал засов и толкнул дверь ногой.

В призрачном свете луны он увидел на пороге невысокого человека. Поднятый воротник пальто и надвинутая на лоб шапка скрывали лицо пришедшего.

— Это того Елисеева, у которого магазин в Петербурге? — спросил хрипло старик.

— Того, у которого магазины в Питере, в Москве и, кажется, в Туле...

— Ой, заходи, заходи!

Человек вошел в дом.

— В темноте живете? — спросил он.

— Сейчас зажгу! Свеча у меня есть, от радости не помню, куда спички дел... Столько ждал, уж отчаялся!

— Ну, здравствуйте, Иван Степаныч,— сказал человек, стягивая нахлобученный до бровей поношенный треух.— Рад, что вы живы-здоровы...

— Я-то жив, а Лизанька... — голос старика задрожал.

— Что с ней, что случилось с нашей Ниткой? Мы запросили партизан, но ответа не получили...

— Убили Лизаньку, убили гады фрицы!

— Когда? Кто ее выдал?

— В ноябре случилось...

— Вы-то как уцелели?

— Меня не подозревают... Тут особые обстоятельства.

Он подошел к сундуку, обитому железом, вытащил бутыль самогона и объяснил:

— В случае чего — пришел человек, купил первача, кто такой — не знаю, первый раз вижу...

— Это правильно...

— И закуска будет. Стакан возьми на полке, милый человек, не знаю, как прикажешь себя величать...

— Василий Ильич. А больше вам обо мне и знать ничего не надо.

— Понимаю, понимаю...— Старик скрылся в сенях и вернулся с тарелкой капусты.

— Может, в самом деле пригубишь? — спросил он Разова.— После того как Лизанька погибла, приохотился я к этому. Только и забываюсь, когда выпью. Не осуди.

— Осторожно с этим, Иван Степаныч. Хватишь лишнего — и до провала недалеко.

— Я маленько, голова-то у меня крепкая...

Он налил полстакана мутноватого самогона и выпил залпом. Положив большие узловатые руки на стол и опустив голову, старик долго молчал. Молчал и Разов, сочувствуя его горю.

— Кто ее предал? — повторил вопрос Разов.

— Никто ее не предал,— заговорил старик.— Поначалу все у нас шло по плану, лучше не надо. Пришли фрицы, стали разбирать, кто за что был арестован у наших. Нашли, конечно, дело Поповой Елизаветы. Там сказано, так, мол, и так: Попова Елизавета, дочь расстрелянного вредителя, жила в Ленинграде, распространяла панические слухи, хвалила немецкую нацию, хранила вырезанный из немецкой газеты портрет Гитлера, была исключена из комсомола и скрылась на Север-

скую, чтобы вместе с Поповым Иваном Степановичем — со мной значит — дождаться прихода немцев. А про меня там было сказано, будто я всегда говорил против колхозов, бывший подкулачник, дескать, укрыл врага народа — внучку Елизавету Попову. Вот так...— Старик умолк и долго молчал. Разову показалось, что он задремал.

— Может быть, отдохнете? — осторожно спросил он.

— Хватит, наотдыхался,— зло сказал старик.— Ты слушай дальше. Пришли, значит, немцы. Кого из коммунистов, комсомольцев захватили — всех расстреляли. Лизаньку, ясно дело, выпустили. Сразу ей доверие оказали, буфетчицей в офицерскую столовую определили. Мне та работа не показалась: Лизавета — красавица, а тут каждый вечер офицерье фашистское. Я ее предупреждал: по воде ходить — сухой не быть... Она мне эдак сердито: «Скорее умру, чем позволю к себе прикоснуться...» Ох, знала бы она... Да... Передатчик-то мы еще при наших закопали в лесу — от моего дома километра два, не больше. Лизавета от немцев разрешение получила в лес ходить за грибами. Со мной вместе и ходила. Она, значит, рацию налаживает, отстукивает что надо, а я поблизости хожу — нет ли кого. Языка ихнего она не знала, а глаз да память имела! Вот и передавала: какие куда поезда прошли, что на платформах заметила, фамилии полицаев и других предателей... Только недолго все так шло. Затеяли раз немцы гулянку в этой столовой, Лизу предупредили, чтобы в буфете было всего побольше, потому что разрешило им начальство пьянствовать до полуночи...— Старик плеснул в стакан самогона, выпил и снова умолк. Разов не торопил, понимал, как ему трудно говорить.

— Сейчас про смерть ее расскажу,— продолжал старик слабым голосом.— Бог меня пощадил, сам-то я не видел, как она погибла... Началась у них в столовой

пьянка, за победу, конечно, пили, чтобы Новый год в Ленинграде встречать, за здоровье своего проклятущего Гитлера пили. Скоро налакались, свиньи... Стали расходиться, а четыре кобеля остались. Один гад подошел к Лизавете, она за стойкой стояла, стал ей по-русски с пятого на десятое толковать, чтобы она девчат привела, мол, господа немецкие офицеры развлекаться хотят. А Лизавета притворяется, будто не понимает, чего он хочет. Тогда тот гад фашистский схватил ее, швырнул на диван, кричит: «Господа офицеры! Становись в очередь! Я — первый!» Скинул он ремень, забыл, что на ремне кобура с пистолетом. Да... Сдержала Лиза слово. Не сразу ублюдки поняли, что случилось, как пистолет у Лизаветы оказался. Опомнились, кинулись к ней... Что тебе говорить дальше? Троих на месте уложила, четвертый с пулей в животе в госпиталь попал, но успел он, окаянный, в Лизу выстрелить. Две пули, обе — в сердце...— Иван Степанович провел ладонью по глазам.— Этот гад и рассказал все, как было. Ихнему доктору рассказал. Не знал ирод, что санитарка наша Дуся понемецкому понимает,— она до войны переводчицей в Ленинграде была. Дуся мне всю правду и донесла. А немцы объявили, будто в ту ночь партизаны на столовую напали, убили трех офицеров и Лизавету. Похоронил я мою внученьку и остался один, никто на меня не глядит, а если поглядит, так мне от того взгляда три ночи не спать! Одной надеждой жил — придет ко мне человек от наших, скажет, что мне делать, как мне дальше работать. Сколько раз во сне виделось — стучит кто-то, спрашивает: «Где здесь имение господина Елисеева?» Сегодня, как тебя услышал, испугался, опять, думаю, причудилось! Нет, не причудилось. А Лизаньки — нет...

Старик всхлипнул...

Разов положил руку на его плечо.

— Вы нам очень нужны, Иван Степаныч, очень нужны! Но удивительно, почему немцы вас не тронули?

— В свою же ловушку попали,— объяснил старик.— Если Лизавету партизаны убили, выходит, она за немцев погибла. За что же деда ее трогать? Вот до поры до времени и не трогают. Думают, что я не знаю, кто убил...

— А рация осталась в лесу? Занесло снегом, да?

— А вот и нет! — оживился старик.— Первый снежок выпал у нас рано, в конце октября. Той же ночью я пошел в лес, выкопал чемоданчик и запрятал. Ты по нему, можно сказать, ходишь, по этому чемоданчику: я его в подпол зарыл.

— Иван Степаныч, дорогой! Ведь это — такое дело, так важно, что и словами не сказать.

— А и не говори, чего тут говорить! Об одном прошу, сообщи, сам знаешь кому и куда, что внучка моя Лизавета Попова погибла, как солдат в неравном бою. Вышла ей доля выбирать между позором и смертью, и выбрала она смерть!

5. НЕОБЫКНОВЕННЫЙ ХЛЕБ

Фронтовая дорога была изрыта минами, танками, тягачами, и Грачев вел машину на малой скорости,— в «санитарке» лежали раненые. Боясь забуксовать в какой-нибудь колдобине, Грачев напряженно всматривался в дорогу, стараясь издали определить опасные места. Опыт помогал ему «читать местность»: вот здесь рванула мина, здесь тянули тяжелое орудие, а слева прошла колонна танков.

Скверная дорога окончательно испортила ему настроение. День начался неудачно: в медсанбате никто не предложил ему «закусить на дорогу». И пока санитары

переносили раненых, Грачев не выдержал, съел свой суточный солдатский паек — триста граммов хлеба, за что теперь нещадно ругал себя: он рассчитывал, освободившись, заскочить домой на Лоцманский остров, оставить родителям и Женьке кусочек хлеба. Каждый из них получал теперь всего-навсего сто двадцать пять граммов. К тому же завтра Женьке исполнится двенадцать лет. Кусок хлеба был бы царским подарком! Но хлеб он съел сам... А Женька, конечно, ждет... Каждый раз, когда Грачеву удавалось попасть домой, Женька с жадностью смотрел на его противогаз, откуда иногда появлялся кусок хлеба или пшенный концентрат. А сегодня он явится с пустыми руками...

Несмотря на свои тяжелые мысли, Грачев не переставал следить за дорогой и еще издали заметил у обочины военного, стоявшего с поднятой рукой. Подчиняясь неписаному закону войны, Грачев затормозил машину. Видавшая виды шинель, потертая кобура, потрепанный планшет не оставляли сомнений — «голосует» бывалый фронтовик.

— Куда? — спросил Грачев.

— В Ленинград. Подбрось, браток.

— В машину нельзя, там раненые впритирку.

— Продрог до костей! — взмолился фронтовик.— Выручи, в долгу не останусь!

— Если не останешься — садись.

Фронтовик влез в кабину, и Грачев дал газ.

— Ну, как вы там? — спросил Грачев, косясь на противогаз спутника. Наметанным глазом он определил, что в сумке кроме противогаза есть и сухой паек.— Как вы там, держитесь крепко?

— Держимся? Не то слово, товарищ. Это фриц вшивый держится, а мы стоим насмерть! Вы-то как там, в Ленинграде?

— Тяжело... Уж если армия на голодном пайке... сам понимаешь, каково гражданским... детям, старикам...

— Заводы работают?

— Которые работают, которые нет... Да и кому работать?

— Рабочим, конечно, кому же еще?

— С луны свалился! Рабочим! Кто не эвакуировался — тот в армии. Работать некому. У станков — подростки да женщины. Вот и моя Валентина, до войны в «Пассаже» кассу крутила, а теперь, как говорится, «на выстрел» работает. Дома вовсе не бывает, на казарменном положении.

— Советская женщина! — восхитился фронтовик. — Что же она делает? Гранаты? Снаряды?

— После войны спросишь.

— Что?

— Спросишь, говорю, после войны. Понятно?

— Одобряю,— усмехнулся фронтовик.— Ответ правильный. Солдатская заповедь свята: держи язык на замке!

— Язык — дело нехитрое, живот на замке держать — труднее...

— А кто виноват? Мы и виноваты! Немцы не сегодня-завтра Москву возьмут. Допустили, вот и приходится голодать.

— Слушай, друг, может, у тебя найдется лишний кусочек хлебца? Могу на табак сменять, непочатая пачка, первый сорт...

— Мое слово твердое: сказал — отблагодарю, значит, железно! — Фронтовик порылся в противогазе и вытащил кусок хлеба: — Ешь, товарищ. За табачок — спасибо. Своего не хватает, сам знаешь, сколько дают.

Довольный менкой, некурящий Грачев сунул хлеб в свой противогаз. Кусок был большой — граммов на триста.

— А как же ты? — спросил он для приличия.

— На сегодня хватит, а завтра стану на питание в Дом Красной Армии.

Чем ближе подъезжали они к городу, тем хуже становилась дорога. Грачев сбавил ход, стрелка спидометра подрагивала на цифре «20».

— Чего ты так ползешь? — спросил фронтовик.

— Адова дорога... У меня же раненые...

— Много приходится возить?

— Раз на раз не приходится,— уклончиво ответил Грачев.

Фронтовик понимающе кивнул.

Машина приблизилась к контрольному пункту. Начальник пункта уже знал Грачева и его машину. Мельком взглянув на пропуск, он остановил взгляд на фронтовике:

— Предъявите документы.

Фронтовик расстегнул шинель, достал из нагрудного кармана документы и протянул лейтенанту. Тот долго рассматривал удостоверение личности, командировочное предписание и, не отрывая взгляда от документа, спросил:

— Фамилия?

— Там же написано! — не без раздражения сказал фронтовик.

— Отказываетесь отвечать?

— Политрук Хлебников,— поспешно сказал фронтовик.

— Имя, отчество?

— Иван Сергеевич.

Лейтенант кивнул головой и отдал документы.

— Трогай,— приказал он Грачеву.— Там за поворотом мина час назад шлепнула — учти...

— Ладно, объедем красотку по кривой! — уверенно сказал Грачев, плавно выжимая газ.— Хорошая у вас

фамилия, товарищ политрук, только не ко времени: о хлебе напоминает...

Машина ехала по безлюдным улицам Ленинграда, Хлебников молчал, неотрывно глядя в боковое стекло.

— Что, давно не был в Питере? — поинтересовался Грачев.— Сам-то ленинградский?

— Псковский. В Ленинграде только два раза был до войны... на экскурсиях... В Пскове у нас теперь немец хозяйничает... Родителей расстреляли, не успели эвакуироваться... Они у меня тоже партийные были...

— Что поделаешь, друг, все теперь кровью умываемся,— вздохнул Грачев, понимая, что в такой беде утешить человека нельзя.

Политрук тряхнул головой, словно избавляясь от тяжелых мыслей.

— Скажи, где лучше слезть: мне в комендатуру надо, выправить продаттестат.

— По пути. Подвезу.

На Инженерной Грачев остановил машину у подъезда комендатуры, распрощался с Хлебниковым и поехал в госпиталь.

В госпитале машину уже давно ждали. Санитары и врачи быстро перенесли раненых в приемный покой, и теперь Грачеву надлежало явиться в свой медсанбат. В кабине он не удержался, пощупал в противогазе хлеб. «Заверну домой, с таким подарком хоть к богу на именины!»

Последний раз Грачев был дома пять дней назад. Женька говорил только о еде и рассказывал, что во сне ел досыта пшенную кашу с вареньем. Разговоры отца о фронте мальчик слушал равнодушно и только спросил, чем кормят солдат на передовой и дают ли им сахар.

Подымаясь по лестнице домой, Грачев представлял себе, как обрадуются сын и старики такому куску хлеба.

Женька был в комнате один. Он сидел на диване

в старой отцовской кожанке и читал толстую книгу. Поднятый воротник наполовину скрывал его худенькое бледное лицо.

— Здорово, сынище! Где дед да баба? — спросил с наигранной веселостью Грачев.

— Бабка пошла карточки отоваривать. По радио объявили — кондитерские изделия вместо сахара...

— А дед?

— Ушел на рынок часы менять. Говорит, за часы полкило хлеба можно взять.

— Так...— Грачев тяжело вздохнул, вся его деланная веселость исчезла.— Что читаешь?

— «Мертвые души» Гоголя.

— Нравится?

— Не знаю,— вяло сказал мальчик.

— Как это — не знаешь? Читаешь и не знаешь?..

— Я только про еду читаю... Тут много про еду написано... Один помещик целого осетра съел...

Грачев заметил на лице сына незнакомое ему выражение испуганной настороженности.

— У нас бомбежка ночью была,— сказал Женька. — В задний двор попало. Дом ка-а-к подпрыгнул!.. Деда говорит, что бомба не разорвалась, а то бы нас убило...

— Ты испугался?

— Испугался, когда дом подпрыгнул...

— А старики?

— Как стали бомбить, деда сказал: давайте хлеб съедим, а то убьют, зря пропадет... Мы все и съели. Теперь деда пошел на базар часы менять.

— Ладно, сынище, не горюй. Поздравляю тебя с наступающим днем рождения, сейчас подарок получишь.— Грачев вытащил из противогаза краюху, разрезал ее и протянул половинку Женьке: — Это тебе, а это старикам. — Он положил на стол вторую половинку.

— Спасибо! — Исхудалые пальцы Женьки вцепились в ломоть хлеба.

— Ешь понемножку, сытее будешь,— сказал Грачев, стараясь не замечать, с какой жадностью набросился мальчик на хлеб.

— Не могу понемножку! Не могу!

Обветренные скулы Грачева дернулись желваками, в промерзлой комнате ему вдруг стало жарко.

Женька ел, и на лице его появилась жалкая улыбка, от этой улыбки Грачеву хотелось плакать.

— Вкусный какой,— сказал Женька, не переставая жевать.— На, откуси немножко...

— Не хочу, сынок... спасибо, я уже поел...

— Откуси кусочек, вкусный-вкусный!

— Я же говорю — сыт! — сердито сказал Грачев, и Женька удивился, почему отец сердится.

— Деда говорит, ты нам отдаешь, а сам голодный...

— Ничего, с голоду живот не треснет, только сморщится...

Грачев ждал, что Женька засмеется, до войны мальчишка был смешлив, от каждой незатейливой шутки звонко хохотал, высоко запрокидывая круглую остриженную голову. Но сейчас он даже не улыбнулся.

— Нам такого вкусного хлеба не дают. Попробуй...

— Ну, хорошо... — Грачев отщипнул крохотный кусочек и сразу почувствовал давно забытый вкус настоящего ржаного хлеба. Он взглянул на кусок, оставленный старикам. Пористый, хорошо пропеченный, с темно-коричневой корочкой, он был совсем непохож на мокрый, тяжелый суррогатный хлеб, который получали солдаты. «Где этот политрук раздобыл такой хлеб? — подумал Грачев.— Неужели на их участке солдаты получают один хлеб, а командиры и политработники другой? Быть этого не может! Но тогда откуда же у политрука настоящий хлеб?» Он смотрел, как сын с блаженной

улыбкой теперь уже медленно доедал вкусный хлеб, и неосознанная тревога заставляла его снова и снова задавать себе вопрос: «Где политрук разжился таким хлебом?»

Женька проглотил последний кусок.

— Вкусный,— повторил он.— Нам такой не дают! — И он жадно уставился на кусок, оставленный старикам.

Грачев еще раз ощутил чистый хлебный запах — лучший, какой только может быть на земле. Этот мирный запах одновременно и притягивал к себе и настораживал. Значит, в блокадном Ленинграде кто-то ворует муку и для кого-то пекут отличный хлеб? Солдаты, раненые, дети, старики едят горький, мокрый хлеб с целлюлозой, а политрук жрет отличный хлеб из краденой муки! И еще называется коммунистом! Грачев задохнулся от злобы. «Ворюга, а не коммунист! Ну, нет! Я это дело так не оставлю! Завтра же этот Хлебников загремит в штрафную. Дважды два!»

— Сынок, я поеду, мне пора,— сказал Грачев.— Я, знаешь, должен взять этот хлеб, который остался... Это не мне, ты не думай...

— Не смей! Не бери! Они тоже голодные! — Мальчик вскочил с дивана.— Я им скажу! Сперва дал, а теперь отбираешь! Это честно, да? Отдай!

— Сынок, так нужно. Я потом все объясню...

— Жалко стало! Я бы знал, не ел все! Бабушка еле ходит!

— Перестань кричать! Хлеб этот, видно, краденый. Сразу я не заметил, а теперь вижу. Надо заявить! Хлеб надо показать кому полагается. Иначе нельзя! Краденый он, понимаешь, краденый!

6. АРЕСТ

Капитан отдела контрразведки Ленфронта Лозин слушал рассказ Грачева и подергивал густые, чуть тронутые сединой усы. На его утомленном лице Грачев не уловил особого интереса. Казалось, капитан думал о чем-то своем, от этого Грачев смущался, боясь, что своим сбивчивым рассказом он мешает товарищу думать о более важных делах.

— Вот он, этот хлеб.— Грачев вытащил из кармана ломоть хлеба.— Может, все это и внимания не стоит, зря только у вас время отнимаю...

Лозин взял хлеб, понюхал, провел пальцем по коричневой, хорошо пропеченной корочке, и лицо его стало хмурым и сосредоточенным.

— Спасибо, что сообщили. Правильно сделали. Думаю, что нам удастся выяснить, кто и для кого печет такой хлеб. Кража муки сейчас — опаснейший вид диверсии.

— Главное, политрук этот такой на вид симпатичный. Может, он и не виноват?

— Выясним... Внешность его запомнили?

— В подробностях не помню. Глаза светлые, бритый. Волос на голове не скажу какой, он сидел в шапке. Заметил, что шинель потрепанная. Брови обыкновенные, не очень черные, но и не белобрысые...

— Сколько ему лет, по-вашему?

— Затрудняюсь сказать, не вглядывался... пожалуй, лет тридцать, а может, и больше...

— Где он слез?

— У комендантского управления, пошел выправлять продаттестат.

— Откуда вы знаете?

— Он сам сказал.

— Проверим. Жаль, не известна его фамилия, я бы справился по телефону у дежурного коменданта.

— Фамилию знаю! И имя-отчество запомнил. Хлебников Иван Сергеевич.

— Откуда узнали? «Голосующие» редко называют себя.

— Запомнил на контрольном пункте. Там ему лейтенант допрос устроил.— Грачев усмехнулся.— Проверял, чудак, помнит ли политрук свою фамилию, не забыл ли имя-отчество.

— Вы точно запомнили его ответы?

— Не сомневайтесь. С голодухи такую фамилию не забудешь — Хлебников. А имя-отчество — как у писателя Тургенева. Со школы еще помню.

— Отлично. Подождите здесь, я наведу справки.

Лозин вышел.

Грачев с любопытством рассматривал кабинет капитана. Он думал, что в этом доме комнаты должны быть особенные, непохожие на комнаты в других учреждениях, а это был обыкновенный кабинет, только в углу стоял большой сейф, а на стене висел портрет Дзержинского. На гладком полированном письменном столе не было ни бумаг, ни папок, ни книг, ничего, кроме чернильного прибора и пепельницы. Несколько телефонных аппаратов стояли отдельно на низеньком приставном столике. Казалось, что за письменным столом никто никогда не работал.

Лозин скоро вернулся и молча сел за стол. Под его пытливым взглядом Грачеву стало не по себе.

— Узнали что-нибудь, товарищ капитан? — спросил он, чтобы избавиться от неприятного ощущения.

— Вы что-то путаете: Хлебников в комендатуре сегодня не отмечался...

— Да я же сам видел, как он туда вошел!

— Ну и что? Вошел и вышел... Может это быть?.. Вы когда отъехали от комендатуры? Сразу после того как он вошел туда?

— Сразу.

— Так... Вы говорите, он собирался стать на питание в Доме Красной Армии?

— Точно...

— Тогда вот что. Завтра в восемь будьте у меня. Увольнительную получите в своем медсанбате. Я туда сообщу.

Проводив Грачева, Лозин вызвал своего помощника — лейтенанта Ломова. Рассказав суть дела, он придвинул к Ломову завернутый в марлю кусок хлеба.

— Вот вещественное доказательство. Задание таково. Первое: хлеб отправить на анализ в лабораторию. Установить состав муки. Второе: выяснить, выпекают ли какие-нибудь ленинградские хлебозаводы и воинские пекарни подобный хлеб. Третье: в какой части служит политрук Хлебников Иван Сергеевич. Четвертое: достать кусок хлеба из части, где служит Хлебников. Пятое: опросить начальника контрольного пункта — точно ли проверял документы Хлебникова. На выполнение задания даются сутки. В помощь можете взять из отдела любого сотрудника, лучше, пожалуй, Жарова. В вашем распоряжении «эмка». А я отправлюсь в комендатуру, проверю, кто там сегодня регистрировался и кого прикрепили на питание к Дому Красной Армии.

* * *

Грачев явился ровно в восемь.

— Товарищ капитан, разрешите узнать, засекли ворюгу? — сразу спросил он.

Любопытство Грачева Лозину не понравилось. Тем более что накануне не удалось ничего узнать. Хлебников

ни в каких списках комендантского управления не значился, анализ из лаборатории еще не поступил. Ломов из Колпина возвратился, но о результатах пока не доложил.

— Подождите в коридоре, — сказал Лозин. — Стул возьмите отсюда, в коридорах нет стульев. Я вас вызову.

Лейтенант Ломов вошел в кабинет Лозина хмурый и озабоченный.

С первых же его слов стало ясно, что дело о куске хлеба сложнее, чем казалось на первый взгляд. Очевидно, расхитители муки действовали умело, осторожно, не оставляя никаких следов.

— Товарищ Лозин, анализ показал, что хлеб выпечен из чистой ржаной муки, без примесей.

— Так...— По тому, как капитан произнес это короткое слово, Ломов понял, какую ярость сдерживает Лозин.— Та-а-ак! Люди в Ленинграде умирают от голода! От голода! А у нас под носом мародеры расхищают муку! Вы выяснили, в какой части служит Хлебников?

— Хлебников есть в сто двенадцатом стрелковом полку, но он не политрук, а пулеметчик. И зовут его не Иван Сергеевич, а Борис Андреевич, ему тридцать шесть лет...

— Значит, на колпинском участке фронта нет политрука Хлебникова Ивана Сергеевича?

— Нет. Проверено по всем спискам.

— Образец хлеба привезли?

— Вот он.— Ломов положил на стол кусок слипшегося бурого мякиша.— У меня имеется анализ фронтового хлеба.— Ломов вытащил листок бумаги.— Разрешите прочесть?

— Читайте!

— Ржаной муки — шестьдесят семь и девять десятых процента, обойной пыли — девять и девять десятых

процента, жмыхов — шесть процентов, сметки — два с половиной, овсяного солода — восемь и шесть десятых процента, дефектной муки — три и одна десятая процента, целлюлозы — два процента.

— На хлебозаводах были?

— Был на всех. Говорил с нашими оперуполномоченными. Ручаются, что заводы не выпекают хлеб из чистой муки и что тайно испечь такой хлеб на заводе невозможно.

— Получается, что за сутки мы не продвинулись ни на шаг. По-прежнему никаких следов. В комендатуре Хлебников не значится.

— Похоже, что политрук — птичка не простая. В комендатуру он вошел, должно быть, из-за Грачева, который смотрел на него из кабины.

— Не отметился он там тоже из-за Грачева,—заметил Лозин.

— То есть?

— Вернее, из-за контрольного пункта. Учтите, хлеб Грачеву он дал до контрольного пункта. И разговор о прикреплении к столовой Дома Красной Армии тоже состоялся раньше. Меньше всего политрук собирался называть Грачеву свою фамилию и сообщать свое звание. Он вынужден был сделать это на контрольном пункте, и в последнюю минуту спохватился, что водитель знает о нем больше, чем надо. Все это говорит о том, что политрук чего-то боится...

— Боится, что через него мы доберемся до мучной шайки, с которой он, конечно, связан.

— Мучная шайка? Это был бы наилучший вариант. Боюсь, что дело не в шайке...

— Вы не допускаете, что водитель спутал или не расслышал его фамилию?

— Допустим. Но он хорошо помнит имя, отчество. Он их запомнил по тождеству: Иван Сергеевич — так

звали Тургенева. В таких случаях память редко подводит...

— Значит, надо проверить всех зарегистрированных вчера в комендатуре Иванов Сергеевичей.

— На это у меня хватило смекалки,— не без иронии пробурчал Лозин.— Но в списках не оказалось ни одного Ивана Сергеевича. Позовите Грачева, поговорим с ним еще раз...

Ничего нового Грачев сообщить не смог. Он повторил вчерашний рассказ.

Ломов смотрел на Лозина, ожидая, что тот скажет.

— Как вы считаете, мог предполагать политрук, что этот кусок хлеба вызовет такое подозрение у водителя? — спросил Лозин.

— Не думаю. Иначе он бы ему ничего не дал.

— Правильно, но тогда отпадает наша первая версия, что он умышленно ввел в заблуждение Грачева, говоря о прикреплении к столовой Дома Красной Армии. Тем более что Грачев его ни о чем не спрашивал.

— Точно не спрашивал,— подтвердил Грачев.

— Значит, можно предположить, что по какой-то причине Хлебникову оформиться в комендатуре вчера не удалось. Тогда не исключено, что он сделает это сегодня.

— Хорошо бы...— вздохнул Ломов. Было ясно, что это предположение он не разделяет.

Лозин уловил скептическую интонацию лейтенанта.

— У вас есть другая версия?

— Пока — нет.

— Тогда отправляйтесь в комендатуру и в случае появления там Хлебникова задержите его под любым предлогом. Я возьму под наблюдение Дом Красной Армии, а вы, товарищ Грачев, будете со мной.

— Я его, гниду, враз узнаю! — сказал Грачев.

* * *

Обед в Доме Красной Армии начинался в тринадцать часов. Лозин и Грачев заняли свои посты наблюдения в полдень. Грачев — у внутренней лестницы, чтобы видеть входящих с улицы, Лозин — во втором этаже, вблизи столовой. По тому, как часто Лозин подергивал кончики своих густых усов, было ясно, что он волнуется. Его тревожило, что Ломов до сих пор ни о чем не сообщает, хотя задержать Хлебникова можно было только в комендатуре, и сделать это должен был Ломов. Свое пребывание в Доме Красной Армии Лозин рассматривал как страховку: вдруг Хлебников все-таки вчера зарегистрировался, а дежурный забыл внести его в список?

В четырнадцать часов тридцать минут Лозин позвонил в комендатуру и узнал, что Хлебников там не появлялся.

Хотя Лозин и не мог представить себе внешность Хлебникова — полученное от Грачева описание было слишком неопределенным, расплывчатым,— он все же внимательно вглядывался в каждого, кто шел в столовую.

До закрытия столовой оставалось всего двадцать минут. Надежда на появление Хлебникова исчезала. Лозин решил сойти вниз и отпустить Грачева. Но с площадки второго этажа он заметил Грачева, перед которым неторопливо поднимался по лестнице военный в поношенной шинели, придерживая рукой потертый планшет. Лозину достаточно было увидеть почти испуганное лицо Грачева, чтобы понять, кто этот человек.

Повернувшись спиной к лестнице, Лозин сделал вид, что рассматривает на стене сатирический плакат «Боевого карандаша», и почувствовал, что к нему кто-то подошел.

— Он самый, — услышал Лозин шепот Грачева. — Враз узнал!

— Идите на свое место...— сказал, не оборачиваясь, Лозин.

Грачев решил, что капитан сомневается.

— Головой ручаюсь — он! Дважды два!

— Ступайте на свое место! — строго повторил Лозин, рассматривая на плакате проткнутого штыком Гитлера.

Обиженный Грачев пожал плечами, повернулся и пошел вниз.

Лозин заглянул в столовую. Хлебников уже сидел за столиком у окна. В столовой почти никого не было.

Прошло несколько минут, пока к столику Хлебникова подошла официантка:

— Поздно приходите, товарищ командир. Придется подождать.

— А я не тороплюсь,— весело отозвался Хлебников.— Чем сегодня кормите, красавица?

— Тем же, чем и вчера: салат из крабов, куриный бульон, осетрина по-монастырски, на десерт — кофе-гляссе. Устраивает?

Хлебников усмехнулся и расстегнул шинель...

— Ну-ну, давайте вашу осетрину из пшена и бульон из хряпы!

Официантка принесла ему тарелку чечевичного супа, чайное блюдечко ячневой каши, кусок хлеба и два куска сахара.

Хлебников быстро управился с супом и кашей, к хлебу не притронулся, спрятав его, вместе с сахарным пайком, в сумку противогаза. Оглядев пустой зал, он застегнул шинель, помахал рукой официантке и вышел из столовой.

Едва он спустился вниз, как с улицы вошел патруль, во главе с усатым плечистым капитаном. Козырнув,

Хлебников хотел пройти мимо, но капитан остановил его:

— Прошу задержаться. Товарищ Сычев, проверьте состояние противогазной сумки.

Молодой красноармеец, расстегнув клапан на сумке противогаза, вытащил из нее два куска хлеба, один из них был завернут в газету.

— Почему нарушаете приказ? В сумке противогаза не должно быть ничего, кроме противогаза.

— Я только что с передовой, товарищ капитан, там у нас на это не смотрят, там смотрят в глаза смерти...

— Предъявите документы.

— Пожалуйста, товарищ капитан. Вот — командировочное предписание, вот — удостоверение личности.

Взглянув на удостоверение личности, Лозин на мгновение растерялся: командировочное предписание, как и удостоверение личности было выдано лейтенанту Щеглову Николаю Антоновичу.

Неужели Грачев обознался? Не выпуская из рук документов, Лозин вынул из кармана платок и провел им по усам. Это был условленный знак. Грачев покинул наблюдательный пункт под лестницей, прошел за спиной задержанного и решительно кивнул головой: «Он самый!»

— Пройдете с нами, напишете объяснение, — сказал Лозин, пряча документы задержанного в карман.

— Товарищ капитан, это же сплошная формалистика! У меня на счету каждая минута! Важное задание! В командировочном предписании сказано...

— Выполняйте приказание!

Они вышли на улицу, задержанный повернул налево.

— Не туда,— остановил его Лозин.— Направо.

— Разве не в комендатуру?

— Нет.

— А куда же? — Впервые Лозину показалось, что задержанный испугался.

— Я сказал направо.

Через пять минут они подошли к высокому зданию НКВД.

7. КТО АРЕСТОВАН?

В кабинете Лозина было так холодно, что Грачев даже не заметил, что сидит в шапке. Ломов неодобрительно взглянул на него, но ничего не сказал.

— Подведем некоторые итоги,— начал Лозин.— Но прежде вопрос к вам, товарищ Грачев. Вы абсолютно уверены, что арестованный — тот самый человек, которого вы подвезли к комендантскому управлению? Есть у вас стопроцентная, повторяю, стопроцентная уверенность, что Хлебников и Щеглов — одно и то же лицо?

— Устраивайте очную ставку. Я эту крысу враз прижму к стенке. Да вы поищите, у него должен быть мой табачок фабрики Урицкого.

— Результаты обыска мы сейчас получим, а пока — вот что...— Лозин положил на стол документы задержанного.— Командировочное предписание его важное, не терпящее промедления: договориться с заводом, где директор Маслов, о срочном ремонте трех тяжелых танков. А мы его задержали. Если мы ошиблись —нам оторвут голову, и правильно сделают! Короче говоря, мы обязаны срочно выяснить — кто он такой. Вы, товарищ Грачев, можете быть свободны, потребуется— мы вас вызовем...

После ухода Грачева Лозин и Ломов составили план действия на ближайшие часы:

1. Установить, где провел ночь Хлебников — Щеглов.

2. Запросить штаб дивизии, выдавший командировочное предписание, о личности лейтенанта Щеглова.

3. Ознакомиться с данными обыска задержанного.

4. Ознакомиться с данными экспертизы.

Дальнейшие действия контрразведки должны были определиться в зависимости от полученных результатов.

— Надо сдать на экспертизу его документы,— сказал Лозин.— А сейчас отправляйтесь на завод. Проверьте, был ли там этот Щеглов. Встретимся в половине десятого вечера.

Оставшись один, Лозин положил перед собой удостоверение личности и командировочное предписание Щеглова. Опыт научил его не всегда доверять бумаге. За вполне «благополучными» документами не раз обнаруживался опасный враг.

Провести допрос арестованного Лозин решил после получения данных обыска и экспертизы. Сейчас же Лозин придирчиво вчитывался в текст, внимательно рассматривал каждую букву. Что-то неуловимое тревожило его в этих документах, а схватить это «что-то» пока не удавалось. Перечитывая бумаги, быть может, в пятый раз, он обратил внимание на то, что командировочное предписание было датировано двадцать первым ноября сорок первого года, на удостоверении личности стояла дата выдачи — двадцать седьмое сентября. Рукописный текст документов был вписан разными почерками: в командировочном предписании буквы имели сильный наклон влево, в удостоверении личности текст имел не менее резкий наклон вправо. Различие вызвало у Лозина подозрение, была в этом какая-то нарочитость. А главное, что при всей несхожести почерков, в них оказалась одна общая деталь; в обоих документах неоднократно встречалась буква «т», и над каждой такой буквой сверху стояла черточка. Все черточки по своему характеру и размеру были одинаковые. Под удостоверением лич-

ности была подпись начальника штаба Котова, под командировочным удостоверением — заместителя начальника Петрова. И в обоих случаях над буквой «т» в той и другой фамилиях стояли одинаковые короткие черточки.

* * *

Обыск арестованного не дал никаких результатов. В его одежде не обнаружили ни потайных карманов, ни фальшивых швов, в противогазе, кроме двух кусков хлеба, ничего не нашли. Один из кусков завернут был в газету «На страже Родины» от десятого ноября. На полях третьей страницы газеты чернела карандашная запись: «5/XI—37».

На заводе Ломов выяснил, что Щеглов явился туда накануне, провел весь день в цехе, ночевал в общежитии на территории завода.

Все эти данные пока что не давали никаких конкретных улик.

— Многое зависит от того, что мы найдем в этом конверте,— Лозин указал на конверт, придавленный массивным пресс-папье.— Только что получил заключение экспертизы, даже не успел вскрыть конверт.

Заключение умещалось на одной машинописной странице. Экспертиза утверждала, что удостоверение личности и командировочное предписание, датированные разными месяцами и подписанные разными фамилиями, в действительности заполнены в один и тот же день. Бланки командировочного предписания и удостоверения личности ни в одной из ленинградских или фронтовых типографий не печатались. Шрифты, которыми отпечатаны бланки, имелись до войны в псковской типографии. Рукописный текст, которым заполнены оба бланка, написан одним и тем же лицом.

— Теперь можно приступить к серьезному разговору,— сказал Лозин.

— Но мы еще не получили ответа из дивизии,— заметил Ломов.

— Из дивизии мы можем получить четыре варианта ответа. Ответ первый: политрук Хлебников и лейтенант Щеглов в дивизии не числились и не числятся. Ответ второй: названные товарищи пропали без вести. Ответ третий: названные товарищи погибли в бою. И последний вариант: названные товарищи числятся в плену. Каждый из четырех ответов подтверждает, что мы задержали засланного немцами диверсанта или шпиона.

* * *

Щеглова вызвали в час ночи. Получив ответы на первые вопросы биографического порядка, Лозин спросил:

— Кто командир вашей дивизии?

— Генерал-майор Арбузов.

— А командир полка?

— Подполковник Кадацкий.

— Приходилось вам видеть генерал-майора Арбузова?

— Пока не привелось.

— Командира полка вы, конечно, видели не раз?

— Так точно.

— Опишите его внешность.

— Он высокого роста, слегка сутулится, припадает на левую ногу,— говорят, был ранен под Островом,— на левой щеке, если приглядеться, можно заметить небольшой шрам, это у него еще с гражданской войны память. Голос зычный, раскатистый — привык командовать. Да, вот еще — брови: они у него очень густые.— Щеглов говорил быстро, без запинки, уверенно.

«Хорошо заучил,— подумал Лозин,— но умом не блещет. Не понимает, что зубрежка прет наружу».

— Как выглядит комиссар полка?

— Тоже высокий, блондин, носит небольшие усики, говорит с легким украинским акцентом, волосы зачесывает назад...

— Когда вы покинули полк?

— Двадцать первого ноября.

— Скажите, где вы получили хлеб, который обнаружен в вашем противогазе?

— В Доме Красной Армии.

— Я вас спрашиваю не об этом, а о том куске хлеба, который завернут в газету «На страже Родины».

— Ах, этот? Я сразу не понял. Это я получил в своей части... сухой паек...

— Удивительно хороший хлеб, но об этом мы еще поговорим. Значит, вы родились в Пскове?

— Да... В Пскове, на Советской улице, дом двадцать семь, квартира один.

— Что означает дата на полях газеты?

— Какая дата?

— Вот эта. Видите карандашную запись: пятое ноября тридцать седьмого года. Что означает эта запись?

— Не знаю, я получил хлеб уже завернутым в газету.

— Есть у вас знакомые в Ленинграде?

— Нету...

— Никого?

— Никого.

— С какого времени служите в армии?

— С первого дня войны... Пошел добровольцем.

— Где находятся ваши родители в настоящее время?

— Погибли в Пскове от рук фашистских палачей...

— Откуда вам это известно?

— От партизан. К нам в часть попал один из псковских партизан, он и рассказал мне об этом.

— Как фамилия партизана? Имя, отчество?

— Фамилия? Фамилия Иванов. Имени-отчества, извините, не помню, боюсь соврать...

— Врать, конечно, не стоит. Этот Иванов и сейчас в вашей части?

— Убит осколком снаряда...

Лозин перестал записывать и задумчиво посмотрел на арестованного.

— Ну вот мы и познакомились,— сказал он устало.— Поверхностно, конечно. Но ничего, встретимся через несколько часов. К предстоящей встрече советую вам вспомнить, как ваша настоящая фамилия. Припомните также, кого вы знаете в Ленинграде. Что означает дата на полях газеты. И какое задание вы получили от немцев...

* * *

Утром Лозин продолжил дознание. За минувшую ночь черты Щеглова заострились, глаза глубоко запали.

— Надеюсь, сегодня вы будете говорить правду,— начал Лозин.— Как ваша настоящая фамилия?

— Я же сказал — Щеглов Николай Антонович. Это и в документах написано.

— Документы пишут люди, а люди делают то, что им нужно. Например, кто-то поставил на полях газеты дату, относящуюся еще к тридцать седьмому году. Нам она непонятна, но кто-то сделал эту запись, значит, кому-то она нужна,—не правда ли?

— Возможно...

— Вы так и не хотите вспомнить, кому это было нужно?

— Нельзя вспомнить то, чего не знал.

— Всякое бывает... Итак, вы родились и жили до войны в Пскове? Интересный город. Несколько лет назад я провел там целую неделю. Приходилось вам бывать в псковском кремле?

— Приходилось...

— Опишите его.

— Кремль является центром Пскова, он расположен на берегу реки Великой. В кремле имеется Троицкий собор. Кремль является древнейшим архитектурным памятником...

— У вас завидная память,— прервал Лозин арестованного. — Может быть, вы вспомните, сколько этажей имеют Поганкины палаты?

— Два этажа, если не считать полуподвальное помещение. В нем купцы держали свои товары.

— Так... Скажите, с Советской улицы видна звонница Спаса на Липне?

— С Советской? Звонница Спаса?

— Да, с Советской. Видна с Советской звонница Спаса на Липне?

— Видна... по-моему.

— По улице Энгельса можно выйти к реке Великой?

— По улице Энгельса? Нельзя.

— А куда по ней можно выйти?

— Куда можно выйти? По улице Энгельса?

— Да, по улице Энгельса. И перестаньте повторять мои вопросы.

— По улице Энгельса, как я помню, можно выйти к Новгородской улице.

— А вы утверждали, что нельзя вспомнить то, чего не знаешь,— сказал Лозин задумчиво.— Однако сами вы только что вспоминали именно то, о чем не имеете никакого представления. Свои «воспоминания» вы заучили по энциклопедии, но заучили довольно поверхностно. Впредь запомните, что в Пскове нет улицы Эн-

гельса. И нельзя с Советской улицы увидеть звонницу Спаса на Липне, потому что такой церкви в Пскове нет. Поэтому я хочу вам напомнить о том, что вы не жили до войны в Пскове и не родились в этом городе. Значит, вы говорите неправду, стараетесь ввести следствие в заблуждение...

Это был первый прямой удар, нанесенный арестованному, и Лозин с удовлетворением отметил его результат. До сих пор, отвечая на вопросы, Щеглов смотрел ему прямо в глаза, руки его неподвижно лежали на коленях. Лозин знал этот «защитный» прием преступников — открытый взгляд и неподвижные руки должны были создать впечатление уверенного душевного состояния. Но сейчас Щеглов потерял контроль над собой: глаза его бегали из стороны в сторону, неподвижные до сих пор руки крутили пуговицу гимнастерки.

Второй удар последовал незамедлительно:

— Как вы думаете, что нам ответил штаб «вашей»,— Лозин усмехнулся и повторил: — «вашей» дивизии на вопрос о лейтенанте Щеглове?

Арестованный молчал.

— Ваши хозяева работают из рук вон плохо. Легенда, которой они вас снабдили, рассчитана на детей. Впрочем, ваша судьба их не волнует. Так вот, штаб дивизии сообщил, что лейтенант Щеглов Николай Антонович убит в бою под Лугой. Как вы можете объяснить такой ответ?

— Не понимаю... Может, это другой... однофамилец...— Бледное лицо арестованного покрылось испариной.

Лозин понял — настало время для решительного удара:

— Где документы на имя политрука Хлебникова Ивана Сергеевича? Отвечайте! Говорите правду! Ну!

Арестованный рванул ворот, он задыхался.

— Я жду! Как ваша настоящая фамилия? Какое вы получили задание? Как оказались на фронтовой дороге? Говорите!

— Куликов...

— Имя, отчество?

— Василий Карпович...

— Продолжайте! Вам ясно, что вы полностью разоблачены? Ваша дальнейшая участь зависит от вас. Говорите правду! С какой целью вас забросили в Ленинград?

— Я скажу... скажу... Мне трудно... не могу говорить...

— Не можете говорить? Вот вам бумага, вот перо. Садитесь и пишите. Подробно: какое задание получили от немцев, какие знаете в Ленинграде явки, как и когда попали в плен, что означает дата на газете. Даю вам на все два часа. Пишите! И не пытайтесь ввести нас в заблуждение!

* * *

Когда арестованного отвели в камеру, Лозин отправился с докладом к начальнику контрразведки Ленфронта. В основном картина была ясна. Куликов сдался добровольно в плен под Островом, с октября стал слушателем разведывательной школы в эстонском местечке Вана Нурси. Десятого ноября Куликова доставили в поселок Кезево, где он прошел дополнительную выучку под руководством начальника абвергруппы 112 капитана Шота. На рассвете двадцать первого ноября немцы на колпинском участке фронта переправили Куликова в Ленинград. Шпион должен был выявить действующие цехи ленинградских заводов, их производственные возможности, настроение жителей города, реакцию на-

селения на обстрелы и воздушные налеты, расположение кораблей на Неве.

Начальник контрразведки слушал Лозина и одновременно просматривал протокол допроса Куликова.

— Его документы отпечатаны на подлинных бланках? — спросил он.

— На поддельных, но отличить это простым глазом просто невозможно... Есть основания полагать, что Разов со дня на день начнет действовать.

— Я знаю об этом. Вы говорите, что все началось с заявления сержанта Грачева. Выходит, не зря мы учили народ бдительности. Представьте Грачева к награде медалью «За боевые заслуги». А нам с вами награды получать еще рано.

— Я о наградах не думаю, товарищ старший майор,— сказал обиженно Лозин.

— Верный признак, что вы их получите. Представление Грачева не задерживайте: все мы в Ленинграде ходим под снарядами, спим под бомбами...

Лозин возвращался от начальника контрразведки в дурном настроении. Докладывая о деле Куликова, он умолчал, что ему так и не удалось выяснить значение надписи на полях газеты, в которую был завернут хлеб. Куликов твердо стоял на своем: ничего не знаю — хлеб получил уже завернутым...

8. «ИМЕЮ ПОДОЗРЕНИЕ...»

Дом на Лоцманском острове загорелся в полночь, никто его не тушил. Он горел медленно, тихо, и к утру вокруг пожарища появились лужи талого снега. Холодное солнце еще не взошло, не миновал еще комендантский час, а жители ближних кварталов потянулись к пожарищу за водой. Скрипели полозья детских сала-

зок, звякали, бренчали привязанные к салазкам ведра, чайники, кастрюли, котелки. Люди спешили, знали по опыту: воды всем не хватит. И хотя они спешили, но шли медленно, точно тянули за собой не детские салазки, а тяжело груженные сани. Закутанные в тряпье, в больших растоптанных валенках, они шли, волоча ноги, оставляя на снежной целине глубокие борозды.

Невидимый радиометроном сухо отстукивал секунды и внезапно умолк. Из уличных репродукторов вырвался тревожный голос диктора:

— ...Район подвергается артиллерийскому обстрелу... Движение по улицам прекратить... Населению немедленно укрыться...

Гнусаво и тонко провизжал снаряд, где-то поблизости грохнул взрыв, но люди молча, упрямо продолжали тянуть свои салазки. Казалось, и обстрел, и взрыв, и голос диктора — все это не имело к ним никакого отношения.

Диктор умолк, и метроном забился лихорадочно быстрым перестуком, предупреждая ленинградцев — снова смерть ворвалась в город, она рядом, уже есть убитые...

Первым у воды оказался Женька. При отблесках догорающего дома видно было его лицо, лицо без возраста, без выражения, с потухшими глазами, похожее на бледно-серую маску.

Женька зачерпнул солдатским котелком воду и стал наливать в ведро. На этот раз ему повезло: кому не хватит воды, тому придется волочить санки к проруби на Неве. Туда и обратно — так далеко! Вчера Женька ходил целых три часа. Когда вернулся, так и повалился на диван. Пролежал весь вечер, не поднялся даже, когда завыли сирены,— очередной налет немцев. Рядом на кровати лежал дед Афанасий в пальто, в шапке, укрытый поверх одеяла ковром. Дед лежал неподвижно, спи-

ной к Женьке, и нельзя было понять, жив ли он. Неделю назад на кровати, укрытая этим же ковром, лежала бабушка. Женька и дед думали, что она спит, а она была мертвая. Умерла от голода, они и не заметили, когда она умерла...

Нелегко наполнить котелком ведро воды! Мокрая варежка леденеет, прилипает к руке, пальцы не держат котелок, а стоящие позади толкают, торопят: мороз становится злее — талая вода, того и гляди, превратится в лед.

Боясь расплескать ведро, мальчик осторожно дернул веревку. Санки не тронулись с места. Он дернул сильнее — санки не шевельнулись.

— Давай помогу...— Какая-то женщина в тулупе, должно быть дворничиха, подтолкнула салазки, полозья скрипнули, и Женька медленно потащил их к дому.

У него еще хватало сил тянуть веревку, но ноги были как чужие, он не мог оторвать их от земли, они противно шаркали, увязали в снегу.

С трудом протащился он шагов сто и остановился передохнуть. Ему очень хотелось присесть на салазки, но он заставил себя стоять: сесть легко, а потом? Вдруг не хватит сил подняться?!

Из репродуктора снова раздался голос:

— ...Артиллерийский обстрел продолжается!.. Населению немедленно укрыться!

Неотступный голод, мертвящий мороз давно уже подавили в Женьке боязнь обстрелов. Женька боялся умереть от голода, упасть в сугроб и замерзнуть, но почему-то не допускал мысли, что может погибнуть при обстреле. И сейчас, слушая голос диктора, он испугался не за себя, он подумал, что осколок может разбить салазки, и тогда... тогда дед обязательно умрет. После смерти бабушки старик постоянно твердил:

— Санки, Женя, береги. Без санок на чем меня хоронить будешь?.. В парадной бросишь?!

Но Женька почему-то верил — пока санки целы, дед не умрет.

Боязнь лишиться санок заставила его двинуться дальше. Стучал метроном, где-то визжали снаряды, а он думал только об одном — как сохранить салазки и довезти воду.

До дома было уже недалеко, когда позади грохнул взрыв. Снаряд разорвался где-то во дворе, и высокие кирпичные стены домов приняли удар на себя, но все же взрывная волна бросила Женьку в снег. Падая, он видел, как взметнулось к небу грязно-желтое пламя...

Он очнулся от звука горна, возвещавшего конец артиллерийского обстрела. Голос диктора бодро произнес:

— Артиллерийский обстрел прекратился. Движение по улицам возобновляется...

Подняться сразу Женька не смог, окоченевшие ноги не гнулись. С трудом удалось ему встать на колени, и тогда он с ужасом увидел опрокинутые салазки и пустое обледеневшее ведро.

Это была катастрофа! До сегодняшнего дня растопленный на времянке снег заменял им воду, но вчера вечером они сожгли остатки последней табуретки и теперь в комнате осталось лишь одно «горючее» — диван, на котором спал Женька. Деревянные перила с лестничных пролетов он содрал две недели назад — накануне Дня Конституции. Дед вчера сказал:

— Без воды и дня не протянем...— потом посмотрел на Женькин диван, и Женька понял, о чем он подумал.

— Вдвоем и спать теплее,— виновато сказал дед.— А в диване — вон сколько топлива...

Наконец Женьке удалось встать и с трудом поставить салазки на полозья. Что делать дальше — Женька не знал. Он не мог вернуться домой без воды. Значит,

надо опять набить ведро снегом? Но в холодной комнате снег не растает. Придется жечь диван.

Он оглянулся вокруг и заметил поблизости большой, сверкающий чистым снегом сугроб. Проваливаясь по колени в снег, Женька пробился к сугробу, сунул в него ведро и почувствовал, что ведро наткнулось на что-то твердое. Что там может быть? Он разгреб вокруг ведра снег и увидел торчавшую в сугробе деревянную плашку. Потянув ее, Женька неожиданно легко вытащил... лыжу. Лыжа! Да это же дрова! Топливо! Вот удача! Сейчас они с дедом распилят лыжу, затопят времянку, поставят на огонь набитый снегом чайник и выпьют по две кружки кипятку с хлебом. Но почему же только одна лыжа? Должна быть и вторая!

Поспешно, словно боясь, что лыжа исчезнет, Женька принялся разгребать сугроб, и когда вытащил вторую лыжу, обернутую наполовину в белую промерзшую материю, он не удивился, а только обрадовался. Вот находка! Целый клад! Если с умом топить, можно неделю пить кипяток!

Привязать лыжи к санкам было не легко, обледеневшая, промерзшая веревка выскальзывала из непослушных окоченевших рук, никак не удавалось стянуть ее узлом. В конце концов Женька все же закрепил лыжи и пристроил ведро, набитое снегом.

Путь к дому показался ему бесконечным, а когда он втащил санки в подъезд, то понял — подняться с ними на второй этаж по скользкой, обледенелой лестнице невозможно. С трудом развязав веревку, он высвободил лыжи и волоком втащил их на площадку второго этажа, потом спустился за ведром и наконец втянул пустые санки.

По темному коридору Женька перетащил лыжи к своей комнате и осторожно открыл дверь. В комнате было темно и тихо. «Конечно, дед спит»,— подумал

Женька. Старик часто теперь твердил пословицу — «кто спит, тот сыт». Однако пословица не помогала, за последние дни он совсем ослаб.

Дед Афанасий не спал, он слышал, как вошел внук, но продолжал лежать лицом к стене: повернуться — нужна сила, а где ее взять?

— Досталось воды? — спросил, не оборачиваясь, дед.

— Деда, смотри, я лыжи нашел.

Дед с трудом повернулся к Женьке:

— Каки таки лыжи?

— Вот, смотри. В сугробе нашел. Их снегом засыпало. Снег, видно, всю ночь шел.

Опустив с кровати ноги в подшитых валенках, старик смотрел, как Женька непослушными руками разворачивает завернутую в смерзшуюся материю лыжу.

— Смотри-ка, деда, я думал, это простыня, а это чего-то такое... Халат докторский, что ли?..

— Покажь поближе...

Женька положил необычную находку на колени деда. Старик стащил с опухших рук варежки и долго ощупывал негнущимися пальцами задубевшую на морозе белую материю.

— Подыми затемнение...

Женька отвернул тяжелую штору. На зафанеренном окне остекленной была только маленькая форточка. Дед смотрел на белый халат, и вдруг что-то далекое, тревожное возникло в его памяти. Он увидел себя молодым, сильным, на льду Финского залива, в яростной ночной атаке на мятежный Кронштадт. Вражеские прожекторы вспарывали черную мартовскую ночь и шарили по льду залива, но красноармейцы были невидимы в маскировочных халатах, точно в таких же белых халатах, что лежал сейчас на его коленях...

— Может, за халат грамм двести хлеба дадут,— сказал Женька.

— Не трожь! — Такого твердого голоса у деда Женька давно не слышал.— Не трожь! Управхоз наш не помер?

— Не знаю... вчера утром был живой, стоял у ворот.

— Найди его, чтобы сразу сюда шел. Имею подозрение...

9. НА БЕРЕГУ ЗАЛИВА

В анкетах, которые ему приходилось заполнять, Михаил Григорьевич Косов указывал, что он инвалид гражданской войны. В Ольгине он появился в начале тридцатых годов и сразу же был принят в совхоз: уж очень нужная была у него специальность — шорник. Работал он хорошо, лодыря не гонял, пил «аккуратно», но поесть любил не в меру.

— А и прожорлив ты, отец, живот бы хоть пожалел! — упрекала его жена, маленькая, тощая женщина.

Сытый Косов внушительно объяснял:

— Ты, Настя, дура, политически отсталая! Кто хозяин человеку, кто ему приказы отдает, на поступки толкает? Думаешь, черепушка? Глупость! Ни хрена твоя черепушка не стоит, хоть и содержит разные извилины. Нет, мать-мачеха! Живот! Он главный хозяин человеку! Все от него! И революцию живот сделал. Думаешь, почему революция получилась? Сытый бунтовать не будет. Сытому все одно, кто им командует — что царь, что псарь!

В совхозе знали за Косовым грешки — то подпругу пустит «налево», то узду загонит, — знали, но терпели: не было другого шорника во всем поселке.

За год до войны жена Косова умерла. Остался Косов один, и совсем обнаглел — ленинградская милиция задержала его на толкучке, когда он продавал краденную

в совхозе сбрую. Судить не стали — отпустили, как инвалида гражданской войны, но из совхоза выгнали. Поселился Косов на отшибе, на самом берегу залива. На какие деньги жил — неизвестно, говорил, что племянница из Ленинграда помогает. А тут началась война, и всем стало не до него.

Редко кто видел теперь Косова в поселке. Появлялся он только в лавке за хлебом, а в остальном, по его словам, жил «на подножном корму».

— Картошка, капуста, прочие корешки у меня есть,— объяснял Косов,— а больше мне ничего и не надо.

Но в поселке знали, что Косов возит в город и картошку, и капусту, и «прочие корешки», и меняет в Ленинграде на разные золотые вещи, потому что в городе начался голод. В конце ноября подсчитал он свою добычу и увидел, что может прожить без нужды много лет. А что «подножного корма» осталось на три-четыре недели — это его не тревожило: дело ясное, немцы под Москвой, Ленинград не сегодня-завтра сдадут, а уж при немцах-то он не пропадет, шесть консервных банок набиты золотишком да «камешками».

Но шли дни, Москва стояла на своем месте, Ленинград не сдавался. В конце ноября Косов отправился в поселок за хлебом, простоял в очереди час-полтора, а придя домой, увидел: дверь взломана — воры побывали. Золота, конечно, не нашли, а два мешка картошки украли. Косов испугался. Впервые подумал, что голод доберется до него раньше, чем немцы придут в Ленинград.

Тяжелые дни наступили для Косова. С ужасом замечал он, как тают его запасы: картошки осталось полмешка, килограммов пять редьки и брюквы, маленькая кадушка квашеной капусты. А немцы по-прежнему только грозились взять Ленинград.

В самом начале декабря получил Косов письмо от племянницы из Ленинграда. Ксения спрашивала — здоров ли и где живет: по-прежнему у залива или перебрался в поселок. Михаил Григорьевич описал свое житье-бытье: «Живу на прежнем месте, от людей на отшибе, голодаю, потому что обокрали все продовольствие, помоги чем можешь...»

Вскоре проезжий солдат доставил Косову новое письмо, а с письмом — полкирпича хлеба и шесть пачек пшенного концентрата. Обещала Ксения скоро навестить, а кроме того, писала: «Если к тебе придут военные с приветом от меня — окажи им почет, уважение, а они в долгу не останутся».

Но Косову голодать не пришлось, дела его неожиданно пошли на подъем: в поселке люди стали умирать от голода. Мертвых надо было хоронить, а где взять гроб? Кто выроет могилу в заснеженной, окаменевшей земле? Нет в поселке здоровых мастеровых людей — все в армии. И тут появился Косов. Гроб из ворованного совхозного теса мастерил за кило хлеба, могилу долбил за два. У кого нет хлеба — брал картошкой. С каждым днем жить становилось лучше, потому что покойников становилось больше. По ночам завывала пурга, бухали вдали тяжелые орудия, сотрясая скованную морозом землю, тревожно врезались в черное небо белые, зеленые, красные ракеты. Косов выбегал на крыльцо, прислушивался, с какой стороны стреляют: может, немцы пошли в наступление? Пора! Давно пора!

Однажды, вернувшись с кладбища с буханкой хлеба, Косов затопил печурку, поставил чайник, разрезал буханку на тонкие ломтики и разложил их на печурке: пусть подсохнут, будут сухари про запас. Хорошо бы смотаться в Ленинград, думал он, сидя у печки. Сейчас там за буханку хлеба можно наменять чего хочешь! Только ведь пропуска не даст чертова милиция!

Тихий стук прервал его размышления. Хотя был уже поздний час, но стук не удивил Михаила Григорьевича — верно, еще один покойничек, можно сказать, еще буханочка хлеба стучится. Он открыл дверь и посветил ручным фонариком. В дверях стоял рослый красноармеец с вещевым мешком на плече.

— Привет вам от Ксении Петровны,— сказал он и шагнул в темные сени твердо, уверенно, точно он был здесь свой человек.

«Замерз, видно, в тепло торопится»,— подумал Косов, и не ошибся. Гость, не раздеваясь, подсел к печурке.

— Продрог, сынок? Погрейся, погрейся, сейчас я чайку...— засуетился Косов.—Ну, как там Ксения? Проведать меня не собирается? Может, чего съестного прислала?

— Все в порядке. Поставьте, пожалуйста, чайник, а остальное у меня найдется.

— Он уже готов, чайник-то! — сказал довольный Косов, ожидая, что сейчас на столе появятся либо консервы, либо шпик.

— Тогда можно ужинать,— сказал военный, скидывая полушубок. Пришедший оказался не рядовым, как решил поначалу Косов, а лейтенантом — в петлицах его гимнастерки при свете свечи отчетливо были видны два кубаря.

— Не выпить с такого мороза — грех! — сказал лейтенант и вытащил из вещмешка бутылку водки, большой кусок шпика, банку консервов и еще пакет, содержимое которого Косов не смог определить.—Начнем, пожалуй!

Косов налег на шпик, уж очень давно он не ел так вкусно и сытно. От водки Косов совсем разомлел — стал благодушен и словоохотлив.

— Откуда и куда, сынок? — спросил он, отрезая еще кусок сала.— На фронте-то побывал? Успел нюхнуть пороха? Я ведь старый солдат, видишь, хромаю. Это мне беляки в гражданскую метку сделали, мать-мачеха!

— Ну, как же, как же! — весело отозвался лейтенант и подлил Косову из бутылки.

— Благодарю-спасибо.— Косов опорожнил кружку.— А это, извиняюсь, что же такое будет? — он показал на непонятный пакет.—В смысле съедобности...

— В смысле съедобности у немцев это называется эрзац-мед, то есть искусственный мед. Оставлю вам, ешьте на здоровье, но никому не показывайте, а то начнутся вопросы: что, как, откуда?..

Косов, хотя и был полупьян, но в словах лейтенанта ему послышалось что-то непонятное.

— Где же ты раздобыл этот немецкий мед? — спросил Косов, перестав жевать.

— Друзья дали, любезный Михаил Григорьевич, друзья. — И, не давая Косову времени для новых вопросов, поинтересовался: — Так, значит, ногу вам на гражданской беляки повредили?

— Именно! Состою на учете как инвалид гражданской войны. Когда, значит, Деникин под Орлом наступал...— начал привычно Косов.

— Любезнейший Михаил Григорьевич, сказки меня не интересуют,— прервал Косова лейтенант.— Не под Орлом, и не Деникин, а гуляли вы на Тамбовщине в бандах Антонова, там вас красные продырявили, и были вы за свои дела приговорены ревтрибуналом к расстрелу, да помог вам бог бежать. Так что пейте, ешьте и не играйте со мной в прятки, я знаю о вас гораздо больше, чем вы думаете...

Вилка выпала из рук Косова; в ужасе смотрел он на веселого лейтенанта, ожидая, что тот сейчас его арестует.

— Прошу вас, закройте рот и продолжайте есть,— сказал лейтенант.— Можете меня не бояться, тем более что ночью я уйду в Стрельну.

— Выходит, вы... вы... как бы с той стороны?— выдавил, бледнея, Косов.

— Вы догадливы. Думаю, что и вы там будете... Но не стоит гадать, сейчас я должен подготовиться к дороге. Если не возражаете, я отдохну, идти придется долго. Ступайте в соседнюю комнату и ждите, пока я вас позову.

Испуганный Косов послушно вышел, закрыл за собой дверь и рухнул на табуретку. Все перемешалось в его сознании. Кто этот человек? Откуда он все узнал? О самом сокровенном... Даже покойная Настя и та верила, что ранен он белой пулей под Орлом. Только Ксения с мужем знали его прошлое. Значит, кто-то из них рассказал этому человеку то, о чем и сам Косов боялся вспомнить. Но зачем? Не иначе, чтобы запугать. И конечно, они знают, что этот лейтенант идет к немцам, знают и хотят ему помочь. Что Ксения ненавидит советскую власть — это понятно: отец при нэпе имел магазин, большими тысячами ворочал, а кончил дни в Соловках. Да и сама Ксения! Еще в октябре была офицершей, а теперь кто?.. Хорошо еще, что фамилии у нее с мужем разные, а то бы и ей загреметь в тартарары!..

Косов сидел в темноте. Из-за тонкой перегородки слышалось тихое похрапывание гостя. Часы-ходики неутомимо отстукивали секунды... В конце концов водка сделала свое дело, и, как ни был взволнован Косов, он все же задремал...

Очнулся Косов от скрипа двери. На пороге стояло, освещенное зыбким светом свечи, белое привидение.

— Хочу попрощаться с вами,— сказало привидение голосом лейтенанта.— Ненадолго, любезнейший Михаил Григорьевич...

Окончательно проснувшийся Косов понял — гость надел маскхалат.

— Куда же вы?— пробормотал он.

— Туда, откуда пришел. Теперь слушайте внимательно! Обо мне никому ни слова... если хотите остаться в живых. Ксения Петровна, очевидно, вскоре вас навестит. Повторяю, обо мне никому ни слова! Поняли?

— Да что вы... я ж понимаю, я сразу догадался...— Косов вдруг заговорил твердо.— Слышь, возьми меня с собой... Я этот путь через залив на Стрельну как свой дом знаю. Большевики мне — во как мозоли оттопали! Я немцам пригожусь!

— Не сомневаюсь. Но сейчас вы нужны нам здесь. Поэтому сидите на месте и ждите. Весной немцы сами сюда придут, вы откроете свое шорное дело и будете жить как человек, без страха и сомнений. А теперь дайте мне ваши лыжи, мои украл какой-то негодяй. Оставляю вам свой вещмешок, в нем сало, сахар и две банки консервов.

— Вот уж спасибо! А то целую неделю харчусь только хлебом с картошкой. А лыжи сейчас принесу. У меня и лыжная мазь есть... Так что с богом, сынок, счастливой тебе дороги!

10. «ЭТО НЕ ЕСТЬ СМЕШНО»

Капитан Шот еще раз перечитал донесение Несвицкого—Глухова и остался доволен. Для начала этот русский оказался довольно ловким и наблюдательным. Полученные от него сведения несомненно пригодятся разведке группы армий «Север». Но почему он вернулся из Ленинграда на сутки раньше? Надо выяснить. Шот взглянул на часы: без трех минут девять. Сейчас Глухов должен явиться с докладом.

Вынув из ящика стола сигару и раскурив ее, Шот раскрыл толстый блокнот. Восемьдесят страниц в нем были уже заполнены. На восемьдесят первой он вывел аккуратным каллиграфическим почерком: «Пополнить запас сигар». Это был специальный блокнот: начальник абвергруппы вписывал в него личные дела, предстоящие ему в Ленинграде, куда, как он был убежден, немцы войдут не позднее апреля — мая будущего года.

Глухов явился ровно в девять. Шот встретил его своей обычной улыбкой.

— Здравствуйте, Глухов. Садитесь. Я читал ваше донесение, я вижу — все получалось неплохо.

— Вы правы, господин капитан, все обошлось хорошо.

— Я есть доволен вами. Вы имеет мысли. Это бывает не часто у русских, я правильно говорю?

— Русские бывают разные, господин капитан...

Шот перестал улыбаться.

— Не будем спорить, будем заниматься делами. Вы тут не сообщали главное. Я имею в виду мина...

— Мина передана по назначению, господин капитан... Помог телефон. Все обошлось без сучка, без задоринки.

— Без чего?

— Русская поговорка — «без сучка, без задоринки». Она означает, что все прошло хорошо, гладко. Но, к сожалению, ваши опасения подтвердились: о Хлебникове она ничего не знает, он ей не позвонил...

Шот поморщился:

— Это неприятно, но я оптимист, я надеюсь, что он не арестован... а убит. Однако будем продолжать. Вы много описали про умирание жителей. Вы имели это видеть вашими глазами или только слышать рассказы жителей?

— Мое донесение составлено исключительно на основании личных наблюдений.

— Очень хорошо. Что вы можете дополнять?

— Господин капитан, мое мнение таково: Ленинград сейчас можно взять чуть ли не голыми руками. Несколько пехотных дивизий, полсотни тяжелых танков, хорошее прикрытие с воздуха — и Ленинград капитулирует. Жители сопротивляться не в силах, армия истощена, ее боевой дух начисто подорван, голод, холод, страх сделали свое дело...

Глухов говорил убежденно. Он провел в Ленинграде четыре дня, и то, что он там увидел, окончательно убедило его: война проиграна, сопротивляться бесполезно.

— Я хотел слышать подробно, что вы видели вашими глазами.— Голос Шота звучал мягко, задушевно.

— Господин капитан, это невозможно передать словами. Вы были в Париже?

— О, да! Я входил в Париж с нашей победной армией, и я имею надежду войти так же в Пэтерзбург!

— В Париже вы, конечно, видели в Лувре знаменитую картину художника Пуссена: она называется «Зима». Ваш великий Гете назвал этот шедевр «страшной красотой». Вспомните: земля, скованная мертвым, ледяным молчанием. Оцепеневшие люди, зловеще светящееся мертвым холодным светом небо... Помните?

— В Париже я имел другие дела, чем смотреть картины. Вы должны говорить мне не картины, а точно. Разведчик, который не умеет говорить, что он видел, есть... как это? — Шот пощелкал пальцами, подыскивая подходящее слово.— Такой разведчик есть ничтожность.

У Глухова сжались губы. Он не знал, как реагировать на слова начальника абвергруппы: принять их за шутку или обидеться.

— Я жду,— напомнил Шот.

— Чудовищный голод!

— Это для нас не есть новость.

— Да, но какая смертность! Я прошел по Невскому проспекту от Лавры до Штаба, за это время я насчитал шесть мертвецов. Вы знаете, на чем их везли? На детских салазках! Без гроба! Завернутых в тряпье! Два трупа волокли на больших листах фанеры! У всех живых одинаковые серо-землистые лица, мутные глаза, под глазами — отечные мешки. Все там теперь похожи друг на друга: молодые и старики, живые и мертвые. Разница только в том, что мертвые неподвижны, а живые пока еще передвигают ноги...

— Значит, вы видели шесть мертвых? Всего шесть?

— Представьте себе, господин капитан, сколько ленинградцев умирает за один день, если, пройдя один раз по Невскому, я насчитал шесть трупов. Вспомните, сколько в Ленинграде улиц, и по каждой из них — по всем улицам, проспектам, площадям, переулкам тащат с утра до вечера детские санки с запеленатыми покойниками. Их тащат люди, которые завтра сами превратятся в трупы...

Шот отлично знал количество улиц в осажденном городе. В его сейфе хранились шестнадцать крупномасштабных карт. Составленные вместе, они превращались в детальный план Ленинграда. Промышленные предприятия, мосты, госпитали, больницы, воинские казармы, Смольный, Эрмитаж, Центральный телеграф, радиокомитет — все эти объекты были обведены на карте жирным кружком, и над каждым объектом висело изображение авиабомбы.

— Значит, шесть покойников за один час. Только на Невском проспекте? Можно сделать подсчет... приблизительно, конечно...— Шот устремил к потолку отрешенный взгляд, его тонкие красные губы беззвучно шевелились. Глухов сидел притихший, опасаясь помешать подсчетам капитана.

Шот быстро справился с задачей. Сияя улыбкой, он вдруг прищелкнул пальцами обеих рук:

— Оля-ля, как говорят французы! Вы правы! Неплохая цифра! Это есть количество двух дивизий пехоты! Я сообщу свои подсчеты генерал-фельдмаршалу фон Леебу. Это хорошие сведения.

— Господин капитан, хочу сказать вам, что жителей города удивляет медлительность германского командования. Если Ленинград падет — большевики запросят мира. Ленинградцы живут одной надеждой — придут немцы, всех накормят, в городе начнется нормальная жизнь, откроются музеи, театры, магазины...

— Немцы всех накормят? Всех? Вы тоже так думаете?

— Конечно, не всех,— поспешил поправиться Глухов. — В городе остались коммунисты, активисты...

— Вы не есть политик, Глухов, вы есть идеалист,— снисходительная улыбка не сходила с губ Шота.— Мы имеем план реалистичный. Это будет очень интересный, оригинальный в истории войн эксперимент. Скажите на мой вопрос: кому нужен этот город?

— Простите, господин капитан, я не совсем понимаю ваш вопрос.

— Что вам непонятно?

— Вы спрашиваете: кому нужен этот город? Что вы имеете в виду?

— Хочу говорить, что Ленинград нам не нужен. После капитуляции русских Германия будет создавать новая Европа. Для новая Европа Пэтерзбург не нужен. Все сокровища искусства будут находить себе место в Германии. Этим вопросом занимается сам рейхсмаршал Герман Геринг.

— Понимаю. Великие произведения искусства принадлежат всему человечеству, следовательно, не имеет значения, где они находятся.

— Теперь вы говорите правильно...

— Но ведь Петербург — красивейший город в мире. Он сам по себе является городом-музеем, произведением искусства. Его архитектурные ансамбли, дворцы, набережные, мосты... Это же нельзя перевезти в Германию.

— Вы очень много говорите.— Шот начал раздражаться.— Вы отвлекались от информации.

— Я только хотел сказать, что обстрелы, бомбардировки Петербурга уничтожают бесценные творения. А между тем один-два корпуса...

— Я это уже слушал,— перебил Шот.— Вы имеете большую щедрость на жизнь немецких солдат! Один-два корпуса! Фюреру дорога жизнь даже одного солдата!

— Но взять такой город без боя невозможно.

— Мы не будем брать Пэтерзбург. Он нам не нужен. И финнам тоже не нужен. Сколько жителей есть в Финляндии? Вы знаете?

— Около четырех миллионов.

— А в Пэтерзбурге, до войны, конечно?

— Больше трех миллионов.

— Значит, чтобы заселять Пэтерзбург, финны должны бросать свою страну, делать ее без жителей... Разве они будут это делать?

Недоумение на лице Глухова сменилось растерянностью.

— Но почему вы говорите о финнах? При чем тут финны? Разве русские после войны не будут жить в Петербурге?

— Этот город будет зачеркнут на все географические карты. Абсолютно! Он будет развалины. Нет, не развалины, а кладбище! Потому что под развалинами будут погребены его жители. Это будет самое большое в мире кладбище! Колоссаль! — Лицо Шота приняло жестокое, злобное выражение.— Но все это ненужный разговор. Русские любят много говорить, немцы не лю-

бят это.— Длинными, остро отточенными ногтями Шот забарабанил по столу.— Что вы еще там узнали? Какие заводы работают, что на них делают?

Глухов торопливо заговорил:

— Заводы, собственно, не работают, нет топлива, нет рабочих. На некоторых заводах действуют один-два цеха. Но это только видимость работы. За станками стоят женщины, истощенные до последней степени, подростки, похожие на стариков. Они не могут работать по-настоящему. Вообще трудно вообразить, господин капитан, до чего они дошли.

— Еще один раз напоминаю: разведчик обязан уметь передавать, что он видел.

— Слушаюсь, господин капитан. Вы приказали узнать о хлебозаводах...

— Да, это есть очень важный вопрос. Ваше донесение об этот вопрос может делать нам большую пользу.

— Я обошел все крупные хлебозаводы. Начал с завода близ Невы. Был тридцатиградусный мороз. Сначала я ничего не понял: я увидел длинную вереницу женщин, я сосчитал — их было восемьдесят семь. Они растянулись цепочкой от самого завода до проруби на Неве. Подойдя ближе, я понял, в чем дело. На заводе не действовал водопровод. Но хлеба без воды не выпечешь. И вот эти женщины наполняли вручную тысячеведерный заводской бак. Они передавали из рук в руки ведра с водой: от проруби до окна завода. Из этого окна торчал лоток, в который они выливали воду. На набережной стоял такой ветер, что меня сквозь полушубок мороз пробирал до самых костей. А на этих бабах были какие-то старые ватники, головы замотаны грязными платками. Там произошел забавный эпизод. Работница, стоявшая у лотка, чтобы вылить ведро, должна была его высоко поднять и часть воды выплескивалась на ее ва-

ленки. А когда кончилась работа, она не могла тронуться с места. Ступни ее валенок исчезли, вместо них образовались два ледяных бугра. Она вмерзла в лед, ее освобождали с помощью секача!

— Секача? Кто такой— секач?

— Маленький, особой формы топорик. Можно сказать, ее вырубали изо льда. Чем кончилась эта сцена — не знаю. Чтобы не привлекать к себе внимания, я должен был уйти. Главное я установил: этот завод работает. А сценка была смешная, — сама себя вморозила в лед!

— Смешная? — Шот откусил и выплюнул кончик сигары.— Нет, Глухов, это не есть смешно! Для нас это славянское упрямство большая опасность. Они упрямо не хотят сдаваться. От этого мы много теряем жизни немецких солдат. Мы будем уничтожать эти люди. Напишите на отдельной бумаге все заводы, какие делают хлеб. А теперь скажите, что вы знаете о другие заводы.

— Мне удалось узнать, что на Путиловском заводе ремонтируют танки. На «Красном выборжце» пытаются выпускать гранаты. Конечно, это только называется — работа. Три дня назад, после бомбежки, на «Выборжце» вышло из строя электричество, станки, конечно, стали. Вам и в голову не придет, что придумали эти бабы и мальчишки! Они крутили вручную шкив. Тянули руками приводной ремень! Мартышкин труд!

— Делайте не быстро выводы. Это опять славянское упрямство. Оно не идет нам на пользу. Оно делает подтверждение старой истины: противник не опасен, только когда он мертвый. Где вы видели оборонительные сооружения, на какие улицы? Говорите, я буду отмечать на карта.— Шот взял красный карандаш.

— Мои возможности были ограничены, но все же я кое-что увидел и узнал из разговоров в очередях. На Марсовом поле стоят зенитные батареи. В Летнем саду

тоже. В домах на Сенной площади устроены доты и бойницы для пулеметов. Смольный затянут камуфляжными сетями, на его крыше стоят зенитные орудия.

— Вы узнавали неизвестные нам места расположений воинских частей?

— За Главным почтамтом, на улице Связи, есть казармы. Какие там размещены воинские части, выяснить не удалось. Воинские части стоят также в Железнодорожном институте и в Академии железнодорожного транспорта. Эта академия помещается на Фонтанке, дом номер сто семнадцать.

— Важное сведение. О нем будем сообщать нашим летчикам.— На карте Шота появились новые пометки.— Теперь отвечайте: электричество? водопровод? канализация? трамвай?

— Водопровод, канализация, электричество, трамвай — бездействуют. Электричество подают только на военные объекты на два-три часа в сутки. В жилых домах — мрак, выбиты стекла, и все окна в домах зафанерены...

— Что такое — зафанерены?

— По-немецки это называется Furnier.

— Понимаю.

— Люди живут, как кроты в норах. Впрочем, кротам лучше: они не мерзнут, не пухнут с голода, их не обстреливают, не бомбят, не заставляют работать.

— Норма хлеба?

— Недавно объявили прибавку. Служащие вместо ста двадцати пяти граммов — получают двести. Но какой хлеб! Голодная собака и та не станет есть. Я принес кусочек — для интереса.

Глухов вытащил из кармана завернутый в клочок газеты глинистый слипшийся комок.

— Они едят эта гадость?! — Шот брезгливо дотронулся до хлеба.— Я буду посылать эта замазка нашему

фюреру! Это будет его забавлять. Впрочем, нет, я прикажу показывать ее солдатам.

Шот знал, что некоторые солдаты ведут недозволенные разговоры — почему они мерзнут в окопах и блиндажах, вместо того чтобы жить со всеми удобствами в ленинградских особняках? Разве фюрер не обещал устроить еще в августе парад на Дворцовой площади? Вид этого хлеба должен убедить солдат в том, что падение Ленинграда — вопрос дней.

— Скоро мы будем иметь еще союзников,— сказал с ухмылкой Шот.— Тиф, дизентерия, может быть, холера. Они должны появляться в Ленинграде этой весной. Но будем продолжать. Наши летчики делают донесение, что они разрушали Ленинградский радиокомитет. Вы имели задание выяснить это.

— Летчики...— Глухов замялся, стараясь найти необидное определение.— Это не совсем точно. Бомба попала в соседний дом — улица Пролеткульта, четыре, радиокомитет не пострадал.

— Вы хотите говорить, что здание существует. Но вещание можно водить из другого места.

— Вещание ведется оттуда, господин капитан. Некоторых артистов я знаю в лицо, я видел, как туда приходили певец Атлантов, артисты Мичурина-Самойлова, Павликов, поэтесса Ольга Берггольц. Летчики, очевидно, ошиблись...

— Ваши сообщения имеют некоторый интерес. Теперь я хочу получать ответ, почему вы вернулись на один день раньше указанного?

— Непредвиденные обстоятельства, господин капитан. Я вышел к Лоцманскому острову между пятью и шестью часами утра. Лыжи и маскхалат зарыл в отдаленном от домов сугробе и отправился по адресу. Шел снег, и мои следы к рассвету, несомненно, исчезли. Через три дня я пошел проверить, все ли в порядке,

и обнаружил свежие следы к сугробу. Даже издали было видно, что сугроб разрыт. Я понял, что лыжи и маскхалат обнаружены и, значит, контрразведка Ленинградского фронта поднята на ноги. Эти обстоятельства заставили меня немедленно возвратиться, тем более что основные задания мною были выполнены.

— Вы посмели возвращаться без маскхалата?!

— Маскхалат мне соорудила жена Солдатова. Из простыни...

— Какой впечатлений имеет на вас жена Солдатова?

— Смелая, энергичная женщина. Ненавидит большевиков. Просила скорее организовать свой переход сюда, к мужу.

— Что вы говорили на это?

— Ответил, как вы приказали, что на третий день после операции «Эрзац» за ней придут в условленное место.

— Гут. Но вы плохо выбирали место для спрятания лыж и маскхалата. Теперь мы имеем невозможность выходить на Лоцманский остров. Можете идти. Скоро вы будете иметь новое задание...

После ухода Глухова Шот составил донесение начальнику разведотдела группы войск «Север» на Ленинградском фронте.

«Достоверные данные вновь подтверждают, что в настоящее время:

1. В Ленинграде умирают от голода, налетов авиации и артобстрелов не менее двадцати тысяч человек в день.

2. Население Ленинграда потеряло всякую надежду на прорыв блокады и не в состоянии вести активные боевые действия в условиях уличного боя.

3. Суточный паек жителей состоит из двухсот граммов хлеба.

4. Канализация и водопровод не действуют. В связи с этим в городе скопилось огромное количество мерзлых нечистот. Таяние снегов, несомненно, повлечет за собою колоссальную вспышку всевозможных эпидемий, что при отсутствии медикаментов и полном истощении, нехватке врачебной помощи обречет население на быстрое и окончательное вымирание. Есть основание считать, что в апреле — мае Ленинград превратится в город мертвецов.

5. Возобновление трамвайного движения по-прежнему исключено: нет электроэнергии, топлива, рабочей силы...»

Шот с удовольствием перечел свое донесение, оно понравилось ему лаконичностью, обилием фактов, литературным стилем. Особенно доволен он был фразой: «Ленинград превратится в город мертвецов».

— Колоссаль,— сказал он вслух.— Первыми в этот город войдут не танки, не пехота, а санитарные отряды с цистернами дезинфекционной жидкости. Невиданно в истории войн! Колоссаль!

11. ГОТОВИТСЯ ДИВЕРСИЯ

Подперев рукой тяжелую голову, Лозин сидел за столом в каком-то полудремотном состоянии. За последние дни вязкая сонливость охватывала его все чаще и чаще. На этот раз он заставил себя отправиться в медчасть.

Медлительный доктор с черной ассирийской бородой, выслушав Лозина, тяжело вздохнул:

— От вашей болезни есть радикальное, быстродействующее средство. Но в Ленинграде его трудно достать. Впрочем, что значит трудно? Невозможно! И вы знаете, как называется это волшебное лекарство? Оно называ-

ется просто: хлеб, масло, мясо. Но я спрашиваю, где теперь в Ленинграде достать настоящий хлеб и настоящее масло? О мясе я уже не говорю.— Он поднял на Лозина темные печальные глаза.— Вы знаете? Я не знаю!..

Ничего не ответив, Лозин поднялся в свой кабинет. Прежде чем приняться за работу, он свернул большую закрутку из крепкого табака, сделал несколько глубоких затяжек и потом раскрыл папку с надписью «Варвара Сергеевна Климова». Надо решить, что же в конце концов делать с этой Климовой. Для ее ареста во фронтовом городе было достаточно оснований: муж Климовой, известный боксер Игорь Стопин, оказался изменником: посланный с морским десантом в тыл противника, он перебежал к фашистам. Знает ли об этом Климова? Если нет — тогда ее надо срочно выслать из блокированного Ленинграда. Жену предателя нельзя оставлять во фронтовом городе: прибегнув к шантажу, угрозам, немцы попытаются использовать ее в своих интересах. Но если она знает об измене Стопина, тогда... тогда до поры до времени она должна оставаться в Ленинграде.

Не выпуская изо рта дымящейся самокрутки, Лозин пытался воспроизвести в памяти события, связанные с изменой Игоря Стопина. В конце ноября отец Игоря получил ошибочное извещение о том, что его сын пропал без вести. Но на днях контрразведка Ленинградского фронта приняла сообщение от Разова: Игорь Стопин жив, обосновался в Кезеве под именем Степана Куца и обучает будущих диверсантов и шпионов приемам джиу-джитсу. В точности донесения центр не сомневался. Разов был любителем бокса, не пропускал до войны ни одного матча и отлично знал в лицо всех «мастеров кожаной перчатки».

Пришлось заинтересоваться родными и ближайшими друзьями Стопина. Из родственников в Ленинграде ока-

зался только отец, мать Игоря умерла перед войной. Что касается друзей, то все они были в армии. Подозрительно было то, что отец Игоря никому не сообщал, что Игорь пропал без вести, а на вопросы знакомых отвечал, что обеспокоен его молчанием.

Скоро выяснилось, что у Стопина осталась в Ленинграде жена — Варвара Климова. Они не были зарегистрированы, но жили вместе, своих отношений не скрывали, знакомые считали их мужем и женой. Однако в документах военкомата Стопин указывал: «холост».

Лозин вынул из папки лист бумаги. Половина листа была исписана чернилами, половина — карандашом. Делать записи карандашом запрещалось, но иногда в кабинете было так холодно, что чернила замерзали.

Записи были кратки, отрывисты, напоминали анкету. «Родители — кулаки, сосланы в тридцатом году в Казахстан. В Ленинграде жила у тетки с 1933 года. В 1937-м окончила 116-ю школу. В тридцать восьмом — исключена из комсомола за посещение церкви и участие в церковном обряде (венчание подруги). В 39-м познакомилась со Стопиным на танцах, вскоре сошлась с ним. В 40-м, после присоединения Западной Украины, ездила со Стопиным во Львов. Перед войной вела кружок танцев в районном Доме культуры. На вопрос анкеты, состояла ли ранее членом РКП(б) или ВЛКСМ и по какой причине выбыла, ответила: «не состояла». С отцом мужа не встречалась, отец не одобрял связь сына, считая Климову легкомысленной.

В начале войны Климова устроилась работать в радиокомитет дежурной по студии. В конце сентября уволена за потерю пропуска.

Октябрь и половину ноября проработала мойщицей посуды в столовой на улице Марата, дом № 1. Уволена за кражу ста граммов сахарного песка.

С ноября работает на хлебозаводе.

Дружит с Кормановой, работающей там же».

Лозин подчеркнул строку, где говорилось о потере служебного пропуска в радиокомитет. О попытках немцев заслать шпионов и диверсантов на радио было известно. Может быть, и Климова устроилась на радио для того, чтобы получить пропуск, на котором имеются печать, подписи, шифр? Для такого предположения достаточно оснований.

Лозин взглянул на часы: сейчас явится Ломов с дополнительными сведениями о Стопине и Климовой. Если эти сведения подтвердят предположение, что Климова знает о предательстве мужа — станет ясно, как с ней поступить.

Сообщение Ломова оказалось неожиданным: выяснилось, что Стопин, кроме Климовой, имел постоянную связь с женщиной, фамилию которой пока установить не удалось. Известно только, что зовут ее Ляля, что она красива и имеет какое-то отношение не то к эстраде, не то к цирку.

— Каким образом Климова попала на хлебозавод? — спросил Лозин.

— Несомненно, по этой записке. Вот текст: «Сергей! Это Варвара Климова. Устрой девочку! Пригодится!» А вместо подписи — закорючка.

— Кто этот Сергей?

— Дутов Сергей Петрович. Бывший начальник отдела кадров хлебозавода. Убит в декабре при артобстреле. Записка была обнаружена в его бумажнике. До войны был администратором кинотеатра.

— Надо найти автора записки.

— Занимаюсь этим. Пока выяснил, что почерк женский. И вот еще подробности. Недавно Климова была у отца Стопина и принесла ему двести граммов белой булки...

— Значит, она, гадина, продолжает воровать! Крадет булку, которую пекут только для тяжелораненых!

— А главное — она ему внушает, что Игорь жив, что она не верит извещению и что старик должен надеяться на встречу с сыном...

— Вот как?! Похоже, что она кое-что знает о своем сожителе. Не исключено, что Стопин посвятил ее в свой план — перебежать к немцам. Если так, то он обязательно попытается связаться с ней. Лучше сейчас ее не трогать.

Лозин поднялся: надо доложить начальству дополнительные сведения о Климовой...

* * *

Старший майор, тяжело ступая, ходил по большой холодной комнате, его густые черные брови резко подчеркивали мучнистую бледность лица.

Увидев Лозина, он подошел к столу, придвинул кресло и сел.

— Дожили! — сказал он осипшим, застуженным голосом.— Садитесь! Дожили, говорю! Шпионы ходят в Ленинград, как на прогулку! Шпацирен! Туда и обратно! А?

Лозин знал: это вопросительное «а» означает состояние крайнего раздражения начальника.

— Что ж вы молчите? Я спрашиваю, что вы молчите?!

— Не улавливаю существа вопроса, товарищ старший майор.

— Ваше дело не улавливать, а ловить! Известно ли вам, что недавно фашистский шпион Глухов был в Ленинграде? Вертелся у нас под носом и преспокойно вернулся на Сиверскую. Сведения точные. Получены от Ра-

зова. Знаете, как Ленин называл таких работников, как мы? Безрукими болванами! А?

Лозин молчал, но мысль его работала четко. Кто этот Глухов? Может быть, тот же Стопин? Немцы обязательно меняют имена своих агентов. Если это Стопин, тогда он, конечно, встречался с Климовой. Надо следить за каждым ее шагом... Возможно, что Стопин появится снова... Если не он сам, то кто-нибудь другой...

— Что вы намерены делать с Климовой?

— Может быть, арестовать ее? — ответил вопросом Лозин.

— Решайте сами. Отец Стопина живет в отдельной квартире?

— Нет, большая коммунальная квартира. Там поселен наш человек. Мы имеем от него постоянную информацию. В декабре к старому Стопину никто, кроме Климовой, не приходил, посторонние не ночевали.

— Климова живет тоже в коммунальной квартире?

— Квартира коммунальная, но двухкомнатная. Во второй комнате взрывной волной вырвана рама и обвалился потолок. Теперь в ней никто не живет.

— Получается, что у Климовой отдельная квартира? Чего уж лучше!

Зазвонил внутренний телефон. Не глядя, привычным жестом старший майор снял трубку:

— Слушаю... Да. От кого? Так! Расшифровали? Немедленно пришлите! Я сказал — немедленно!

Он бросил трубку на рычаг и повернулся к Лозину:

— Как прошла эвакуация мальчика?

— Женьки? Полный порядок. Летчики благополучно доставили его на Большую землю. Устроен в детский дом.

— А старик?

— Уезжать отказался. Наотрез! Помещен в стационар. Доктор надеется, что он выживет.

Вошел сержант, молча положил на стол запечатанный сургучом конверт и вышел.

Вскрыв конверт, старший майор вынул маленький листок, на котором было написано несколько строк. Он задержался на них не более двух-трех секунд, и Лозину показалось, что за эти секунды густые черные брови старшего майора стали еще чернее, так побледнело его лицо.

— Вот! Читайте! — хрипло сказал старший майор.— Он протянул листок, и Лозин прочел: «Мямин здесь. Двадцать третьего, ноль тридцать состоится диверсия на «объекте три». Кодовое название „Эрзац"».

Под «объектом три» значился один из действующих хлебозаводов Ленинграда.

12. НАКАНУНЕ

— Ноль часов тридцать минут двадцать третьего февраля,— повторял Лозин.— Значит, у нас есть еще целых десять дней... вернее, всего десять дней...

Диверсия на хлебозаводе — бедствие, результаты которого поддавались почти точному учету. Счет шел на человеческие жизни: производственная мощность «объекта три» составляла сто тысяч хлебных пайков. Значит, несколько дней его простоя обойдутся в сто тысяч жизней ленинградцев.

«Двадцать третьего... В день Красной Армии... Ноль тридцать... Немцы назначили час взрыва с точностью до минуты, — говорил себе Лозин. — Такую точность, скорее всего, может обеспечить человек, работающий на этом объекте...»

Он подошел к столу, на котором были разложены план завода, характеристика цехов, списки личного состава по сменам и цехам. Лозин уже изучил план заво-

да так, что мог по памяти начертить расположение отделений, подъездных путей, запасных выходов. И все же он снова изучал план и характеристики цехов, пытаясь определить, какой из них гитлеровцам эффективнее и легче вывести из строя. Но прежде всего надо понять, в каком цехе искать диверсанта и каков будет характер диверсии.

Лозин долго и внимательно изучал план, потом раскрыл блокнот и записал: «Объект три. Первый этаж — вода. Второй — печное отделение. Очень шумно. Третий этаж — тестомесилка. Четвертый — мочка. Пятый — лаборатория».

Поставив точку, Лозин снова обратился к плану. Какой же цех избрали немцы? Ноль часов тридцать минут... Только часовой механизм может обеспечить такую точность. Значит, расчет на мину с часовым механизмом. Мину подложит работник завода, конечно, заранее. За сколько времени? Куда?

На странице блокнота появились новые записи. Эта страничка заполнялась медленно, она пестрела подчеркнутыми строчками, вычерками, вписанными между строк словами. Поставив в конце страницы три вопросительных знака, Лозин перечел свою запись.

«Первая смена — с восьми до шестнадцати. Вторая — с шестнадцати до полуночи. Третья — с полуночи до восьми. Вопрос: в каком цехе наиболее возможна предполагаемая диверсия? Мина с часовым механизмом. Исключаются цеха и помещения, где шум незначительный: можно услышать тиканье механизма. Наиболее шумно в печном отделении. Возможно, что диверсанты решили вывести из строя именно это отделение. Проверить всех работающих там. Вопрос: в какой смене работает диверсант? Может работать в любой из трех. Но в момент взрыва, при котором неизбежно погибнут многие рабочие, диверсант не останется в отделении.

Значит, пока можно отбросить третью смену, работающую с полуночи до восьми утра. Остаются первая и вторая смены. Вряд ли диверсант работает в первой. Смена кончает работать в шестнадцать ноль-ноль, взрыв назначен на половину первого ночи. Между концом смены и взрывом пройдет восемь с половиной часов. За это время мина может быть случайно обнаружена. Таким образом, скорее всего, диверсант работает во второй смене. Незадолго до конца смены он заложит мину и скроется. Итак, в порядке предположения: 1. Мина с часовым заводом. 2. Место действия — печное отделение. 3. Диверсант работает во второй смене. Кто диверсант???»

Поставив три вопросительных знака, Лозин вынул из сейфа тоненькую синюю папку. Он волновался: в папке был ответ на важный вопрос. В каком цехе работает Варвара Климова? В какой смене будет она работать в ночь на двадцать третье?

Он раскрыл папку, нашел нужную справку и облегченно вздохнул. Варвара Климова работала в печном отделении. Двадцать второго она должна работать во вторую смену.

* * *

Утром четырнадцатого февраля на хлебозавод явилась санитарная комиссия в составе трех человек. Два из них осматривали цехи, третий проверял санитарное состояние общежития и подсобных служб. Усатый широкоплечий врач и его помощник надолго задержались в печном отделении. Здесь они интересовались не только санитарным состоянием, но и техникой, устройством механизмов. В отделении стоял такой грохот, что работницам приходилось кричать, чтобы услышать друг друга.

В то время как Лозин и Ломов осматривали печное отделение, контрразведчик Жаров, облачившись в белый халат, знакомился с санитарным состоянием заводского общежития. Жарова сопровождал прикрепленный к заводу оперуполномоченный.

В большой комнате стояли двадцать кроватей и столько же тумбочек. Кровать Климовой стояла около двери, но Жаров начал осмотр с другого конца. Осмотр тумбочек занял немного времени, некоторые из них были пусты.

— Наши работницы почти все живут дома, а здесь иногда ночуют те, кто работает во вторую смену, чтобы не идти домой ночью,— объяснил оперуполномоченный.— Чаще других остаются Климова и Корманова.

Мыльница, полотенце, нож, вилка, ложка, алюминиевая кружка — вот все, что оказалось в тумбочке Климовой, да еще два томика Маяковского, изданных в серии «Библиотека поэта». Жаров внимательно перелистал страницы первого томика, не потому, что надеялся обнаружить в нем какую-нибудь улику, а потому, что в создавшейся ситуации он обязан был это сделать. Не найдя ничего подозрительного в первом томе, он принялся листать второй, и вдруг на десятой странице заметил на одной из строчек тонкий булавочный накол. Это могло быть случайностью, но все же Жаров начал листать том заново, пристально всматриваясь в каждую строку. Оказалось, что он ничего не пропустил — первый накол был именно на десятой странице. Продолжая листать книгу, он увидел на двадцатой странице такой же накол. Жаров насторожился. А когда на тридцатой и сороковой страницах обнаружил еще два накола, он убедился, что это не случайность, и начал заново листать первую книгу. Дойдя до пятнадцатой страницы, Жаров обнаружил первый накол, следующий оказался на двадцать пятой странице.

Теперь уже была ясна закономерность: в каждом томике промежутки между наколами составляли ровно десять страниц.

Необходимо было скорее сообщить об этом Лозину. Но прежде следовало решить, что делать с книгами: забрать или оставить на месте. Забрать — значит навести Климову на мысль, что ею интересуются соответствующие органы. Этого делать нельзя.

Жаров списал год издания, выходные данные и номера страниц, где были наколы. Строчки, отмеченные наколом, он выписал отдельно.

Положив книги на место, Жаров поспешил к Лозину.

* * *

Взяв в библиотеке книги, Лозин читал и перечитывал выписанные Жаровым наколотые строчки:

Ящики груза пронесет грузовоз
Что вы мямлите, мама, мне?
в палате стоят
По этой
картошки личек
одних пылинок.

Он перечитывал эту бессмыслицу до тех пор, пока не убедился, что ему в ней не разобраться. Он не исключал того, что эти шесть строчек — код, с помощью которого вражеский агент может поддерживать связь с гитлеровцами и, следовательно, способствовать осуществлению диверсии на хлебозаводе. Необходимо было срочно разобраться в этой тарабарщине.

За последние дни Лозин вел счет времени на минуты, за его работой следили в Смольном. Каждые три часа он информировал о ходе работы начальника контрразведки Ленфронта.

Поднявшись на этаж выше, Лозин положил перед начальником шифровального отдела Сердюком томики Маяковского, листок с выписанными шестью строчками и тоном, не терпящим возражений, сказал:

— Даю вам два часа на это дело.

Сердюк, невысокий, флегматичный украинец, молча пожал плечами.

— Но два часа — это же сто двадцать минут,— несколько мягче сказал Лозин.

— А если считать на секунды,— серьезно ответил Сердюк,— получится гораздо больше — семь тысяч двести секунд.

— Товарищ Сердюк! Надо, пойми, надо! Минута промедления может обойтись Ленинграду в десятки тысяч жизней!

— В нашей работе всегда надо спешить, весь вопрос в том, как спешить? На это есть ответ: спешить надо медленно!

— Брось шаманить! — сердито бросил Лозин.— Через два часа зайду за ответом.

— Лучше через семь тысяч двести секунд,— сказал флегматично Сердюк, не отрывая глаз от листка с шестью строчками.

...Прошло два с лишним часа. Лозин нервничал. Не дождавшись звонка от Сердюка, он отправился к нему сам.

Увидев капитана, Сердюк поморщился:

— Полдела сделано, дорогой товарищ. Выяснил, что первые девяносто минут не там искал.

— Нечего сказать, обрадовал! А дальше что?

— Сейчас проверяю наиболее вероятную гипотезу. Скорее всего, перед нами зашифрованные номера телефонов. Каждая наколотая строчка — не что иное, как цифра. В первом томе наколоты строчки шестая и десятая. В переводе на цифры это означает «610». Во втором

томе наколоты строчки восьмая, первая, третья, четвертая. В этом случае получается цифра «8134».

— При чем здесь телефоны? Трехзначных и четырехзначных номеров в Ленинграде нет.

— Простейшая подстановка может превратить четырехзначное число в шестизначное. Перед нами четырехзначное число «8134». Прибавляем к каждой цифре, ну, скажем, шестерку и получается шестизначное — «147 910». Сейчас я пробую разные комбинации. Шестизначные числа получаются, но телефонов с такими индексами и номерами в Ленинграде нет...

Сердюк задумчиво смотрел на листок с двумя цифрами «610» и «8134». Вдруг он резко повернулся к Лозину и приложил палец к губам. Лозин понял состояние Сердюка, знакомое всем следственным работникам: мгновенно возникшая догадка требовала немедленного логического развития.

— Соединим обе цифры в одну,— сказал Сердюк и вывел на листке новое число — «6108134».

— Получилось семизначное,— не выдержал Лозин.

— Ну, что ж, займемся вычитанием, превратим семизначное в шестизначное.

Лозин нетерпеливо следил за рассуждениями Сердюка, ему казалось, что все эти манипуляции с цифрами — пустое дело и, скорее всего, Сердюк идет по ложному пути.

— Кажется, что-то забрезжило,— сказал Сердюк.— Надо отнимать по три...

Он снова вывел крупно семизначную цифру «6108134» и, как ученик первого класса, начал вслух производить арифметическое действие:

— Вычитаем три из шести — получаем три, из десяти три — получаем семь, из восьми три — получаем пять... три, семь, пять... Нет, три и семь не могут соседствовать. Тройка соответствует буквенному индексу

Петроградской АТС, но телефоны этой станции с семерки не начинаются...

«Ничего у него не выйдет»,— подумал Лозин и посмотрел на часы. Скоро надо идти с очередным докладом к начальству. Он перестал следить за ходом рассуждений Сердюка, мысли его были сейчас поглощены предстоящей операцией на хлебозаводе.

— Надо поменять местами эти два числа,— услышал он голос Сердюка. — Получится «8134610». Это на что-то похоже.

Занятый своими мыслями, Лозин с раздражением слушал бормотанье Сердюка.

— Еще одна неудача. Хорошо. Вычитаем из восьми три — пять, из тринадцати три — десять, из четырех три — один, из шести три — три, из десяти три — семь. Получаем «510137». О це инше дило,— сказал Сердюк с удовлетворением, и Лозин с надеждой взглянул на него. Он знал: украинские слова в речи Сердюка появляются обычно, когда дело идет на лад.

— Пять, один, ноль, один, три, семь. Переведи на телефонный язык, что получается? Пять соответствует букве «Д», то есть существующему индексу одной из ленинградских АТС, номера которой начинаются с единицы.

Сердюк старательно вывел на отдельном листке «Д1-01-37» и протянул листок Лозину.

— Из всех «телефонных» вариантов — это единственно возможный.

— Нашаманил? — спросил недоверчиво Лозин. Про себя он решил, что с расшифровкой наколов ничего не вышло. Так и придется доложить начальству.

Установить, кому принадлежал номер телефона Д1-01-37, не составило никакого труда. Через десять минут Лозин знал: телефон установлен в кабинете начальника одного из эвакогоспиталей Ленинграда. Начальник

госпиталя — участник гражданской войны, в двадцать пятом году, работая секретарем одного из райкомов комсомола, окончил вечерний рабфак. В тридцать первом году окончил Военно-медицинскую академию, перед войной работал хирургом в клинике Института усовершенствования врачей. В партии с 1924 года.

Сведения о начальнике исключали даже малейшую возможность заподозрить его в связи с врагом.

Лозин смотрел на листок с номером телефона и что-то неуловимо знакомое почудилось ему в этих цифрах. Он повторял про себя всевозможные сочетания из этих пяти цифр.

— Пять один ноль один тридцать семь... Пятьдесят один, ноль один тридцать семь... Пятьсот десять один тридцать семь... тридцать семь...— Лозин вспомнил газету «На страже Родины». Он так и не смог добиться от Куликова, что означала дата на полях газеты. Странная дата: почему в конце сорок первого года кто-то записывает дату тридцать седьмого?.. А теперь вот номер телефона, который оканчивается на ту же цифру — тридцать семь... Случайное совпадение?

Лозин вынул из сейфа папку, на которой было написано: «Дело № 62105. В одном томе. По обвинению Куликова Василия Карповича». В конце дела лежала газета «На страже Родины». На ее третьей странице чернела карандашная запись: «5/XI-37»...

— Пять одиннадцать тридцать семь... одиннадцать тридцать семь...— Теперь Лозин «обговаривал» эту нераскрытую дату, так же как минуту назад «обговаривал» полученный Сердюком номер телефона. Пятьсот одиннадцать, тридцать семь...— Он вспомнил слова Сердюка: «Пять соответствует буквенному индексу АТС. Значит, эту дату можно записать иначе: Д-XI-37? Черт возьми! Все-таки есть какая-то связь между датой и номером телефона... Но пятизначных телефонов в Ленин-

граде нет... Он смотрел на две записи: «Д1-01-37» и «Д-XI-37». Как они схожи! Красным карандашом он перечеркнул вторую запись, написал ее по-другому: «Д-11-37». Совпадение усилилось. Неужели случайность? Для полного совпадения не достает только ноля и этот ноль надо найти во что бы то ни стало! Он снова взглянул на газету: «5/XI-37». И вдруг пришло мгновенное озарение, не догадка, а именно озарение. Он словно увидел, как римская цифра XI распалась на две: «X» и «I». Торопливо, боясь что-то упустить, он написал: «5.X.I-37=5. 10. 1-37 = Д10-1-37 = Д1-01-37».

Все! Цепь замкнулась! Дата на газете и отметки в двухтомнике стихов Маяковского означали одно и то же: номер телефона начальника Ленинградского эвакогоспиталя.

13. ОБЪЕКТ № 3

Пятнадцатого февраля во всех цехах хлебозавода появились новые работницы. Отличить новеньких было нетрудно — землистый цвет лица, запухшие глаза, тонкие, прямые, как палки, ноги. В цехах хлебозавода привыкли видеть такое пополнение. Все знали: к хлебопроизводству эти люди не имеют никакого отношения, но, проработав здесь три-четыре недели, они выйдут из состояния дистрофии и вернутся к своей основной работе.

Появилась новая работница и в печном отделении.

— Меня зовут Ирина, фамилия — Малова,— сказала она, знакомясь с Климовой и Кормановой.

— Тебя куда поставили? — спросила Климова.

— Газовщицей — следить за горелками.

— Там и без тебя хватает работниц. Пока что грейся и отъедайся. Хлеба у нас можно есть досыта...

— Да, мне говорили...

Но прошел целый час, а Малова к хлебу не прикоснулась.

— Ты что это? — подозрительно глядя на нее, спросила Климова.— Может, ждешь бубликов? Зря! Бублики немцы кушают, а мы — мякину!

Малова жадно смотрела на ленту конвейера, по которому медленно плыли глинистые буханки хлеба.

— Ой, как есть хочется! Сырое тесто — и то съела бы!

— Ешь хлеб, кто тебе не дает?

— Но вы же не едите во время работы.

— На нас не равняйся,— вмешалась в разговор Корманова,— мы постоянные, уже насытились...

Климова вспомнила:

— Я в первый день так набросилась, что к вечеру юбка не сходилась!

Новенькая оказалась на редкость старательной и толковой. Слабая от недоедания, она все делала медленно, но к концу смены усвоила весь производственный цикл печного отделения, назначение и характер работы каждой машины.

— А ты смышленая,— заметила Климова.— До войны где работала?

— На Кировском, в конструкторском бюро...

— Чего ж ты не эвакуировалась? — спросила Корманова.

— У каждого свои причины, вот вы ведь тоже не уехали.

— Сдуру осталась,— сказала зло Климова.— В Ташкенте сейчас всякая шпана шашлыки да плов ест, а мы хлеб из бумаги жуем.

— Да, конечно... А я у вас в общежитии буду жить,— сообщила вдруг Малова.

— Живи, если негде. Разбомбили, что ли?

— Ага. Стена обвалилась, окна выбило...

— Занимай мою койку, я к подруге переезжаю. Тут поблизости,— сказала Корманова.

— Когда? — удивилась Климова.— Ты что же мне ничего не говорила?

— Сегодня после смены переберусь. Ну, хватит болтать, следите за печью.

Выстоять первые восемь часов Маловой было нелегко. Непривычное тепло клонило ко сну, но она нашла способ бороться с усталостью. Малова нарезала тоненькими ломтиками кусок хлеба и, когда ей казалось, что она от усталости не может стоять на ногах,— съедала очередной кусочек.

Смена кончила работу в полночь.

— Ну, я пошла,— сказала Корманова, пряча под ватник полбуханки хлеба.— До завтра!

— А меня предупреждали: на заводе хлеб ешь, сколько хочешь, а выносить не разрешается, а то — под суд! — сказала Малова.

— Дурочка ты еще! — усмехнулась Корманова.— Мало ли чего не разрешается.

— Не будь дурой, занимайся физкультурой,— пробормотала Климова и тоже сунула под ватник большой кусок хлеба.

Они втроем спустились в общежитие, и Корманова, забрав из тумбочки свои вещи, ушла. Ее кровать стояла рядом с кроватью Климовой.

Укладываясь спать, Малова положила на тумбочку ломтик хлеба.

— Вдруг проснусь от голода,— пояснила она смущенно.— Весь день ела, а не наелась. Даже страшно: вдруг так никогда и не наемся, всю жизнь буду голодная?!

— И я поначалу так думала,— отозвалась Климо-

ва.— А теперь больше килограмма не съедаю, а вот по мясу соскучилась. Мяса я бы тоже килограмм зараз умяла.— Она сняла ватник и сунула под голову.— Раздеваться не буду, ночи не проходит без воздушной тревоги.

— А я разденусь,— сказала Маловà.— Уж и не помню, когда спала раздетая, в комнате такой холод, что в перчатках спала.

— Ты замужняя?

— Нет, не успела. А вы?

— Замужняя.

— Муж на фронте?

— Где же еще? Таким не воевать — кому и воевать?!

— Он у вас кто?

— Лейтенант. До войны боксом занимался. Чемпионом был! Тебе бокс нравится?

— Не знаю, бокс я только в кино видела.

— Это знаешь какой спорт? Для настоящих мужчин! Отвага! Сила! Воля к победе! Я, как увидела Игоря на ринге,— сразу голову потеряла, дня без него прожить не могла... А теперь вот пришлось — пропал он без вести. Да я не верю в плохое! Не верю — и все! Жив он! А не пишет — значит, партизанит. Есть у меня такие сведения...

— На войне всякое может быть,— заметила Малова.— А мне сказали, что в этой комнате все незамужние живут...

— Я тоже числюсь незамужней. В паспорте у меня штампа нет. А Игорь, когда уходил в армию, приказал: «Не пиши, что замужняя, а то у отца денежный аттестат отберут, на тебя перепишут». Вот и хожу в девицах...

— Повезло вам, что попали на хлебозавод. Как это вам удалось?

Климова ответила не сразу,— казалось, что вопрос смутил ее.

— Через одного человека,— ответила Климова и протяжно зевнула.— Спи! Знаешь, за что бог Еву из рая выгнал? За любопытство...

14. СНОВА КУЛИКОВ

Вторичная проверка подтвердила: Д1-01-37 — телефон начальника эвакогоспиталя. Возник вопрос: почему этот номер зашифрован и у шпиона Куликова и у Климовой?

Лозин перелистал дело Куликова. Оно было подготовлено для передачи следователю. Сняв трубку, Лозин приказал привести к нему арестованного.

Когда ввели Куликова, Лозин сказал:

— Скоро вы предстанете перед военным трибуналом.

— Расстреляют? — безразлично спросил арестованный.

Лозин знал это состояние апатии, вызванное у преступников мертвящим страхом перед близкой расплатой.

— Это решит трибунал. Но одно мне известно точно...— Он умолк, раскрыл папку с делом Куликова и вынул из нее газету «На страже Родины».— Одно мне известно точно,— повторил он,— вы не были правдивы и откровенны до конца. Это обстоятельство всегда учитывается трибуналом. Вы меня поняли?

— Я все сказал... признался во всем... полностью... откровенно...— выдавил Куликов и тут же, не выдержав, метнул испуганный взгляд на помятый газетный лист, где отчетливо виднелась запись: «5/XI-37».

— Ну как же все? — укоризненно сказал Лозин.— Совсем не все. Кое-что мы узнали не от вас, признались не вы, а другие.

— Я все сказал,— тупо повторил Куликов.

— Нет, не все. Вы что — не успели позвонить по телефону?

— По какому телефону?

— Не притворяйтесь, Куликов. Вы знаете, по какому. Впрочем, у вас плохая память: не смогли запомнить номер телефона.

— Какого телефона? — Куликов был не в силах отвести взгляд от газеты.

— Виляете, Куликов, виляете. Глупо и бесполезно. Чей это телефон?

Куликов сделал последнюю попытку уйти от ответа:

— Это же не телефон... Это же дата какая-то...

— Это номер телефона, а не дата, и вы это отлично знаете. Но у вас никудышная память, поэтому я напомню вам номер этого телефона: Д1-01-37. Ну? Вспомнили?

Куликов сник, губы его задрожали. Не давая ему опомниться, Лозин заговорил резко, отрывисто:

— У вас остался единственный правильный путь — говорите правду! Бойтесь упустить этот шанс! Иначе... Вы поняли, о чем я говорю?

— Понял...

— Кто этот человек, которому вы должны были позвонить?

— Мне неизвестно... У меня был только номер телефона...

— Кого вы должны были спросить?

— Я должен был говорить только с женщиной... На мужские голоса не отвечать... Я звонил два раза... мне отвечал мужчина... Больше я не успел... меня арестовали...

— Все понятно,— сказал Лозин, хотя он еще многого не понимал.— Женский голос вам уже не мог ответить. Вы догадываетесь, где он находится в настоящее время, этот женский голос?

Куликов молча кивнул головой.

Казалось, Лозин вел дознание, руководствуясь интуицией, в действительности же многолетний опыт помогал ему мгновенно улавливать состояние преступника. Лозин понимал, что телефонный разговор нужен был Куликову, чтобы договориться о встрече с неизвестным ему «женским голосом», и, конечно, при этой встрече Куликов должен был получить от резидента какие-то сведения. Для этого немцы и забросили его в Ленинград.

— Значит, вам ничего не удалось получить от этой особы? — многозначительно спросил Лозин, делая ударение на слове «ничего».

— Не удалось...

— А если бы удалось, какие последствия это могло иметь? — Лозин понимал, что малейшая неточность вопроса могла поколебать уверенность Куликова в том, что ему уже известно главное.— Как вы думали выполнить свое основное задание, о котором вы до сих пор умалчиваете?

— Должен был оставить ее в цехе Кировского завода... незаметно... А последствия? Конечно, цех вышел бы из строя... рабочие могли пострадать...

«Оставить ее... цех вышел бы из строя...» «рабочие могли пострадать...» — Лозин облегченно вздохнул. Наконец-то! Остается получить официальное признание Куликова, в котором все будет названо своими словами.

— Значит, вы должны были получить от немецкого резидента мину и подложить ее в ремонтно-тракторном цехе Кировского завода?

— Да... Но я не хотел этого делать... Я думал, получу мину и приду с повинной...

Лозин усмехнулся: такие уверения он не раз слышал от загнанных в угол преступников, цену им он знал.

— Вам известна система мины, которую вы должны были получить?

— «Прилипала» с часовым механизмом.

— Немцы сообщили вам фамилию, имя, отчество этой женщины?

— Нет...

— Как вы должны были обратиться к ней по телефону?

— Услыхав женский голос, я должен был сначала закашляться, а потом сказать: «Говорит лейтенант Щеглов».

— А дальше?

— Она должна была сказать: позвоните тогда-то, в такое-то время. Это означало, что в указанный день и час меня будут ждать у булочной на Невском, напротив улицы Маяковского, там мне передадут мину.

— Кто?

— Не знаю.

— Значит, неизвестный должен был знать вас в лицо?

— Мне приказали держать в зубах пустой мундштук зеленого цвета. По этому признаку он бы меня опознал...

— Хорошо... На сегодня достаточно.

Теперь многое становилось на свое место: исчезновение Куликова немцев не встревожило. Если резидент в эвакогоспитале на свободе и продолжает работать, значит, Куликов не выдал его, дата на газете не привлекла внимания советских контрразведчиков. Не удалась диверсия на Кировском заводе — удастся на хлебозаводе.

Едва увели Куликова, как в кабинет вошел озабоченный Ломов. Он приехал из госпиталя.

— Ну? — нетерпеливо спросил Лозин.— Докладывайте быстрее! Остаются уже не часы — минуты!

— Телефон у начальника эвакогоспиталя переводной. Звонок к секретарю. Попасть к начальнику можно только через секретаря.

— И этот секретарь — женщина! — воскликнул Лозин.

— У этой женщины усы не меньше ваших.

— Значит, около телефона сидит машинистка.

— Кроме секретаря в комнате никого нет.

— Фамилия секретаря?

— Виноградов Иван Петрович.

— Давно он работает секретарем?

Ломов замялся:

— Это я... не выяснил.

— Да ты что? — возмутился Лозин.— Это же элементарно!

Он заглянул в блокнот, крутанул диск телефона и соединился с отделом кадров эвакогоспиталя.

То, что Лозин узнал, заставило его немедленно отправиться в госпиталь. Оказалось, что секретарша начальника госпиталя три дня назад была направлена на операцию в больницу.

Комиссар госпиталя, пожилой человек с недоуменно встревоженным лицом, встретил Лозина в проходной и повел в кабинет начальника. В маленькой приемной стоял только один стол, за которым сидел усатый военный в ватнике, вставший по стойке «смирно» при появлении комиссара и незнакомого капитана.

Начальник госпиталя, военврач 1-го ранга, был встревожен визитом Лозина не менее комиссара.

— В какой больнице находится Шилова? — спросил Лозин.

— Вот направление,— начальник протянул Лозину, очевидно, заранее приготовленную копию.

Лозин прочел:

«Председателю
Куйбышевского райсовета.

Эвакогоспиталь № 1171 просит Вашего
содействия в отиошении помещеиия
в больиицу иашей сотрудиицы
гр. Шиловой К. П.
по поводу операции горла.

Зав. делопроизводством
техиик-лейтеиант II раига *И. Виноградов*».

— Зиачит, Шилова находится сейчас в Куйбышевской больнице?

— Да. Оиа звоиила двадцатого и сообщила, что операция иазиачена иа двадцать четвертое, то есть иа послезавтра.

— Кто-иибудь из работииков госпиталя иавещал ее за эти дии?

Комиссар виновато развел руками:

— Знаете, у всех столько дел... Да и она сама просила ие беспокоиться...

— Я пройду сейчас в отдел кадров, а вас прошу иемедлеино связаться с Куйбышевской больницей и узнать, как себя чувствует ваша сотрудиица.

В отделе кадров Лозии взял личиое дело Шиловой и вериулся в кабииет иачальиика.

— Ее нет в больнице. — Испуг и удивлеиие застыли на одутловатом лице иачальиика...— Оиа к иим ие поступала.

— Я могу вам сказать больше: Шилова и ие думала обращаться в Куйбышевский райсовет.

— Точио... Мы проверили,— пробормотал комиссар.— Куда же оиа делась? Что все это зиачит?

Не отвечая, Лозин соединился по телефоиу с Ломовым и приказал ему иемедлеиио разыскать Шилову.

— Начинайте поиски с ее домашнего адреса: Невский семьдесят один, квартира восемь...

Из госпиталя Лозин поспешил к начальнику контрразведки Ленфронта.

— Я убежден,— докладывал Лозин,— что Шилова — немецкий резидент. Именно от нее должен был получить мину Куликов, от нее же получит мину Климова, если только она уже ее не получила. Неослабное наблюдение за Климовой приведет нас к Шиловой.

— Вы уверены, что диверсию должна осуществить Климова?

— За это говорит многое. Правда, насколько нам известно, мины на заводе еще нет, во всяком случае ее нет в печном отделении.

— Откуда такая уверенность?

— Сержант Малова следит за нею, не спуская глаз. Климова со вчерашнего дня не отлучалась с завода.

— Если мины нет у Климовой, значит, она у Шиловой. Шилову надо брать немедленно. У вас есть другой план?

Ответ Лозина прервал телефонный звонок. Старший майор взял трубку:

— Да? У меня. Передаю.— Он протянул трубку Лозину.— Это Ломов.

Донесение Ломова было кратким: Шилова не проживает в своей комнате с начала декабря. Найти ее пока не удалось.

15. РЕШАЮЩИЙ ДЕНЬ

Очередная встреча Лозина с Маловой состоялась в парткоме хлебозавода. Ничего нового Малова сообщить не могла.

— Вчера Климова ненадолго отлучалась с завода.

Ушла в двенадцать десять, пришла в четырнадцать тридцать.

— Вам известно, где она была?

— Только с ее слов. Сказала, что идет к старику Стопину узнать, нет ли новостей об Игоре.

— Предусмотрительная особа. Сказала заранее, чтобы избавиться от ваших вопросов...

— Она сказала неправду?

— Думаю, что это полуправда. А полуправда — лучшее прикрытие лжи. Она действительно ходила к Стопину, а что касается цели визита, то... Полагаю, что сведения о муже она получает из более верного источника, а старик мог ее интересовать и по другой причине. Вы уверены, что и на этот раз ей не удалось пронести на завод мину? Напоминаю: мина может быть совсем небольшая, плоская, размером с десертную тарелку. Такую штуку можно незаметно пронести под одеждой...

— Товарищ капитан, все ваши указания были выполнены полностью. Я встретила Климову около общежития и сообщила ей о новом приказе директора: пропускать в цех только имеющих справки о посещении душа. До нашей смены оставалось чуть больше часа. Климова начала ругаться, кричать, почему не предупредили заранее, что теперь она не успеет поесть перед работой и так далее. Я сказала: «Ничего не случится, если не выйдешь сегодня на работу, обойдемся и без тебя».

— Так, так, интересно, что она сказала на это?

— Стала на меня кричать, чтобы я не совалась не в свое дело. Такой злой я еще ее не видела. Я ей говорю: «Через полчаса душ закроют, идем скорее». И сразу же, не заходя в общежитие, мы пошли в заводскую душевую. Пока мы там мылись, вещи ее были проверены. Ничего не обнаружено.

— Это мне известно. Но я не знал, что она до душевой не успела побывать в общежитии. Не спускайте с нее глаз! Сегодня мина должна оказаться на заводе. Вы помните, какое сегодня число?

— Двадцать второе. День, назначенный для диверсии.

— Точнее — ночь. Для диверсии намечен не день, а ночь. С кем Климова дружит на заводе?

— По-моему, ни с кем. Говорят, дружила раньше с Кормановой.

— Почему Корманова вдруг ушла из общежития?

— Климова мне говорила, что ей удалось приобрести времянку и достать дрова. За хлеб, конечно.

— Добавьте — за краденый. Итак, вы должны превратиться в тень Климовой. Каждая минута ее жизни на заводе должна быть вам известна. Наружное наблюдение проводится по-прежнему без вашего участия. Руководство завода получило от нас нужные указания.

— Они знают о Климовой?

— Что именно?

— Что она готовит диверсию.

— Товарищ сержант, этого не знаем и мы.— Заметив удивленный взгляд Маловой, Лозин добавил: — Знать и предполагать — не одно и то же. И, боже вас сохрани, отожествлять в нашей работе эти два понятия!

* * *

В печном отделении, как всегда, было жарко. Едкий керосиновый чад застойно висел в воздухе. Несколько работниц ожесточенно выбивали из металлических форм буханки тяжелого хлеба. Непрерывный грохот заглушал ритмичные удары радиометронома.

Корманова и Климова работали в паре. Стоя у боль-

шой чаши с соляркой, Корманова старательно протирала тряпкой черные хлебопекарные формы и подталкивала их к Климовой. Заученным движением, не глядя, Климова загружала смазанные формы разделанными кусками темного теста.

Разговаривать в таком шуме было трудно, но почему-то сегодня Корманова была разговорчива, как никогда.

— В этом джазе и сирены не услышишь! — прокричала она Климовой.

— А зачем тебе ее слышать? Мы же все равно не можем бросать работу по тревоге.

— На других заводах чуть тревога — рабочие в бомбоубежище, а мы? — Корманова вытерла рукавом белой рубахи потный лоб. — Знаешь, кто мы? Гимнасты без лонжи под куполом цирка. Смертники мы, вот кто!

— А что будешь делать? Такой завод стоять не может, а бомбят день и ночь... То бомбы, то снаряды...

Но именно в этот вечер фашистская артиллерия потревожила район только один раз. В девять вечера где-то рядом грохнул снаряд, и завод вздрогнул от фундамента до крыши. Но взрыва не последовало.

— Совсем близко,— сказала Малова.— Хорошо, что не взорвался.

— Рано или поздно, а наш завод фриц нащупает,— сказала Корманова.

— Точно,— подхватила Климова.— И тогда блокадникам труба! Тысяч сто за одну неделю! — Климова сжала кулак и выразительно ткнула оттопыренным большим пальцем в сторону пола. — Все там будем!

— А первые мы,— сказала Корманова.— Мы ведь вроде на цепи, в бомбоубежище хода нам нет...

— Может, и пронесет. Главное — не падать духом.

— Глупости болтаешь, Малова.— Корманова остервенело терла жестяную форму.— «Не падать духом!» — хмыкнула она.— Нет, курочка, главное на войне не это.

— А что же?

— Главное на войне — живым остаться! Выжить! Поняла?

— Победа без жертв невозможна... Разве вы этого не понимаете?

— Ну вот! Еще ты будешь нас воспитывать! — Климова от возмущения выронила из рук форму, и та с грохотом упала на цементный пол.— Всю жизнь меня все учат! Родители, тетка, учителя, комсомол — все меня учили, все попрекали: «Того не понимаешь, этого не понимаешь, делай не так, а этак, туда ходи, сюда не ходи!» Один только Игорь никогда меня не ругал, не воспитывал...

— Ну, ладно,— перебила Корманова.— Хватит спорить! Вон Морозов к нам топает, работать надо.

Начальник смены Морозов, заправив в карман пустой рукав белого халата, неторопливо шел вдоль печи, по-хозяйски замечая все неполадки. Молоденькая работница, должно быть вчерашняя школьница, жевала хлеб, присматривая за печными термометрами. Морозов, конечно, знал, что работницы едят хлеб досыта, но официального разрешения на это никто им не давал, и работницы старались в таких случаях не попадаться начальству на глаза.

Увидев девчонку с хлебом в руке, Морозов остановился и покачал головой:

— Знаешь заповедь: на чужой каравай рта не разевай?

— У нас в школе заповеди не проходили! — бойко ответила работница.

— Что же мне, приставлять к тебе специального охранника?

— Приставляйте: вдвоем жевать веселее!

— Побереги язык для подошвы! — сердито сказал Морозов и подошел к Кормановой.— Шумновато тут у вас,— заметил он и вдруг уставился на Малову: — Ты чего здесь торчишь? Тары-бары? А за горелками Гитлер смотреть будет?

Виновато улыбнувшись, Малова пошла к печи.

— Где бригадир смены? — спросил Морозов.

— Вызвали в штаб МПВО.

— Сообщите смене: ровно в двадцать два часа тридцать минут тестомесилка остановится минут на тридцать.

— Значит, и нам нечего будет делать? — спросила Климова.

— Значит, стоять и вам,— подтвердил Морозов.— Так вот, с половины одиннадцатого до одиннадцати вечера вашей смене будут выдавать без карточек по полкило казеиновой массы... удалось раздобыть...

— Это что такое? — спросила Климова.— Никогда не едала.

— Это — вроде сыра,— пояснил Морозов.— Врачи говорят, что есть можно, вреда не будет.

— Никогда не слыхала,— удивилась Корманова.— Казеин, говорите?

— Казеин. Употребляется в мыловаренной промышленности. Завод мыловаренный теперь не работает, нам и перепало. Значит, запомните: в половине одиннадцатого ваша смена получает в завкоме казеиновый сыр. Опоздаете — не получите! А новенькая эта — Малова — в список на выдачу не попала. Пусть остается дежурной. Мало ли что! — Поправив выбившийся из кармана халата пустой рукав, Морозов направился к выходу.

— Эксцентрик! — громко сказала, глядя ему вслед, Корманова.

* * *

Малова прошла вдоль печи, проверила факелы горелок и вышла из отделения. В комнате с табличкой на двери «Посторонним вход строго воспрещен» ее ждал Лозин.

— Здравия желаю, товарищ капитан! — Малова приложила ладонь к белой пекарской шапочке.— Разрешите доложить?

— Здесь можете не козырять. Докладывайте, что нового.

— Ничего важного. Двухтомника Маяковского в тумбочке Климовой все еще нет. Завела с ней разговор о поэзии, она заявила, что стихов не любит. Про Маяковского сказала, что у него красивые глаза на фотографии, а что стихи его не любит, потому что «трудно елозить по строчкам». Так и сказала — «елозить».

— Как она себя ведет сегодня? Заметно, что нервничает?

— Сегодня она какая-то злобная.

— В чем это проявилось?

— Во время артобстрела говорила без всякого сожаления, что, если немцы попадут в хлебозавод, «блокадникам будет труба», за неделю погибнут тысяч сто.

— Вам не кажется, что она глупа?

— Если не считать сегодняшнего разговора, она совсем не глупа и уж, во всяком случае, менее цинична, чем ее подруга — Корманова.

— А что представляет собою Корманова?

— Беспредельно цинична. Для нее сейчас важно только одно — остаться живой и невредимой, а там пусть хоть всех перебьют! Ни о ком доброго слова не скажет. Даже о товарище Морозове: человек потерял на

фронте руку, работает из последних сил, а она его ни с того ни с сего назвала эксцентриком.

Лозин внимательно посмотрел на Малову:

— Эксцентриком? Вы не ошиблись?

— Точно, товарищ капитан. И вообще она труслива, твердит, что «все мы здесь, как гимнасты без лонжи под куполом цирка».

— Интересно... Очень интересно...— Лозин взглянул на часы.— Возвращайтесь на свое место. Длительное отсутствие может вызвать у Климовой да и у бригадира ненужные вопросы.

Оставшись один, Лозин задумчиво повторил:

— «Эксцентрик... без лонжи под куполом цирка»...— И снял трубку местного телефона: — Дайте партком. Спасибо. Партком? Ломов? Жду вас всех. Да, сейчас же.— Он положил трубку и снял с вешалки белый халат.

В комнату вошел Ломов, его сопровождали четверо молодых людей в белых халатах, в руках они несли чемоданчики, в каких обычно механики хлебозавода держат свои инструменты.

— Товарищи саперы,— обратился к ним Лозин,— сейчас — двадцать два часа двадцать минут. Через двенадцать минут направляемся в печное отделение. Хорошо ли вы изучили особенности отделения, его наиболее уязвимые места? С кем консультировались?

— Разрешите? — шагнул вперед смуглый скуластый паренек.

— Капитан Гайсаров,— представил его Ломов.

— На протяжении трех дней под видом механиков мы изучили цех досконально,— сказал Гайсаров.— Консультантом был инженер, проектировавший печи завода.

— Надеюсь, работники второй смены вас не видели?

— За этим я следил,— доложил Ломов.

В двадцать два часа тридцать две минуты Лозин, Ломов и саперы вошли в печное отделение. Кроме Маловой, там никого не было.

— В нашем распоряжении около получаса,— напомнил Лозин.

— Найдем,— уверенно сказал Гайсаров.— А вам на всякий случай... лучше уйти, в этом деле вы нам не помощник.

— Приступайте! — повелительно сказал Лозин.— Вместе пришли, вместе уйдем...

* * *

Мина лежала под блоком главного приводного вала со стороны привода печи. Это было самое уязвимое место: разрушение вала влекло за собой бездействие печи на много дней.

Гайсаров вынул из углубления мину и осторожно приложил к ней ухо.

— Тикает! Сейчас мы усмирим эту ведьму! — сказал он с какой-то мальчишеской лихостью. И тут же сурово добавил: — Всем отойти, укрыться за печами. Быстро!

* * *

Вернувшись с пакетами казеина, работницы увидели в отделении Морозова и двух незнакомых мужчин.

— Кто это к нам на ночь глядя? — проворчала Климова.

— Главное — мужики не старые,— удивилась Корманова.— Один усатый, другой конопатый.

Морозов подозвал работниц.

— Вот к нам товарищи из радио пришли. Хотят, значит, рассказать ленинградцам, как трудятся пекаря в нашем городе. Я, конечно, сообщил, так сказать,

основные показатели и примеры героического труда. Теперь они хотят посмотреть, так сказать, своими глазами. Оставляю товарищей на ваше попечение, может, у них какие вопросы появятся, так уж, сами знаете, что отвечать... Вот так, значит...— И, проверив на ходу, хорошо ли заправлен пустой рукав, Морозов вышел из отделения.

Журналисты сразу же приступили к вопросам:

— Ну как вы здесь, сыты?

— Сыты не сыты, а не голодаем,— отозвалась Климова.— Пекарь не токарь — без хлеба не живет.

— Вы что же, всегда на работе в белом?

— А как же? Вот и вас нарядили...

— Давайте знакомиться. Извините, как вас зовут?

— Меня — Ольга, а ее Варвара,— сказала Корманова.

— Очень приятно. Вы и до войны здесь работали?

— Нет, до войны я в Острове жила, работала в пекарне, — сказала Корманова, — а Варя — работник искусства — танцы преподавала.

— Ваша подруга какая-то неразговорчивая, — заметил веснушчатый журналист. — И лицо у нее сердитое...

— Будешь сердитой! — огрызнулась Климова, колотя по форме.— Все кулаки за смену отобьешь!

— Смотрите, Морозов явился, опять рукой машет! — сказала Корманова.— Чего ему надо, и смене-то уже конец.

— Начальник зовет — надо подчиняться,— сказал веснушчатый журналист.

— Слушайте сообщение,— начал Морозов, когда к нему подошли все работницы.— В последний артналет немец метил в наш объект. Снаряд ушел в землю у проходной. К счастью, он не разорвался. Так вот, теперь это место оцеплено, в ближайший час-полтора никто по-

пасть на завод не может, значит, так сказать, и сменить вас некому. И вам с завода, понятно, не уйти. Но, конечно, меры приняты, смена вам через час-полтора будет. А пока, товарищи женщины, придется вам поработать сверхурочно. Сами понимаете...

— Нам не привыкать, мы двужильные,— сказала раздраженно Климова.— Правда, Ольга?

Бледные губы Кормановой дрогнули.

— Ты, может, и двужильная, а у меня температура, голова прямо разламывается. Пойду в медпункт.

Она пошла к выходу, Лозин взглянул на Ломова, и тот вышел за ней.

Она остановилась у лестницы, как бы раздумывая, что делать дальше, потом поднялась на второй этаж. Здесь, у дверей медпункта, ее догнал Ломов.

— Решил пойти с вами,— объяснил он.— Расскажем радиослушателям, как работает заводской медпункт в условиях военного времени.

Дремавшая на диване медсестра лениво поднялась. Из-под ее сбившейся белой шапочки курчавились черные с проседью волосы.

— Что вас беспокоит, товарищи? — спросила она низким прокуренным голосом.

— Меня беспокоит состояние здоровья этой симпатичной гражданочки. И заодно разрешите взглянуть на работу медпункта: я из радиокомитета...

— Пожалуйста, пожалуйста! — Сонное состояние сестры мгновенно исчезло.— Что же беспокоит симпатичную гражданку?

— Голова разламывается... сердцебиение... кажется, температура,— сказала прерывающимся голосом Корманова.

— Садитесь, пожалуйста. Вот порошочек, примите, запейте водичкой, вода кипяченая, пожалуйста,— басила сестра, искоса наблюдая за Ломовым.— Сейчас тем-

пературку измерим. Термометр поставим. Отлично! Дайте ручку, проверим пульс...

Медсестра считала пульс, глядя на минутную стрелку будильника.

— Вы пульс считаете по будильнику? — удивился Ломов.

— А что делать? Часы я сменяла на кило картошки и две большие брюквы. Какие были часы! «Заря»! Ах, вы меня отвлекли разговорами, но я уже вижу — пульс почти в порядке — восемьдесят шесть...

— Главное, чтоб температура была нормальная,— заметил Ломов.

— Пожалуйста, сейчас выясним температуру. Попрошу вынуть градусник. Ну вот видите, температура нормальная, дай бог каждому — тридцать шесть и восемь. А голова у вас пройдет от порошочка, можете мне поверить.

— Вы что же, не дадите мне направление в поликлинику? — негодующе спросила Корманова.

— Что значит не дадите? А где это видано, чтобы здоровых направлять в поликлинику? Такого и в мирное время не было!

— А я вам говорю, что я больна! Больше работать сегодня не могу и не буду! Пусть хоть увольняют! Не буду — и все!

Хлопнув дверью, она выскочила в коридор, но, услышав за собой шаги Ломова, остановилась.

— Ну что, познакомились с работой медпункта, товарищ корреспондент? — спросила она вызывающе.

— Ознакомился — писать не о чем. Но я хочу дать вам не медицинский, а дружеский совет — не делайте глупостей, идите работать: час-полтора пройдут незаметно...

— Пусть хоть расстреляют, а я уйду!

— Куда же вы уйдете, если приказано никого не выпускать с заводской территории?

— В общежитие пойду. Для этого не надо покидать территории. Оно — тут же, поблизости от нашего цеха. Сейчас переоденусь и пойду!

Она быстро спустилась в первый этаж, но дверь в санпропускник оказалась запертой. На двери висело наспех написанное объявление: «Закрыто до 24 час. 40 м.».

— Вот видите,— сказал Ломов,— не судьба вам уйти. Ваша домашняя одежда закрыта.

— Все равно уйду! — упрямо сказала Корманова. — В раздевалке надену шубу прямо на спецовку и уйду.

Но и там ее ждала неудача. На двери раздевалки тоже висело объявление: «Буду в 24 ч. 40 м.».

— Куда они все провалились, сволочи?! — Корманова нервно теребила пуговицы на воротнике белой рубахи.

— Придется вам дождаться смены,— сказал Ломов.— Уже двенадцать часов. И ждать-то всего ничего... Все равно у входа в корпус дежурит пост охраны, никто вас не выпустит в спецодежде даже во двор. Тем более что на улице опять сатанинский мороз — двадцать девять градусов. Делать нечего — придется вернуться в цех.

— Хорошо! — отрывисто бросила Корманова.— Пошли!

В печном отделении по-прежнему было шумно. Лозин с Климовой стояли у главного приводного вала и о чем-то беседовали.

— Ну как? Что сказала медицина? — справился Лозин.

— Нервное переутомление,— ответил за Корманову Ломов.

— Отойдите-ка от вала,— сказала Корманова.— Грязи на опорах — смотреть тошно...

Лозин и Климова отошли в сторону. Ломов подошел к Маловой и что-то сказал ей.

Вооружившись скребком, Корманова принялась старательно зачищать приводной вал от нагара.

— Может быть, вам помочь? — спросила, подойдя к ней, Малова.

— Стой на своем месте! Помощница нашлась! Следи за своими фитилями.

— Смотрите, как старается,— сказал Лозин Климовой.— Часто вам приходится делать такую зачистку?

— Никогда не протирали, чего она надумала? Нашла время чистоту наводить...

Резкий крик Кормановой оборвал их разговор.

— Скорее сюда! Скорее! Здесь что-то есть! Вот здесь! Смотрите! — Корманова показывала пальцем в углубление главного приводного вала.

Первыми к приводному валу подбежали Лозин и Климова.

— Там что-то лежит! Тикает, как часы! — твердила Корманова.

— Ты что, спятила?! — рассердилась Климова.— Что там может тикать? В голове у тебя тикает!

— Выньте, чего бояться? — сказал спокойно Лозин.

— Это мина! — продолжала кричать Корманова так, что голос ее заглушал шум машин.— Это мина! Сейчас взорвется! Спасайтесь!

— Она спятила, — испуганно сказала Климова. — Ей-богу спятила! Куда ты?! Ольга!

Но Корманова уже ничего не слышала. С перекошенным от ужаса лицом она выскочила в коридор и бросилась бежать к выходу.

Лозин взглянул на часы: было ноль-ноль часов двадцать пять минут.

16. ДОПРОС КОРМАНОВОЙ

После ареста Кормановой Лозин предполагал, что главное сделано: диверсия сорвана, диверсант арестован, остается узнать, от кого Корманова получила задание и кто передал ей мину.

При обыске у Кормановой был найден зашитый в ватник пропуск в Ольгино. Выданный двадцатого февраля, он был действителен только на один день — на двадцать шестое число. Разглядывая печатный штамп на пропуске, Лозин с благодарностью подумал о Разове: палочки на буквах «л», «н» были чуть тоньше, чем в остальных буквах. Пропуск оказался фальшивкой, сработанной в типографии на Сиверской.

— После диверсии она собиралась скрыться в Ольгине,— высказал предположение Ломов.

— Исключено, дорогой товарищ, исключено.— Лозин прошелся по кабинету.— В Ольгине теперь так мало жителей, что каждый новый человек сразу же обратит на себя внимание. И не случайно пропуск ее выписан только на один день. Все свои дела в Ольгине она рассчитывала начать и кончить в один день — двадцать шестого.

— А потом?

— Слушайте, Ломов, вы читали в протоколе обыска опись ее вещей?

— Читал, конечно.

— Внимательно читали?

— У вас есть основания сомневаться в этом?

— Зря обижаетесь. Можно смотреть и не видеть, слушать и не слышать. Вы прочли список ее вещей, он сравнительно велик. На чем задержалось ваше внимание?

— По-моему, вещи самые обыкновенные... как у всех женщин.

— Вы считаете, что у всех женщин имеются меховые шапки, обтянутые белой тканью? Сомневаюсь. А если добавить, что у нее есть также белый халат, то получается неплохой маскировочный костюм. Ночью в таком наряде есть шанс незаметно пройти по заливу от Ольгина до Стрельны, где, как вам известно, находятся немцы.

— Ах, черт! — Ломов явно смутился. — Я как-то не обратил внимания на шапку, а халат... Думал, что выдали его на хлебозаводе, там ходят в белых халатах. В описи это выглядит как-то безобидно, шапка как шапка.

— А между тем эта «безобидная» шапка, обтянутая белой маскировочной материей, ставит перед нами новую задачу. Ясно, что ночью двадцать шестого февраля Корманова намеревалась перейти по заливу к немцам. Но отправиться в такой путь ночью, одной, не зная толком дороги, она не решится.

— Струсит?

— Дело не в трусости. Решиться на такой переход, не имея представления о нашей охране этого участка, — значит обречь себя на гибель. У нее, безусловно, должен быть провожатый, скорее всего человек с той стороны, который уже однажды, а может быть и не однажды, благополучно проделал этот путь. Вот с этим человеком нам необходимо «познакомиться».

— Очевидно, в Ольгине есть явочная квартира.

— Безусловно. Надеюсь, что при очередном допросе Кормановой кое-что прояснится, но сейчас меня тревожит другое: куда делась эта Шилова, — никаких следов! А похоже, что Шилова — Корманова — одна шайка.

— А Климова?

— Климова? Боюсь, что мы оказались на поводу у ее биографии. Надо ли говорить, как это опасно? Некоторые товарищи и поныне оценивают людей по устаревшим критериям времен гражданской войны. Тогда было просто: золотопогонник — значит, контра. Сын помещика — значит, классовый враг. Учился в привилегированном учебном заведении, скажем, в училище правоведения,— значит, чуждый элемент. Для того времени такие выводы были чаще всего абсолютно правильны. Но вот беда: времена меняются быстрее, чем привычные взгляды людей. Потому мы и нынче частенько мыслим по шаблону: отец бывший кулак — не доверяй детям. Исключили девчонку из комсомола за то, что губы намазала, красивой быть захотела,— значит, девчонка эта — чуждый элемент. Украла с голодухи сто граммов сахара — вражеский лазутчик. А как бывает в наши дни? У человека по анкете биография — кристалл! А он, сука, в первом же бою лапы вверх — сдаюсь. А другой из тюрьмы, вникни, из тюрьмы пишет заявление, требует, чтобы его послали на фронт, и знает притом, что отправят его не куда-нибудь, а в штрафную роту, можно сказать, почти на верную смерть. Вот и разберись во всем этом. Да... Но, во всяком случае, Климова никуда от нас не денется. Прежде всего надо найти Шилову. Мы обязаны найти ее как можно скорее! Судьба Климовой во многом будет зависеть от показаний Шиловой.

* * *

Когда Корманову ввели в кабинет, она увидела там Лозина и объяснила его присутствие по-своему.

— Вас тоже задержали? Но почему? Надеюсь, вы подтвердите, что мину обнаружила именно я! Если бы не я, печь вышла бы из строя! Страшно подумать о по-

следствиях! И вот — награда! В чем меня подозревают, если я же сама первая...

— Сейчас узнаете, в чем вас обвиняют. Садитесь, Корманова.— Лозин указал на стул, приставленный к торцу длинного стола, и сел на противоположном конце.— Можете идти,— сказал он часовому.

Часовой вышел.

Корманова продолжала стоять. Она все поняла. Лозин оценил ее самообладание, когда наконец, заставив себя сесть, она сказала ровным, спокойным голосом:

— Очевидно, и в вашей работе возможны ошибки? Почему я нахожусь здесь?

— Вы пытались осуществить диверсию на хлебозаводе в ночь с двадцать второго на двадцать третье февраля. Признаете вы себя виновной в этом?

— Как же вы можете так говорить, ведь вы же сами видели...

— Корманова, отвечайте на мой вопрос: признаете вы себя виновной в попытке совершить диверсию на хлебозаводе?

— Да нет же, конечно, нет! Это какой-то кошмар!

— Каким образом вы обнаружили мину?

— Вы же сами видели! Я протирала крепления опорного вала, вдруг услышала какой-то звук... как тиканье будильника... Я не сразу поняла, что это такое. Мне и в голову не приходило!.. Потом я заглянула туда и догадалась, что это мина... Я слыхала, что бывают мины с часовым заводом, и сразу закричала, предупредила!

— На какое время был назначен взрыв?

— Да откуда же я могу знать?

— Забыли? Могу напомнить — на половину первого ночи. Через полчаса после окончания вашей смены.

— Я этого не знаю...

— Почему вы так упорно стремились уйти с завода? Почему прикинулись больной? Вы были здоровы, пока не узнали, что вам придется задержаться на работе и быть в цехе в момент взрыва.

— Я ничего не знала.

— Вы утверждаете, что обнаружили мину, потому что услышали тиканье?

— Да...

— Ставлю вас в известность, что мина была обнаружена в двадцать два часа сорок пять минут, в то время, когда вы получали казеин. Обнаружена и обезврежена. Ваша выдумка неудачна: вы не могли слышать тиканье. Еще раз спрашиваю: от кого вы получили задание? Кто передал вам мину? — Лозин с удовлетворением следил, как с каждым его вопросом Корманова теряла уверенность, лицо ее покрывалось красными пятнами.— Отвечайте: кто вам передал мину?

— Я не знаю, ничего не знаю!

— Где вы работали до войны?

— Я вам говорила... Работала в Острове... в пекарне... А в Ленинград приехала за неделю до войны, но жила в Пушкине..

— Вы называете Остров и Пушкин потому, что теперь там немцы и нельзя проверить ваши показания. Но ведь в Острове не было цирка!

— Что? Я не понимаю...

— Отлично понимаете. До войны вы работали в цирке, а в Острове цирка не было. Значит, вы опять говорите неправду. Но о вашей работе в цирке мы еще побеседуем. Как давно вы знаете Климову?

— С первых дней войны.

— Где вы с ней познакомились?

— В кино. Нас познакомил ее муж Игорь Стопин, Мы случайно встретились в кино.

— Где и когда вы познакомились с Игорем Стопиным?

— В Острове. Он туда приезжал к родственникам.

— Когда?

— В тридцать девятом году.

— Где сейчас находится Игорь Стопин?

— В извещении сказано, что он пропал без вести. Так мне говорила Климова.

— Приходилось ли вам слышать от Климовой какие-либо антисоветские или пораженческие разговоры?

— Приходилось. Она говорила, что немцы возьмут Ленинград, что скоро советской власти в России не будет, а будет новый порядок... и всякое такое. Но я ее жалела, ничего не сообщала. Признаюсь... Это моя тяжелая вина перед Родиной.

— Кому и при ком она это говорила? Назовите фамилии.

— Она говорила мне... наедине.

— Значит, подтвердить ваши показания никто не может? Где вы познакомились с Сергеем Петровичем Дутовым?

Красные пятна на лице Кормановой побагровели, она молчала, опустив голову.

— Я жду ответа,— напомнил Лозин.

— Не помню...

Зазвонил телефон, Лозин взял трубку. Разговор занял не больше минуты, Лозин произнес только одну фразу:

— Теперь вы убедились, товарищ сержант, что предполагать и знать — совсем не одно и то же? Убедились? Очень хорошо...

Положив трубку, он придвинул к себе протокол и задал неожиданный вопрос:

— Где сейчас находится принадлежащий вам двухтомник Маяковского?

— Какой двухтомник?

— Изданный в серии «Библиотека поэта». Когда вы жили в общежитии, эти книжки лежали в вашей тумбочке.

— Я сменяла их на пачку «Беломора».

— С кем сменяли?

— С каким-то летчиком... на улице у булочной.

— Табак вы получали на заводе...

— Махорку. А я сменяла на «Беломор».

— Значит, вы не особенно дорожили этими книгами?

— Что уж теперь дорожить книгами?! Сейчас жив, сейчас — нет!

— Тогда объясните, почему вы так обозлились, когда Климова взяла их почитать? Что вас так испугало?

— Я не испугалась... я просто не люблю, чтобы трогали мои вещи без разрешения...

Лозин отложил протокол, встал и подошел к окну. Казалось, он забыл о присутствии Кормановой. Он долго смотрел на пустынный, занесенный сугробами проспект Володарского, на покрытые инеем, оборванные троллейбусные провода, потом вернулся к столу и сказал с укоризной:

— Я задал вам много вопросов, но не получил ни одного правдивого ответа. Этой бессмысленной ложью и запирательством вы только отягощаете свою вину. Вот что... Я вызову вас еще раз. Подумайте, как вам себя вести в дальнейшем. Перестаньте лгать. Кстати, вспомните, как ваша настоящая фамилия и почему вы не уехали из Ленинграда с цирком, в котором вы работали костюмершей.

* * *

Между первым и вторым допросом Кормановой выяснилось немало. При дополнительном обыске в дровя-

ном сарае Кормановой был найден небольшой чемодан с передатчиком. Это подтвердило предположение Лозина — Корманова должна была сообщить немцам о результатах диверсии.

Рано утром Корманова снова сидела в кабинете Лозина. Было видно, что ночь она провела без сна. Голос ее звучал глухо и вяло, неподвижная поза делала ее похожей на манекен.

— Надеюсь, вы подумали о своих ответах и о своей участи? — начал Лозин.— В анкете вы пишете «незамужняя». Это правда? Я имею в виду не юридическую, а фактическую сторону вопроса. Вам понятен мой вопрос?

— Понятен. Я незамужняя.

— Когда вы последний раз звонили по телефону Д1-01-37?

Лозин задал этот вопрос, зная, что он вызовет смятение, но такой реакции он не ожидал. Корманова схватилась за сердце, откинулась на спинку стула, было слышно, как стучат ее зубы. Лозин облегченно вздохнул: точная дата последнего разговора Кормановой по телефону Д1-01-37 не имела сейчас для него особого значения, важно было убедиться, что разговор был.

— Впрочем,— продолжал Лозин,— ответ на этот вопрос я имею возможность получить не только от вас. В телефонном разговоре всегда участвуют двое. Что не скажет один, скажет другой. Надеюсь, вы меня понимаете? Отвечайте, когда вы должны были выйти на связь с немецкой разведкой, чтобы сообщить о результатах операции «Эрзац»?

Вместо ответа Корманова застонала и начала сползать со стула. Лозин успел подхватить ее и усадил в кресло. Если это была симуляция, то проделана она была довольно искусно.

Лозин позвонил в медчасть.

Появился запыхавшийся доктор с санитарной сумкой через плечо.

— Кого будем лечить сегодня? — спросил он с порога.

— Что с ней? — Лозин кивнул в сторону Кормановой.

— Сейчас выясним. Начнем с пульса.— Доктор поднял неподвижную руку Кормановой.— Нуте-с, так... Восемьдесят восемь... Нервы... нервы... Нашатырь, валерьянка — и все будет в порядке. — Он вынул из сумки два пузырька, один из них поднес к носу Кормановой: — Понюхайте, понюхайте! Вы же меня слышите!

Корманова глубоко вздохнула и открыла глаза. «Симуляция»,— подумал Лозин.

Доктор накапал валерьянки.

— А теперь выпейте!

Корманова послушно выпила.

— Вот и славно,— сказал доктор, снова нащупывая ее пульс.— Вам уже лучше... Все пройдет. Посидите еще минут пять в этом удобном кресле и можете продолжать беседу...

Упоминание об операции «Эрзац» окончательно сломило Корманову. Наблюдая за ней, Лозин догадывался о ходе ее мыслей. «Кодовое название операции знают в Ленинграде только я и Шилова. Значит, Шилова арестована и выболтала... А может быть, она советская контрразведчица? Тогда понятно, откуда они узнали о мине. Им все известно... Все, кроме того, что двадцать шестого состоится встреча в Ольгине...»

— Продолжим разговор,— сказал Лозин.— Ваши преступные связи нам ясны. Мину вы получили от немецкой разведки. В свое время вас обучили работе радиста. Передатчик у вас неплохой, но спрятали вы его плохо. Заложили дровами и успокоились. Нет, нет, по-

жалуйста, не симулируйте новый обморок, это просто глупо и бесполезно. Как видите, нам известно достаточно, для того чтобы вы понесли самое суровое наказание. Всякое запирательство только отяготит вашу судьбу. Сейчас от вашего поведения зависит многое, и прежде всего ваша собственная участь. Последний раз спрашиваю вас: признаете ли вы себя виновной в попытке совершить в ночь с двадцать второго на двадцать третье февраля тысяча девятьсот сорок второго года диверсию в печном отделении ленинградского хлебозавода?

Лозин скорее угадал, чем услышал «да».

— Хотите ли вы хотя бы в самой ничтожной степени искупить свое преступление? Такая возможность вам будет предоставлена.

Не в силах говорить, Корманова кивнула головой.

— Когда вы должны были выйти на связь, чтобы сообщить о результатах диверсии. Сегодня?

Корманова снова молча кивнула головой.

— Этот сеанс радиосвязи должен состояться. Немцы должны быть уверены, что операция «Эрзац» прошла эффективно. Вы меня слышите?

Лозин снова угадал беззвучное «да»...

17. ВСТРЕЧА

После очередных показаний Кормановой Лозин вызвал Ломова и Малову.

— Ну и вид у вас, товарищи,— сказал он укоризненно.— Богомерзкий! Отсюда следует, что за последние два дня вы совершенно измотались, а значит, работали неплохо. Но теперь наступает решающая фаза нашей операции. Прежде всего, обменяемся информацией о своей работе за последние сорок восемь часов. Начнем

с меня. Выяснилось, что Корманова жила до тридцать девятого года в Республике немцев Поволжья, в городе Энгельсе. Настоящее ее имя — Эльга, а не Ольга. Фамилия — Корман. С чьей помощью превратилась она в Ольгу Корманову — это мы выясним. Корман была завербована неким Сергеем Шульцем — директором кинотеатра. В тридцать девятом году ей было приказано «закрепиться» в Ленинграде, рекомендовали выйти замуж за ленинградца «с положением». Ей удалось прописаться в Ленинграде с помощью некоего Сергея Дутова. Не исключено, что Шульц в Энгельсе и Дутов в Ленинграде — одно и то же лицо. За день до своей гибели Дутов устроил Корман на хлебозавод. Корман утверждает, что восемнадцатого утром она позвонила по телефону Д1-01-37, услышала женский голос и произнесла пароль. Женский голос приказал ей позвонить двадцать второго в восемь утра, иными словами — Корман надлежало явиться двадцать второго в назначенный час к булочной на Невском, против улицы Марата. Там неизвестная, закутанная в платок, передала ей мину, приказав заложить ее в цехе к концу вечерней смены. Это — главное, что удалось выяснить. О пропуске в Ольгино я ничего не спрашивал, она убеждена, что мы о нем не знаем. Эта Корман не глупа и не имеет никаких иллюзий относительно своей дальнейшей участи. Тем более странно, что она отрицает всякую близость со Стопиным, уверяет, что о его судьбе ничего не знает. Вот так. Сейчас послушаем сержанта Малову.

— На заводе все только и говорят о мине,— начала Малова.— Считают Корманову арестованной напрасно, ведь все слышали, как она первая закричала о мине. Климова тоже не верит в ее причастность к диверсии, хотя, казалось бы, как соучастница, должна не защищать, а топить Корманову, чтобы отвести подозрения от

себя. Но Климова все время твердит, что Корманова всегда была к ней добра и даже спасла ее от голодной смерти, устроив на хлебозавод. Я спросила Климову, ссорились ли они когда-нибудь? Климова сказала, что Корманова пришла в ярость, узнав, что Климова взяла из ее тумбочки двухтомник Маяковского, кричала на нее. Об этом я вам уже докладывала, товарищ капитан...

— Да. Это помогло мне при допросе Корман. При обыске книги не обнаружены. Очевидно, она их уничтожила или кому-то передала. Продолжайте.

— Мне удалось выяснить, почему Климова так уверена, что Игорь Стопин жив. Оказывается, шестого декабря она слышала по радио очерк о действиях партизанского отряда в Белоруссии. Там говорилось, что отрядом командует известный ленинградский спортсмен товарищ С. Автор обрисовал внешность партизанского командира: атлетическое сложение, тяжелый подбородок, приплюснутый нос. Эта последняя деталь окончательно убедила Климову в том, что товарищ С. не кто иной, как ее муж, потому что у Стопина действительно перебита переносица. Все это она мне рассказала со слезами, задыхаясь от волнения. Я, конечно, проверила ее рассказ. В микрофонной библиотеке Ленрадиокомитета мне дали прочесть эту передачу. Все оказалось так, как рассказывала Климова. Больше того, заведующая микрофонной библиотекой сообщила мне, что я не первая интересуюсь этой передачей. В начале декабря к ней пришла взволнованная женщина и со слезами просила дать прочесть передачу «В лесах и болотах Белоруссии». Она объяснила, что в очерке рассказывается о ее пропавшем без вести муже. На всякий случай я просмотрела корешки пропусков на радио за весь декабрь и нашла пропуск на имя Климовой Варвары Сер-

геевны. В пропуске указана не только дата, но и время пребывания Климовой в стенах радиокомитета. Оказалось, что она была там седьмого декабря, на другой же день после передачи. Так что в данном случае Климова говорит правду.

— Может быть, может быть...— сказал Лозин.— Не исключено, что Корман хотела провести диверсию так, чтобы подозрение пало на Климову. Этим она заодно избавилась бы от своей соперницы. Очевидно, Корман смотрела далеко вперед.

— Прошлое-то у этой Климовой, прямо сказать, подозрительное,— заметил Ломов.

— Да, это не святая. Прошлое ее с весьма неприятными подпалинами. Но если к диверсии и ко всей этой банде она не имеет никакого отношения, я бы не стал вписывать ее в разряд безнадежных. Возможно, что за Климовой мы какое-то время шли по ложному следу. Ну, спасибо, товарищ Малова. Свое первое задание вы провели неплохо. Послушаем теперь Ломова.

— Начну с неудачи,— хмуро сказал Ломов.— Напасть на след Шиловой по-прежнему не удается. Все, что можно прочесать, прочесали. Никаких результатов,— исчезла! Как подумаю, что она где-то тут, в нашем городе, от злости у меня...

— Пожалуйста, без эмоций! — прервал Лозин.— Говорите о деле.

— Слушаюсь. В Ольгине действительно проживает Михаил Григорьевич Косов. При нэпе имел свою шорную мастерскую. Из совхоза уволен за систематическое воровство. Верующий, по религиозным праздникам ездил в Ленинград, в церковь. В ноябре часто бывал на Кузнечном рынке, менял картошку на золотые вещи. Вдовец. Живет один. Дом на самом берегу залива... Теперь — о Шиловой. Фотография ее переснята и увеличена. Вот она.— Ломов вынул из планшета конверт

и протянул Лозину.— Комиссар госпиталя сообщил, что Шилову сфотографировал госпитальный фотограф всего два месяца назад для удостоверения. Говорит, что фотография на редкость точная, что по ней вполне можно узнать Шилову.

Лозин взглянул на фотографию. Брови вразлет. Широко расставленные глаза с узкими зрачками. Правильные черты. Зачесанные назад волосы открывают широкий гладкий лоб. Над левой бровью небольшая родинка.

— Бог шельму метит...— сказал Лозин.— Продолжайте.

— А теперь — самое главное. После сообщения о Мямине я, по вашему указанию, занялся его родственниками и выяснил час назад, что Шилова, оказывается, его жена.

Лозину показалось, что он ослышался.

— Шилова — жена Мямина? Это точно?

— Точно, абсолютно точно.

Лозин тяжело вздохнул, долго молчал и наконец, ни на кого не глядя, хмуро сказал:

— Одно утешение, что теперь она не жена Мямина, а его вдова. Девять дней назад Мямин — немцы дали ему фамилию Солдатов — казнен сиверскими партизанами. Наша вина от этого не становится меньше. Подумайте сами: муж — предатель, а жена — в военном госпитале. Допустимо это? Мы же знаем — раненые не прочь порассказать о боевых делах, о своих командирах. Для них каждый работник госпиталя прежде всего человек, который борется за их жизнь, за их здоровье. Какие же могут быть тайны от таких людей? Прозевали мы это дело, дорогие товарищи, прозевали!

* * *

Двадцать шестого февраля, под вечер, к Косову зашли два командира — один худощавый, веснушчатый

блондин, другой — коренастый крепыш с румяным от мороза лицом.

— Привет от Ксении Петровны! — весело сказал крепыш.— Погреться можно?

— А как же! Чего-чего, а дровишек хватает. Раздевайтесь, господа-товарищи, не знаю как вас звать-величать...

— Попросту, папаша,— так же весело продолжал крепыш.— Меня — Мишей звать, тезки мы с тобой, значит. А его,— он повернулся к своему товарищу,— зови Сергей. Запросто! Без церемонии! Все мы — друзья-товарищи!

— Такие слова даже слушать приятно,— сказал Косов.— Сейчас и чаек вскипятим, закуски, извините, нету, сами знаете, как живем...

— А мы не голодные, недавно подзаправились,— сказал Сергей.— Ну, как тут у вас? Ничего подозрительного не замечаете? Неизвестные вокруг не бродят?

— Все в порядке, дорогие гости. На этот счет глаз у меня пристрелян. Я эту публику за версту чую. А неужто у вас и закусить нечем?

— Кое-что найдется, перед уходом тебе оставим, с собой не возьмем. Там у нас на этот счет порядок — чего хочешь, того просишь.

— Наслышан,— сказал Косов.— Вы у меня, слава богу, не первые. И до вас приходили сытые, а меня вниманьем не оставляли.

— Не спеши, папаша, свое получишь,— сказал Михаил.

Скинув полушубки, гости сели за стол и закурили «Беломор».

— Ведь вот не поверишь,— сказал Михаил,— чего мне там не хватает, так это наших папирос. Не могу привыкнуть я к ихним сигаретам, куришь, куришь — никакого впечатления...

— А где «Беломор» раздобыл? — спросил Косов.— Может, есть лишняя пачка?

— «Беломор» этот, папаша, казенный. Выдается он только в дорогу, тем, кто идет в Питер попроведать друзей-приятелей. Понял? — спросил Сергей.— Вижу, что понимаешь. Смекалистый! Закуривай и забирай себе остаток. — Он протянул Косову начатую пачку папирос.

— Дом у тебя хорош, просторно живешь,— заметил Михаил.— Сколько же у тебя тут комнат?

— Две всего. Эта и та,— Косов показал на дверь за спиной Михаила.

— Просторно живешь,— повторил Михаил и вышел из-за стола.— А там у тебя что? — не дожидаясь ответа, он распахнул дверь в соседнюю комнату. На пороге стояла высокая женщина в расстегнутом ватнике, голова ее была закутана в теплый пуховый платок.

— Э, да у тебя гости! Хитрец ты, папаша! Ишь какую кралю спрятал!

— Родственница,— сказал Косов,— по хозяйству помогает...

— Ну, что ж, хозяюшка, может, и вы с нами посидите, чайку попьете?

— Спасибо, а вы кто такие будете, какими судьбами к нам занесло?

— Мы люди кочевые,— многозначительно сказал Сергей.— Нынче здесь, завтра там. Вот Михаил Григорьевич в курсе нашей деятельности. Правда, папаша?

— Вы как сюда шли? — настороженно спросила женщина.

— А мы шли не сюда,— ответил Сергей.— Здесь нам делать нечего. Были в Ленинграде, дела свои сделали, теперь идем нах хаузе — домой, значит. А вы постоянно здесь проживаете?

— Постоянно. Здесь и родилась.

Закипел чайник. Женщина поставила на етол четыре кружки. Ложек чайных не подала.

— Все равно размешивать нечего,— объяснила она.— Вместо сахара дали на эту выдачу триста граммов соевых конфет, так мы их в один день съели.

— Сегодня одного похоронил, другому гроб справил, — сказал Косов, наливая кипяток в кружки. — Так что, слава богу, хлебушко есть. Нарежь, голубка.

Женщина с недовольным видом открыла шкаф.

— Не там смотришь — в тумбочке буханка.

— Ты что же, даже от родственницы хлеб прячешь? — засмеялся Сергей.

— От соблазна! Подальше положишь, поближе возьмешь.

Женщина положила на стол буханку.

— Плохой у вас хлеб, совсем плохой,— заметил Сергей.— И с виду-то на хлеб не похож.

— А вы, значит, совсем без продовольствия идете? — спросила женщина.— Как же вы в Ленинграде-то кормились? — Сергей почувствовал на себе ее пристальный неподвижный взгляд.

— В Питере нам всегда готов и стол, и дом,— отозвался Михаил.— В Питере мы гости желанные.

— Вам же еще идти и идти, столько километров по заливу шаркать,— сочувственно заметил Косов.

— А где ваши лыжи? — спросила женщина.— Без лыж в такой путь нечего и думать...

— Лыжи в сугробе спрятаны, на берегу.

— Здесь никто не возьмет,— сказал Косов,— вот в Питере один из ваших тоже в сугроб спрятал, а их и выкрали. Так я ему свои отдал, сам теперь без лыж остался. Да вы чего не едите-то? Хлеб не нравится?

Женщина резко поднялась со стула:

— Чем угощаем? Кипятком с мякиной! Сейчас сбегаю в поселок, достану спирту и колбасы!

Косов с удивлением уставился на нее.

— Не надо, хозяюшка, — сказал Сергей, взяв ее за руку.

— Это почему же? Сейчас не хотите — в дороге пригодится. В такой мороз одно спасение — спирт.

— Люди любопытные, начнут спрашивать: кому спирт, по какому случаю колбаса. Нет, ни вам, ни Михаилу Григорьевичу выходить из дома сейчас нельзя. Не надо привлекать к себе внимания. Вот когда мы уйдем,— делайте что хотите. А пока мы здесь — сидите дома.

— Видно, пугливы,—усмехнулась женщина и пальцами сняла нагар со свечи. Пламя колыхнулось, отблеск его осветил на долю секунды рыжие глаза женщины. Не мигая, они смотрели в упор на Михаила.— А где же ваши маскхалаты?

— А мы и без них обходимся! — сказал Сергей.— Полушубки белые, валенки серые, ушанки серые,— пойди найди нас ночью на снегу.

— В Ленинграде болтают, будто на хлебозаводе был взрыв. Вы не слыхали? — спросил Сергей.

— Сами в Ленинграде были, а нас спрашиваете.— Откуда нам знать? — Женщина натянула платок на самые брови.

— Что вы так кутаетесь, хозяюшка? — спросил Сергей.— В доме натоплено, жарко, а вы и ватник застегнули, и платок шерстяной по самые брови натянули. Батька мой говаривал: голова в холоде, брюхо в голоде — чихать разучишься, кашлять забудешь!

— Голова у меня болит. Фельдшер сказал — надо в тепле держать.

— Болезнь эта называется мигрень,— сказал Михаил.— Сходи-ка, Серега, на берег, выясни обстановку, скоро нам трогаться.

— Есть выяснить обстановку! — Сергей накинул полушубок и вышел.

— Из Ленинграда на Стрельну ближе идти через Новую Деревню,— сказала женщина.— А вы из Ольгина пойдете. Вон сколько лишку дадите.

— Люди мы подневольные,— объяснил Михаил.— Приказано отсюда — идем отсюда.

— Что же, вам точно приказано, чтобы двадцать шестого выйти из Ольгина?

— Ох и любопытная вы женщина. Могу сказать: мы свое дело уже сделали, вот и возвращаемся досрочно...

— Слушай, как там, у немцев, за золото чего приобрести можно? Земли или, например, домишко? — спросил Косов.

— За золото, дорогой Михаил Григорьевич, при немцах папу с мамой купить можно, не то что домишко... Глядя, конечно, сколько у вас золота.

— Да нет... Это я так... Из любопытства... Откуда у меня золото — крест на шее и тот медный

В сенях послышались шаги, вошел Сергей.

— Ну, что? — спросил Михаил.

— Где-то поблизости две ракеты запустили. Не нравится мне это...

— Ко всему надо быть готовым,— сказал озабоченно Михаил.— Попадемся — нам и вам — всем вышка! Условный стук у вас есть?

— Два раза по пять ударов в окно.

— Оружие имеете? Всякое может случиться.

— Браунинг у меня есть, ваши мне и оставили,— ответил Косов.

— А у вас? — спросил Михаил женщину.

— Нет у меня оружия. На что оно мне?

Издалека послышался гул самолетов.

— Наши,— определил Михаил.— На Ленинград летят, подарочки несут.

— Каждый вечер в это время летают,— заметил Косов.— Спасибо, на Ольгино не бросают, видно, нас жалеют. Как вы думаете, сынки, когда немец в Ленинграде будет?

— К маю будем, точно! — заверил Сергей.

— Скорей бы уж... — вздохнул Косов.

— Выйду посмотрю, что там, — сказал Михаил. Он засунул пистолет за пояс, нахлобучил шапку и шагнул за порог...

Разговор оборвался. Косов сворачивал про запас самокрутки, женщина ушла в соседнюю комнату, прикрыв за собою дверь.

Вскоре вернулся встревоженный Михаил.

— На берегу кто-то ходит, слышно, как скрипит снег. Наверное, патруль.

— Задуть свечу,— приказал вполголоса Сергей.— Дверь открывать только на условный стук. Где хозяйка? Положение серьезное, надо всем вместе быть!

— Никогда здесь на заливе патрули не ходили,— сказал Косов.— Может, тебе это только померещилось.

— Еще раз говорю, открывать только на условный стук! — приказал Михаил.

Два выстрела — один за другим — заставили всех вскочить. Косов подбежал к окну, но сквозь темноту ничего не увидел. Снова ударил выстрел уже совсем близко.

— Бежать! Надо бежать! — вырвалось у женщины.

— Тихо! Без паники! Может, пронесет,— шепотом сказал Сергей.— Михаил, ступай в сени! Оружие на взводе!

— Есть! — Михаил вышел, неслышно закрыв за собою дверь, и почти сразу же раздался тихий, отчетливый стук в оконное стекло: дважды по пять ударов.

— Это они! Наши! — вскрикнула женщина.— Скорее открывайте!

Косов бросился в сени и выскочил на крыльцо.

— Слава богу — живы! — донесся его голос.

Сергей чиркнул зажигалку и зажег свечу. Женщина увидела в его руке пистолет.

— Спрячьте, это свои,— сказала она.

В сенях послышалась недолгая возня, с шумом распахнулась дверь, в комнату вошли два красноармейца.

— Оставаться на местах! Ваши документы, гражданка.

— Паспорт у меня на продлении, в милиции...

— Паспорт не нужен,— сказал Сергей.— Снимите с головы платок.

— У меня есть документ... удостоверение... — Она сунула руку в карман ватника, но Сергей мгновенно сжал ее запястье.

Женщина криво усмехнулась:

— Не пугайтесь, я не убью вас. — Она вынула из кармана сжатый кулак, но Сергей продолжал держать ее руку.

— Обыскать карманы! — приказал он.

В карманах ватника ничего не было.

— Может быть, теперь вы отпустите мою руку? — зло спросила женщина.

— Разожмите кулак! Не хотите? В таком случае...— Он надавил на ее пальцы, кулак разжался, из него выпала крохотная ампула.

— Вы особа с характером,— сказал Сергей, поднимая ампулу.— Яд, конечно?

Не отвечая, женщина повернулась к нему спиной.

— Сядьте к столу и не трогайтесь с места.— Сергей подал знак, к женщине подошел красноармеец и встал около нее.

— Электрофонарики есть? — спросил Сергей.

— Есть! — ответили разом оба красноармейца.

— Зажгите и положите на стол.

Очевидно, дверь из сеней на улицу осталась открытой, послышался скрип снега и четкая команда:

— Входить быстрее!

Кто-то с шумом споткнулся в темных сенях, и в комнату один за другим вошли четверо: у двоих, одетых в маскхалаты, руки были связаны за спиной, двое других держали наперевес автоматы. За ними щел Михаил, ведя перед собой Косова. Последним в дом вошел Лозин.

Взяв лежащий на столе фонарик, он навел его на лицо женщины.

— Какая встреча! — любезно сказал Лозин.— Узнаете эту даму, товарищ Ломов?

— С первого взгляда, товарищ капитан. Но никак не мог упросить Ксению Петровну снять платок. У нее мигрень.

Луч фонарика осветил другого арестованного. Приплюснутый нос рослого диверсанта не оставлял никаких сомнений.

— Чемпион по боксу Игорь Стопин — Куц получает нокаут! — усмехнулся Лозин.

— Это он в меня стрелял! — сердито сказал Жаров.— Чума на его плешь! Продырявил новенький полушубок! Вот они — две дырки!

— Товарищ Ломов, осветите второго.

Луч фонарика уперся в бледное, искаженное страхом лицо диверсанта.

— Фамилия? — спросил Лозин.

— Несвицкий... произошло недоразумение... ошибка... Уверяю вас...— бормотал он дрожащими губами.

— Ошибку исправим. Машина вызвана, товарищ Жаров?

— Так точно. Будет с минуты на минуту.

— Подождем.— Лозин повернулся к женщине.— Вы все еще не сняли платок, гражданка Шилова? Напрас-

но. Мне кажется, что родинка над бровью вас совсем не портит.

Шилова молчала.

— Понимаю,— продолжал Лозин.— Вы молчите, потому что у вас болит горло. Напрасно вы отложили операцию. Ларингологи Куйбышевской больницы озабочены вашим отсутствием.

— Произошла чудовищная ошибка,— снова заговорил вдруг Несвицкий.— Трагическая ошибка! Мы бежали от немцев... мы имеем ценнейшие сведения... мы сообщим... Это ошибка...

— Об ошибках поговорим потом,— сказал Лозин.

В ночной тишине отчетливо послышался шум мотора. К дому Косова шла машина.

ЗЛАЯ ЗВЕЗДА

1. АВТОБУС НЕ ПОНАДОБИТСЯ

Рация умещалась в старом, потертом чемоданчике. Захлопнув его, Туманов облегченно вздохнул: дело сделано, до очередного выхода в эфир — месяц, за это время он узнает назначение нового объекта. В ближайшие дни ему переправят самовоспламеняющуюся капсулу. Впрочем, если капсула и запоздает — не беда. Пожар возникнет не в день пуска, а, скажем, седьмого ноября. Это даже лучше!

Он выбрался из Муравьиного оврага и вышел на заброшенную, заросшую тропинку. Тихий лес стоял неподвижно, дышал покоем, невидимая птица заливалась иногда пронзительной трелью, обрывая ее на самой высокой ноте, тогда тишина становилась еще глубже и начинала тревожить Туманова. Он был высокого мнения о советской контрразведке и готов был в любую секунду к неожиданной опасности. Даже сейчас, возвращаясь в заводской поселок после удачного сеанса связи с Западным Берлином, он не изменил своей обычной осторожности,— в левой руке чемодан, правая в кармане пиджака ощущала успокоительную прохладу пистолета.

Вдали, на шоссе, уже слышались автомобильные гудки. Туманов ускорил шаг. Сейчас он избавится от чемодана, сядет на рейсовый автобус и через двадцать минут окажется в поселке. Рация останется в отлично замаскированном индивидуальном окопе, отрытом еще в начале войны — четырнадцать лет назад. Туманов считал свой тайник лучшим из всех возможных. Окоп был искусно заминирован. Стоит случайному человеку потянуть чемодан — неизбежный взрыв уничтожит и человека и рацию.

До окопа оставалось совсем недалеко, когда он увидел идущих навстречу паренька в ковбойке и девушку в ярком сарафане. У парня в зубах торчала потухшая папироска. Они шли обнявшись, девушка хихикала, заглядывая парню в лицо, а он, слегка пошатываясь, мотал головой, стараясь откинуть нависший на глаза чуб.

«Хороша парочка — потаскуха с пьянчугой! — раздраженно подумал Туманов.— Ясно, чего им в лесу надо!»

Он сошел с тропинки, уступая дорогу, но, поравнявшись с ним, девчонка в цветастом сарафане, нахально ухмыляясь, остановилась.

— Дайте ему спички,— сказала она, скаля в улыбке все тридцать два зуба.— Пожалуйста!

— Некурящий! — Туманов хотел пройти дальше, но парень, прижимая к себе девчонку, преградил ему дорогу:

— Не обманывай маленьких, дядя. Бог накажет! — И подмигнул ему, точно они были знакомы сто лет.— Я, дядя, сквозь землю вижу! Ответственно заявляю: у вас в кармане «Беломор» и спички.

Девчонка хихикнула:

— Не спорьте с ним, я его знаю, он не отстанет!

Надо было скорее отделаться от наглецов, чтобы успеть спрятать рацию и попасть на автобус. С каким удовольствием всадил бы он сейчас в парня хороший заряд!

— Ладно! Только скорее,— сказал Туманов.— Пропущу автобус!

Зажигалка лежала в заднем кармане брюк. Туманов нехотя оторвал руку от нагретой стали пистолета, чиркнул колесиком и протянул дрожащий огонек к папиросе парня. Остальное произошло мгновенно: парень рванул на себя руку Туманова, ударил его бутсой по

лодыжке, и Туманов ничком свалился в траву. Он даже не заметил, как его руки оказались в наручниках.

Прижав Туманова к земле, парень отрывисто приказал девушке:

— Проверьте карманы. У него должно быть оружие.

Виртуозно, точно пианист по клавишам, девушка пробежала тонкими пальцами по одежде Туманова, вытащила из кармана пиджака пистолет и протянула парню:

— Вы правы, товарищ Румянцев.

Румянцев сунул пистолет за пояс под рубаху.

— Люся, возьмите чемодан. А вы, гражданин, вставайте. Автобус не понадобится — у шоссе нас ждет легковая машина.

Он поднял с земли зажигалку, положил ее в карман Туманова, где только что лежал пистолет, и зачем-то сказал:

— Некурящий я...

2. ИГРА ПРОИГРАНА

На допросе Туманов понял, что советская контрразведка следила за ним уже не первый день. Стало ясно, почему он за столько времени не сумел разобраться в назначении стройки: ему обдуманно давали чертежи, по которым нельзя было судить ни о характере, ни о мощностях объекта.

Чемодан с рацией был неотвратимой уликой, и Туманов понял — игра проиграна, надо спасать жизнь.

На допросах он вел себя осторожно, стараясь уловить, что о нем известно, о чем можно умолчать, а о чем, предупреждая вопросы следователя, рассказать самому.

Когда на третьем допросе капитан Миров назвал ему даты и часы двух последних сеансов связи с Западным

Берлином, Туманов сник: «темнить» дальше становилось бессмысленно. Уловив настроение Туманова, Миров бросил вскользь обнадеживающую фразу:

— Кто сдается, в того не стреляют...

— Вы сохраните мне жизнь?— Руки Туманова тряслись, сердце замерло.— Дайте мне возможность искупить свою вину! За эти дни я многое понял и осознал!

Миров усмехнулся. Сколько раз слышал он эти запоздалые покаяния! Цену таким речам он знал. Не удивительно ли: просидев месяц в одиночной камере, оторванный от внешнего мира, преступник вдруг начинает разбираться в этом мире лучше, чем когда он был на свободе? Как поверить, что именно в тюрьме на преступника снисходит просветление и ненависть к советскому строю перевоплощается в страстную любовь к нему?

— Я искуплю свою вину... честным трудом...— бормотал Туманов, преданно глядя в глаза Мирову.

— Наказание определяет суд, но считаю нужным разъяснить вам, что признание вины дает суду основание смягчить приговор... С какого времени вы держите связь с зарубежной разведкой?

— С конца марта пятьдесят второго года...

— Значит, больше двух лет. Кто и каким образом завербовал вас?

Туманов опустил голову, на лбу его выступил пот.

— Я спрашиваю: кто и каким образом завербовал вас на службу иностранной разведки?

— Скажу... сейчас скажу...

— Советую говорить правду...

— Я говорю правду... Меня запугали... Грозили...

— Кто запугал?

— Сейчас... Сейчас расскажу... Разрешите...— он показал на графин.

Миров налил стакан воды, и Туманов, запрокинув

голову, так, что было видно, как ходит под кожей острый кадык, залпом выпил стакан до дна.

— В сорок шестом году я поступил в институт. В политехнический... Я скрыл, что мой отец до тридцатого года был священником и что его арестовали... А потом вот еще... в анкете спрашивалось, есть ли у меня родственники за границей и о связи... Я написал, что нет. А у меня был... Дядя... Брат моей матери. Он жил в Финляндии. Он перебежал туда еще в двадцать пятом году. У него там лесопильный завод был. Дядя и до войны присылал матери и мне письма. Не почтой, а с финнами, которые приезжали в Ленинград. Когда финны вышли из войны, дядя опять стал посылать письма с попутчиками и разные мелкие посылки... Из-за этого всё...

Туманов умолк и снова потянулся к стакану.

— Рассказывайте дальше.

— В институт меня приняли. На третьем курсе я подал в комсомол. Стал комсомольцем...

— Не комсомольцем, а обладателем комсомольского билета,— перебил Миров.— Это не одно и то же. Дальше!

— Так я проучился пять лет. Я активным был... Меня даже членом комсомольского бюро выбирали на факультете. А когда до защиты диплома осталось три дня... всего три дня, меня у входа в институт остановил незнакомый тип в темных очках и сказал, что у него ко мне есть разговор. Я предложил пройти в институт, поговорить там, а он сказал, что разговор лучше вести на свежем воздухе. Мы пошли в институтский парк. Он спросил, когда я стану дипломированным инженером. Я сказал, что защита диплома через три дня. Тогда он начал спрашивать, как у меня с работой, получил ли я направление. Я ему ничего еще ответить не успел, гражданин следователь, а он уже сам сказал, что, на-

верно, у меня направление в какой-нибудь «ящик». Этот тип смотрел через темные очки, и мне было неприятно, что он мои глаза видит, а я его глаз не вижу, не знаю, какое у них выражение. Спрашиваю его, кто он такой; он отвечает, что зовут его Иван Кузьмич, что он давно интересуется моими делами. Я решил, что это какой-то трепач, зачем-то разыгрывает меня, я ему так и сказал. Вот тогда он мне и выложил все: и про отца-священника, и про дядю за границей, и про мою переписку с дядей, и про то, что я много раз встречался с иностранцами, которые привозили мне от дяди письма и разные посылки... Я вижу, что он все знает, но все равно решил не признаваться, говорю, что ничего подобного — нет у меня дяди за границей и знать не знаю никаких иностранцев. Тогда он вытащил из кармана конверт и протянул мне. Я конверт раскрыл, а там — две фотографии. На первой я с финном катаюсь на лодке в ЦПКиО,— для безопасности мы всегда встречались в людных местах. На второй фотографии я с финном в ресторане в Петергофе. Тут уж я понял, что врать бессмысленно, только было непонятно, кто нас снимал и почему эти карточки у Ивана Кузьмича, зачем они ему? Я старался, чтобы этот тип не догадался, что я испуган, и спросил, что ему надо. Он мне сразу все выложил. Он мне так сказал, гражданин следователь: «Вы, говорит, уверены, что через три дня станете дипломированным инженером и получите интересную работу в Ленинграде. А может случиться совсем иначе. Может случиться, что завтра вас исключат из комсомола, послезавтра из института, а через три дня вы окажетесь как раз в тюрьме, а оттуда — прямой дорогой по этапу на десять лет сами знаете куда... Нравится вам такой вариант?» Не скрою, гражданин следователь, я испугался, понял, что нахожусь в руках этого типа. Я опять спросил, что ему надо. Он сказал, что сейчас ему ничего не надо, но когда

я три-четыре месяца проработаю в НИИ, то получу открытку с подписью «Клава». И тогда я должен в полдень первого воскресенья ждать его в Пушкине у Камероновой галереи. Что было дальше, вы сами догадываетесь, гражданин следователь...

— Я ни о чем не хочу догадываться. Я хочу услышать все от вас. Продолжайте...

— Через три месяца я получил открытку от «Клавы» и встретился в Пушкине с Иваном Кузьмичом. Он заставил меня рассказать все, что я узнал за это время о нашем НИИ: над чем там работают, кто директор, как фамилии начальников отделов и все такое. И приказал мне подать заявление в партию. А на очередной встрече дал мне адрес, чтобы явиться туда вечером. Я пришел, он вытащил из шкафа маленький магнитофон и включил его. Я услышал голос Ивана Кузьмича и еще чей-то голос. Голос рассказывал то же самое, что я рассказывал раньше Ивану Кузьмичу. Я прямо так удивился, что ничего понять не мог. Он спрашивает: «Узнаешь?» Я, конечно, не узнаю. Он стал смеяться: «Да это же ты говоришь». Потом-то я узнал, что человек своего голоса правильно не слышит. Оказалось, что Иван Кузьмич мои рассказы о НИИ записывал, чтобы я у него совсем в руках оказался. Потому что в тех рассказах было все такое, чего я не имел права говорить, за что меня полагалось судить...

— Так. А что потом?

— Потом Иван Кузьмич стал учить меня работать на коротковолновом передатчике.

— Где он вас обучал?

— У себя на даче...

— Где эта дача?

— На Лахте. Шифровальному делу тоже там обучил, в то же лето...

— Вы получали какие-нибудь деньги от этого Ивана Кузьмича?

— Да... Немного.

— Сколько?

— Оклад инженера.

— Рассказывайте дальше.

— А дальше он посоветовал мне перейти на номерной завод. Мне это удалось... Я сказал, что хочу на производство, ближе к рабочему классу. В парткоме даже одобрили мое стремление. О заводе мне тоже пришлось давать сведения...— Он тяжело вздохнул, точно ожидая сочувствия.

— Продолжайте.

— Когда мне удалось получить перевод на Семерку, Иван Кузьмич снабдил меня шифром, дал позывные и приказал в определенные часы и дни каждого месяца выходить на связь с зарубежным разведывательным центром. Я должен был сообщать о ходе строительства объекта, о его назначении. Иван Кузьмич сказал, что в одном из банков Западной Германии на мое имя открыт счет и за каждый выход в эфир мой текущий счет будет увеличиваться на пятьсот долларов.

— Как же вы, живя в Советском Союзе, собирались реализовать эти доллары?

— Что?

— Я спрашиваю: как вы собирались реализовать эти доллары?

— Реализовать эти доллары? — Туманов тянул с ответом. Он не предвидел такого вопроса.— Я, гражданин следователь, вовсе не задумывался над этим. Я же работал не из-за денег, у меня другого выхода не было... Из-за страха... Теперь-то я понял...

— Не задумывались, значит? А разве Иван Кузьмич не обещал перебросить вас за границу после диверсии?

Разве не говорил, что за границей вы сразу станете богатым человеком?

Задавая этот вопрос, Миров шел на известный риск: материалов о том, что Туманов должен совершить диверсию и скрыться за границу, у него не было. Но он знал шаблонный набор приемов, с помощью которых зарубежная разведка держала на «крючке» своих агентов. Доллары на текущем счету были неотразимой приманкой. Пусть только шпион соберет необходимые сведения, а тогда на другой же день он окажется в роскошном отеле ближайшей капиталистической страны.

Услыхав вопрос Мирова, Туманов похолодел. Значит, следователю известен его разговор с Иваном Кузьмичом? Что отвечать? На какое-то время Туманов потерял самообладание.

— Я за границу не собирался...— бормотал он.— Дядя мой в Финляндии недавно умер, зачем мне за границу...

— Не придуривайтесь! — прикрикнул Миров.— К этому разговору мы еще вернемся. А теперь вот что...

Он вынул из ящика стола пачку фотографий.

— Посмотрите, нет ли здесь ваших друзей?

Туманов перебирал фотографии, вглядываясь в незнакомые лица. Он чувствовал на себе неотрывный взгляд Мирова, чувствовал, что следователь следит за ним, надеясь понять по выражению лица, если он, Туманов, наткнется на знакомую физиономию.

Туманову не надо было притворяться. Он откладывал одну за другой фотографии, твердо повторяя:

— Не знаю... Не знаю... Не знаю...

Вздохнув с облегчением, он взял последнюю фотографию, взглянул на нее, и очередной ответ «не знаю» застрял у него в горле.

Туманов задержал эту карточку на какую-то долю секунды дольше, чем предыдущие. Надо было мгновен-

но решать: признавать или нет. Лицо его оставалось спокойным, но пальцы, зажавшие снимок, чуть дрогнули. «Не признавать!» — решил он и протянул руку, чтобы положить на стол фотографию с теми же словами — «не знаю».

— Признание своей вины дает основание для смягчения приговора...— услышал он знакомую фразу.

Рука Туманова застыла в воздухе. Усилием воли он заставил себя взглянуть на Мирова.

— Так-то...— сказал Миров, чему-то улыбаясь.— Неужели и этого не знаете?

Только сейчас Туманова ошеломила запоздалая догадка: значит, Иван Кузьмич тоже арестован? Ведь он не видел его больше двух месяцев. Конечно, схвачен. И, судя по всему,— «раскололся».

— Знаю, этого знаю,— поспешно сказал Туманов.— Иван Кузьмич... Из-за него пропадаю, будь он проклят!..

3. СЛЕДСТВИЕ НЕ ЗАКОНЧЕНО...

О ходе следствия Миров ежедневно докладывал начальнику отдела полковнику Зарембо. Полковник встречался с молодым следователем уже много раз, поругивая его за «штатские манеры». Высокий, костлявый, в очках, Миров слегка сутулился, не было у него ни военной выправки, ни скупой и точной речи.

— Значит, признался полностью? — Зарембо отложил в сторону протокол последнего допроса.— Туманов — это его настоящая фамилия?

— Безусловно. Как видите, Трофим Антоныч, теперь этот тип уже не кот в мешке, а, так сказать, арбуз на вырез — весь как на ладони. Дело можно передавать в судебные органы.

Откинувшись на спинку кресла, полковник задумчиво смотрел в дальний, погруженный в темноту угол.

— Рано еще,— сказал он вдруг.— Это будет неправильно, абсолютно неправильно!

— Почему?

— Нельзя передавать сейчас дело Туманова в судебные инстанции. Следствие не закончено, следствие должно продолжаться...

— Не знаю, в каком направлении вести его дальше. Туманов выложил все, что знал. Легче из камня выжать воду, чем получить от него новые сведения...

— Верю. При формальном подходе у нас есть все основания считать свои обязанности выполненными, и даже неплохо выполненными. Но если подойти к делу серьезно, то перед нами еще большие возможности. Вы добились многого, но не всего...

— Чего же я не добился? — В голосе Мирова полковник уловил обиду.

— Еще раз повторяю — никто не сможет вас упрекнуть в плохом ведении этого дела. Более того, вы заслуживаете поощрения: следствие проведено энергично, быстро и результативно. Но, дорогой товарищ Миров, наша профессия весьма противоречива. Мы — юристы и по самой сути нашей профессии должны быть, в известном смысле, формалистами, если хотите, крючкотворами. Но с другой стороны — мы солдаты, мы всегда в бою! В бою с умным, хитрым, сильным противником. Скажите, всегда ли можно выиграть сражение, ограничивая свои действия только строгим, безоговорочным выполнением воинского устава и приказов командования?

— А вы считаете, что войну можно выиграть нарушением приказов? Пренебрежением к воинскому уставу?

— И верно, ты — крючкотвор! Куда повернул! Подумай вот о чем: может ли какой угодно приказ предусмотреть все особенности и неожиданности боя? И можешь ли ты назвать хотя бы два сражения, которые в точности повторяли друг друга? Воинский приказ — дело святое. Но вот тебе пример. Разведчикам приказано выявить расположение вражеской батареи. Разведали. Выполнили приказ. Но по дороге к своим захватили еще и «языка», хотя приказа не имели. И «язык» такое показал, что разведчиков именно за него и представили к награде. А по-твоему — их надо передать в трибунал!

— К чему вы ведете, Трофим Антоныч? Какое отношение имеет ваш пример к делу Туманова?

— А вот какое. Задержан шпион. Что требуется от следователя? Выяснить, кто он и что он. Ты это сделал. Сделал хорошо. Но орденов за это не дают, потому что проводить хорошо следствие мы обязаны, это элементарно. Тот, кто не умеет вести следствие в рамках узаконенных процессуальных норм, тому, дорогой друг, нечего у нас делать. Мысль моя проста. Настоящий чекист обязан всегда задавать себе вопрос: не рано ли я поставил точку, не могу ли я нанести врагу удар сильнее, удар, не предусмотренный приказом, но продиктованный обстоятельствами дела, ходом событий, возможностями? Задал ты себе такой вопрос, когда решил передать дело Туманова судебным органам?

— Я уже докладывал вам: Туманов сказал все, что знал. Благодаря ему был окончательно разоблачен так называемый Иван Кузьмич — по паспорту Сергей Власюк. К сожалению, при аресте с Власюком приключился инсульт. Нервы не выдержали. Теперь лежит в больнице. Парализована правая сторона, полная потеря речи...

— Что говорит врач?

— Дни его сочтены... Умрет, не приходя в сознание.

— Вот видишь,— сказал, как показалось Мирову,

невпопад полковник.— Рано закрывать дело. Давай-ка подумаем вот о чем. Хозяева Туманова ждут его очередного выхода в эфир. Когда назначен сеанс связи?

— На десятое июля.

— На десятое. А следующий выход?

— На двадцатое.

— Значит, десятое и двадцатое. Но Туманов в эти числа в эфир не выйдет?

— Ясно.

— И тогда там, по ту сторону, сделают естественный и правильный вывод: Туманов провалился. И в этом случае нам и впрямь не остается ничего другого, как передать его дело в суд и поставить точку. И это будет свидетельствовать не о нашей победе, а о поражении.

— Я не понимаю, к чему вы клоните, Трофим Антоныч.

— Выжать воду из камня! Ты уверен, что Туманов не был связан ни с кем, кроме Власюка?

— Абсолютно.

— Надеюсь, ты понимаешь, что кроме Туманова существуют и другие резиденты, связанные с ним. Но эту тайну, как писали романисты в прошлом веке, Власюк унесет с собой в могилу.

— Похоже, что так.

— А теперь — немного фантазии. Как заполучить человека с той стороны, знающего адрес хотя бы еще одного резидента? В наших условиях разоблачить резидента и захватить связного из-за рубежа — дело государственного масштаба. И мы не можем упустить такую возможность.

— Что вы предлагаете?

— Предлагаю, чтобы десятого июля Туманов, как всегда, вышел на связь.

— С фиктивными данными? А что дальше? Почему его выход на связь поможет нам обнаружить резидента и захватить связного вражеской разведки?

— Туманов выйдет на связь без всяких данных. Не удивляйся. Выслушай мой план. Думаю над ним давно. Советовался кое с кем. Знают о нем и в Москве. Так вот, десятого июля мы прикажем Туманову провести очередную передачу. В этот день его хозяева, как всегда, услышат знакомые позывные, затем они услышат однообразные звуки, которые довольно быстро прекратятся. Когда они расшифруют запись, выяснится, что вся передача состояла из трех букв: Ж, А, К. Жак! Одно только имя: Жак! Двадцатого июля повторится то же самое. Сначала позывные, затем — Жак! И все! Как ты думаешь, будут они озадачены?

— Конечно, это им покажется странным!

— Что же они решат, какое найдут объяснение столь странного выхода в эфир своего агента?

— Трудно сказать... Сразу ответить не могу.

— Подумай на досуге. Хотя досуга у тебя нет. В общем, сообщи Туманову, что десятого он выйдет на связь...

— Для того чтобы выстукивать эти три буквы? Но ведь шифр в наших руках. Мы можем выйти на связь сами, зачем нам посвящать в свои планы шпиона?

— Сами, без Туманова, выйти в эфир мы не можем, хотя нам известны его позывные и шифр находится в наших руках. Но ты должен знать, что у каждого радиста свой «почерк». А на приеме у шифровальных передач всегда сидит опытнейший приемщик, он без труда обнаружит, что на связь вышел не Туманов, что это не «тумановский» почерк». Тогда весь наш план бездарно провалится. В общем — готовь Туманова к передаче...

4. ВИЛЛА В ЛЕСУ

На лесную виллу Зубов был доставлен ночью в машине с потушенными фарами. За последние годы Зубов побывал на многих конспиративных квартирах больших и малых городов Западной Германии, и подобные путешествия стали для него заурядным делом. Но на этот раз он чувствовал — место, куда его везет Гессельринг, законспирировано особо, иначе к чему такие предосторожности: машину ведет не шофер, а сам Гессельринг. К тому же этот немец не позволил ему сесть рядом, а приказал сесть позади. Когда машина тронулась, Зубов обнаружил, что стекла «мерседеса» наглухо зашторены. Они ехали больше часа, но куда, по какой дороге — Зубов определить не смог.

Автомобиль остановился у небольшой, скрытой в лесу виллы. Гессельринг бесшумно открыл парадную дверь и нажал на выключатель. Зубов увидел пустой, полутемный холл. Усвоенные в школе диверсантов правила не позволяли ему задавать вопросов, и он молча ждал распоряжений насупленного Гессельринга.

— Можете спать,— сказал Гессельринг и, звякнув ключами, открыл незаметную в полутьме дверь.

По витой металлической лестнице они поднялись в небольшую, узкую, как щель, комнату, где кроме деревянной кровати стояла только низкая тумбочка. На тумбочке, сияя золотом тисненого креста, лежала Библия. Высоко, под самым потолком, горела неяркая лампа дневного света. Всегда розовое лицо немца при этом свете казалось желтым, с каким-то зеленовато-мертвенным отливом. Зубов вспомнил советских пленных в концентрационных лагерях. Их лица выглядели так при ярком солнечном свете.

— Спите! — скорее приказал, чем предложил, Гессельринг.— Ждите меня утром.— Не простившись, тяжело ступая, он вышел из комнаты.

Зубов слышал его шаги, слышал, как внизу дважды повернулся ключ в замочной скважине: немец закрыл дверь, ведущую в холл. Зубов оказался взаперти. Это усилило его беспокойство. Почему его заперли? Что это значит? Но он тут же вспомнил лекции в школе диверсантов, где так много говорилось о методах психологической обработки «объектов». Зашторенный «мерседес»... Угрюмое молчание Гессельринга... Демонстративно запертая дверь в холл... Все это направлено на подавление психики «объекта», которым на этот раз оказался он сам. Но каково же будет задание, если они сочли нужным провести такую предварительную обработку? Этот вопрос тревожил и одновременно разжигал любопытство Зубова.

Он разделся, по привычке спрятал под подушку пистолет и раскрыл наугад Библию. «И будешь посмеянием и поруганием, примером и ужасом у народов, которые вокруг тебя...» — прочел он слова пророка Иезекииля. Глупости! Захлопнув Библию, он хотел потушить свет, но выключателя в комнате не было. «А, дьявол! Теперь я не усну!» — подумал он, и сразу же, точно Гессельринг там, внизу, подслушал его мысли, свет погас.

Но и в темноте Зубов долго не мог уснуть. Он слышал, как к вилле подъехала машина, должно быть, прибыл тот, с кем предстоит встретиться утром. Как ни странно, но с приездом неизвестного Зубов успокоился. Почему, собственно, он решил, что задание будет какимто особым? Скорее всего, его ждет обычное задание, связанное с очередным проникновением в Восточную зону Германии. Маршрут знакомый, отработанный,

и нечего волноваться. Во всяком случае, сейчас надо заставить себя заснуть: неизвестно, как рано явится за ним Гессельринг.

* * *

— Он наверху, мистер Гоффер,— доложил Гессельринг, предупреждая вопрос начальника.

— Хорошо.— Широкоплечий, коренастый Гоффер опустился в кресло.— Вы считаете этот выбор удачным?

— Безусловно. До войны он жил в районе объекта «Ц», отлично знает эту местность, в частности все особенности рельефа берега.

— Задание сложное. Хорошо ли он натренирован?

— Отлично! Натаскан лучшими инструкторами. Лодкой управляет блестяще. С аквалангом чувствует себя в воде как рыба. Затопить и поднять шлюпку-двойку для него не проблема.

— Последнее — особенно важно.

— Кроме того, он обладает еще одним драгоценным качеством.

— Именно?

Гессельринг усмехнулся:

— Грехи его перед Советами таковы, что пощады ему не будет. Живым он не сдастся ни при каких обстоятельствах.

— Знаю... Значит, он уроженец тех мест?.. В этом не только сильная, но и уязвимая сторона такого выбора.

— Вы опасаетесь, что его могут опознать?

Гоффер молча кивнул головой.

— В Центре об этом думали и пришли к заключению, что такое предположение не имеет реальных оснований.

— Объясните.

— Первое. За эти четырнадцать лет Зубов неузнаваемо изменился. Тогда ему было двадцать — безусый мальчишка, сейчас — облысевший господин. Это первое. Второе. По точным сведениям, немцы, отступая из квадрата «Ц», расстреляли в сорок четвертом году всех жителей его деревни. Спастись никому не удалось.

— Это уже лучше. Такой способ избавиться от свидетелей вполне надежен. Но в данном случае, в данном случае... вы понимаете?..

— Понимаю. Вас смущает, что среди расстрелянных могли оказаться и близкие Зубова?

Гоффер снова молча кивнул головой.

— Ну и что? Зубов может нас ненавидеть, проклинать, но он в наших руках, при всех обстоятельствах будет служить нам, только нам. И вы знаете почему...

— Разумеется.

— Он не догадывается, что нам это известно...

— Тем лучше. Сегодня узнает. Покажите мне позицию советских пограничных кораблей.

Гессельринг вынул из ящика стола сложенную карту и раскрыл ее.

— Вот этот квадрат.

Даже при самом беглом взгляде на карту Гofферу стало ясно, что высадка агента вблизи объекта «Ц» почти исключена. Корабли расположены так, что их локаторы и звукоуловители могли засечь работу мотора в любом пункте квадрата. Наиболее удачным местом для высадки казалось скалистое побережье в пятидесяти километрах от объекта. Но тогда Зубову придется пробираться к месту встречи не менее двух суток. Это — огромный риск. Пройти в пограничном районе, по безлюдной местности, пятьдесят километров и не обратить на себя внимания — невозможно.

— Будем надеяться на провидение, — сказал Гоффер.— На провидение и на науку.

— То есть?

— Наука должна точно определить ночь, когда на море разразится гроза. А провидение должно оградить господина Зубова от непредвиденных неприятностей и неожиданностей.

Гессельринг не отрывал от карты хмурого взгляда:

— Вы правы. При создавшихся обстоятельствах гроза — единственная наша надежда. Локаторы, звукоуловители — вся эта аппаратура работает в грозу ненадежно и путано. Небольшая шлюпка с приглушенным мотором имеет реальные шансы остаться необнаруженной...

— Остановимся пока на этом варианте. А теперь изложите суть дела для звукоархива.— Гоффер поднялся с кресла, подошел к стене, не глядя нащупал замаскированную кнопку. С этой минуты вмонтированный в стену магнитофон фиксировал все, что произносилось в комнате. Гессельринг откашлялся и начал приглушенным голосом:

— Советы развернули в квадрате «Ц» гигантское строительство. Все косвенные данные, а также чрезвычайные меры предосторожности, предпринятые советскими органами, свидетельствуют о том, что строительство, безусловно, имеет важный военный характер. Но мы можем только догадываться об этом. Точных данных у нас нет. Командный состав строительства — инженеры, техники, проектировщики — набирался здесь, к сожалению, не по анкетным данным. Из-за этого лишь одному нашему агенту удалось прочно внедриться в группу ведущего конструктора. Но пока что он выполняет задания, по которым никак нельзя составить себе представление о профиле объекта. Это обстоятельство лишний раз подчеркивает, какой тайной окружено новое строительство. Тем не менее мы не теряли надежды со временем узнать все, что нам нужно, наш агент достаточно опытный работник...

— Вы имеете в виду Жака?

— Да, в нашей картотеке он числится под именем Жак. Мы аккуратнейшим образом получали от него необходимые сводки. Но вот уже дважды Жак, выходя на связь в точно условленный день и час, называет пароль, а потом выстукивает только одно слово — свою кличку, вернее — три буквы: Ж, А, К. Жак!

— Вы думаете, что это психическое заболевание?

— Другого объяснения не нахожу.

— В таком состоянии он может наделать нам столько бед...

— Достаточно и одной, мистер Гоффер.

Гоффер сидел как деревянный, выпрямив спину, положив на колени широкие, безжизненно белые руки.

— Ликвидировать! — коротко бросил он, не меняя позы.— Конечно, при условии, если Жак болен психически. Гитлер был прав, уничтожая психически неполноценных. Но мы должны быть уверены, что Жак действительно болен...

— Вы допускаете...

— Возможен и другой вариант. О нем вы узнаете из моего разговора с Зубовым. Давайте его сюда...

Гоффер встретил Зубова широкой приветливой улыбкой. Зубов насторожился. Он уже знал по опыту: чем шире улыбки начальников, тем опаснее задание.

— Познакомимся, господин Зубов,— дружелюбно начал Гоффер.— Моя фамилия Гоффер. Карл Гоффер...

«Врет!» — подумал Зубов. Гоффер говорил по-немецки с таким акцентом, что Зубов, проживший в Америке два года, сразу понял: «Американец!»

— Надеюсь, вы вполне здоровы, господин Зубов?

— Не совсем, господин Гоффер.— Зубов почувствовал приступ неодолимого желания разозлить этого

немецкого американца или американского немца.— Не совсем. Страдаю бессонницей...

— Вот и отлично, вот и отлично! —радостно сказал Гоффер.— Все как нельзя лучше!

— Раньше вы не жаловались на здоровье,— заметил Гессельринг.

— Не думал, что вас это интересует...

— Здоровье наших людей нас всегда интересует, господин Зубов,— проникновенно сказал Гоффер.— Значит, бессонница? Нервы?

— Должно быть, нервы...

— Вот и отлично, вот и отлично.— Гоффер потер руки.

Гессельринг скосил глаза на шефа: «Чему он радуется?»

— Небольшое путешествие по морю укрепит ваши нервы,— продолжал Гоффер, широко улыбаясь расплющенными губами, но глаза его оставались пустыми и холодными.— Морской воздух делает чудеса. Вы будете спать как убитый.

«Как убитый... убитый...» — Зубова резанули эти слова.

— Итак, слушайте... Вам предстоит небольшое путешествие к родным берегам. Кратковременный визит в Россию. Готовы ли вы к этому? — Он снова расплылся в улыбке и, не ожидая ответа, сказал: — Подойдите к столу, покажите на карте, где вы жили до войны.

Зубов склонился над картой и не без труда нашел рыбачий поселок, откуда его провожали в армию.

— Вот... Здесь...

— Отлично! — Должно быть, это слово было самым ходовым в лексиконе Гоффера. Он свернул карту, под ней оказалась другая. Зубов увидел знакомые названия деревень и поселков, но некоторые точки на карте на-

званий не имели. Вместо названий стояли буквы. Палец Гоффера уперся в букву «Ц».

— Знакомо вам это место?

Зубов пробежал глазами по названиям вокруг буквы «Ц».

— Да. Это километров двадцать от берега.

— Правильно. Так вот, на этом месте русские строят секретный объект.

— Моя задача?

— Не особенно трудная, но ответственная, очень ответственная. В трех километрах от пункта «Ц» — вот здесь — находится поселок Радуга. В нем живут строители и работники этого объекта. Главная улица в поселке, разумеется, называется проспект Ленина.— Гоффер усмехнулся.— В каждой деревне — проспект Ленина! Так вот, в доме номер шестнадцать по проспекту Ленина живет некий гражданин. Все данные о нем, включая имя, отчество и фамилию, вы получите от господина Гессельринга. Ваша задача: выяснить, каково здоровье этого человека. Есть подозрение, что он болен... психически... А между тем он располагает многими тайнами. Он сносился с нами при помощи сложнейшего шифра. Вы понимаете, что случится, если этот шифр попадет в руки советской контрразведки?

— Понимаю...

— Так вот, этого допустить нельзя.

— Я должен раздобыть этот шифр?

— Имейте терпение выслушать меня. Допустим, вы раздобыли шифр, хотя, откровенно говоря, я не представляю, как вы его раздобудете. Но вы помните, что я сказал: кроме шифра он владеет и другими тайнами. Достаточно того, что он знает адрес и пароль одного нашего резидента в Ленинграде. В состоянии безумия он может провалить его. А между тем этот

резидент, в случае войны, для нас дороже целой дивизии. Вот почему мы решили принять срочные меры и поручить вам провести так называемую операцию «Ц».

— Из всего, что вы сказали, ясно одно: я должен ликвидировать этого психа.

— Вы догадливы, господин Зубов. Но...— Гоффер сделал паузу и повернулся в сторону Гессельринга.— Но загадочное поведение этого человека может быть вызвано и другими причинами. Возможно, что в силу каких-то обстоятельств он лишился шифра или доступа к нему. Значит, никаких шифрованных донесений он передавать не может. Что же ему делать при таких обстоятельствах? В этой ситуации он нашел выход. Он дает нам понять, что находится на свободе, но вести передачи не может. Допускаете вы такой вариант? Если допускаете, то какой вы делаете вывод, как надо поступить в этом случае?

— Все равно ликвидировать! — отрезал Зубов.— Агент, который не сберег шифра, не агент, а дерьмо! От таких нужно избавляться быстро и решительно...

Гоффер взглянул на Зубова с пристальным любопытством:

— Характеристику, данную вам Гессельрингом, вы оправдываете. Но такое решение пока что противопоказано интересам нашего дела. Сегодня этот человек еще нам нужен, при условии, что он находится в здравом уме. Итак, господа, требуется определить характер действий для двух разработанных нами вариантов. В случае первого варианта — все ясно: агент должен быть уничтожен. Для второго варианта решение такое: а) выяснить судьбу шифра, б) в случае необходимости снабдить агента новым шифром.

— И самовоспламеняющейся капсулой,— вступил в разговор Гессельринг.— В последнем донесении Жак энергично требовал снабдить его капсулой.

Гоффер одобрительно кивнул головой:

— Это будет эффектно! Устроить грандиозный пожар накануне пуска объекта! Итак, господин Зубов, готовьтесь в путь. Вариант второй осуществите так. Между семью и половиною восьмого утра этот человек отправляется к автобусной стоянке. К восьми он должен быть на объекте. Человек будет опираться на черную самодельную трость с белым костяным набалдашником. Подойдете к нему и зададите шаблонный вопрос. Запомните фразу: «Тысяча извинений, дорогой товарищ, нет ли у вас зажигалки?» Понятно, что при этом у вас в зубах должна торчать советская папироса.

Зубов невесело усмехнулся:

— Во всех рассказах шпионы просят прикурить...

— Потому что это жизненно. На оригинальность у разведчиков нет права. Разве вас этому не учили?

— Учили... Меня всему учили...

— Спросите о зажигалке,— продолжал Гоффер.— Он ответит: «Зажигалки нет, есть отменные спички». Запомнили?

— Да...

— Закуривая, скажете только одно слово: «почта». И разойдётесь. Он к автобусу, вы — в лес. Муравьиный овраг в лесу помните?

— Да...

— Дуб в овраге? Он там единственный. Помните?

— Да...

— Отлично. У подножия дуба высится огромный муравейник, самый большой в овраге.

— Знаю. Он был и при мне...

— Вам придется слегка потревожить ваших старых знакомых. В верхушку муравейника сунете коробочку с двумя капсулами. В одной будет шифр, в другой — самовоспламеняющаяся смесь. До темноты отдохнете в зарослях, поспите, а ночью вернетесь на корабль. Он

будет вас ждать двое суток. Вернувшись сюда, вы обнаружите, что ваш текущий счет увеличился на две тысячи долларов.

— Да, но...

— Вас что-то тревожит? — Гоффер уставился на Зубова испытующим взглядом. Жалоба на бессонницу обеспокоила Гоффера. При таком важном задании агент не должен терять душевного равновесия.

— Предпочту любое задание, в десять раз опаснее, лишь бы не ехать в эти места...

— Почему?

— Мне трудно объяснить...

— Опасаетесь неожиданных встреч? Старых знакомых?

Горькая улыбка скользнула по губам Зубова.

— Кто меня узнает? Одногодки погибли на войне, живые считают меня мертвым. Но есть два человека... Они узнают меня всегда... Мать... Отец...

Гоффер бросил мимолетный взгляд на Гессельринга и доверительно опустил руку на плечо Зубова

— Дорогой друг... Ваше состояние... Мы понимаем... Конечно... Но поймите и вы нас... Другого выхода нет. Для этой операции вы идеальная кандидатура. Вы знаете там все. Никто не сможет лучше вас выбрать место для высадки, ориентироваться на берегу. Это же так? — Не давая Зубову ответить, он продолжал: — Представьте худший вариант: вы встречаете отца и мать. Они узнают вас. На этот случай в запасе должна быть легенда, объясняющая и ваше долгое отсутствие, и ваше появление в Советском Союзе. Господин Гессельринг думал об этом и разработал основную канву вашей легенды. Она мне кажется приемлемой. Повторяю еще раз: другого выхода нет.

Зубов молчал.

— Кажется, я не убедил вас? — Голос Гоффера прозвучал зловеще и глухо.— На всякий случай хочу вам сказать... Изредка нашим агентам приходит на ум шаловливая идея: явиться в советские органы, распустить слюни и рассказать, как и почему они попали в Советский Союз. На них, видите ли, нападает приступ раскаяния. Понятно, рассказывая историю якобы вынужденного грехопадения, они почему-то опускают некоторые детали своей биографии. Так вот, не советую вам подвергаться подобному искушению. Для вас это не подходит, господин Зубов. Для вас это будет означать кратчайший путь на тот свет. Поняли, о чем я говорю?

— Нет...

— Материалисты утверждают: ничто в мире не исчезает. В этом они правы. Сейчас вы убедитесь.— Гоффер вынул из бумажника небольшой листок и протянул Зубову: — Взгляните на эту фотокопию...

На виске Зубова набухла фиолетовая жилка, руки безвольно повисли. Гоффер с нескрываемым удовольствием наблюдал за ним.

— Не пугайтесь, мой друг,— голос Гоффера звучал ласково.— Просто учтите: если вам придет в голову странная мысль — разыграть в России роль кающегося грешника, то эта бумажка, где красуется ваша подпись, окажется в распоряжении Комитета государственной безопасности Советского Союза. После этого вы довольно скоро встретитесь в аду и с комендантом львовского лагеря и с теми, и не только с теми коммунистами, которых казнили благодаря... Впрочем, вы лучше меня знаете, почему их казнили. Надеюсь, вы меня поняли? О подробностях вашего путешествия вас проинструктирует господин Гессельринг. От души желаю вам благополучного возвращения. До скорой встречи.

Он протянул Зубову широкую ладонь и ободряюще улыбнулся.

— По возвращении не забудьте наведаться в банк. Это вам доставит удовольствие.— И, помахав рукой, он вышел из комнаты. Вскоре послышалось урчанье машины — шеф покидал виллу.

— Теперь слушайте меня,— начал Гессельринг.— Вы должны знать: развлекательных прогулок в Советский Союз у нас не бывает. Теоретически всегда существует ничтожный процент провала. Если вас схватят живым, раненым или в беспамятстве — коммунисты выжмут из вас все, что вы знаете. И адрес резидента, которым я вас снабжу, и пароль для явки, они узнают, кто вы, откуда, как и кем заброшены. Повторяю, вам придется выложить все! Но этого допустить нельзя, понимаете, нельзя!

— К чему вы это говорите?

— Вы должны иметь при себе отравленную иглу. Где и как ее хранить — вы, конечно, знаете.

— Знаю...

— Уверен, что она вам не понадобится. Но на всякий случай... Вы слышали слова Гоффера: если вы окажетесь во власти Советов — они немедленно получат тот самый документ, который вы только что видели в его руках. Что последует за этим — вам, конечно, понятно?

— Понятно... Но скорее я размозжу себе голову, чем отдамся живым в советские лапы!

— Отлично. Перейдем к разработке деталей вашей поездки...

5. ОТКУДА ПОЯВИТСЯ НАРУШИТЕЛЬ?

Совещание проводил полковник Зарембо. Кроме него в кабинете находились еще три человека: капитан Миров из Комитета госбезопасности, начальник погранич-

ного отряда подполковник Громов и представитель морских пограничных сил кавторанг Янов.

Все четверо стояли у стены, рассматривая карту морских границ Советского Союза. Говорил Зарембо. Его глуховатый голос звучал, как всегда, спокойно, но по тому, как часто он делал паузы, товарищи догадывались о его волнении.

— Есть основания полагать...— Зарембо отошел от карты и потянулся к столу за папиросой.— Есть основания полагать, что в районе Семерки не сегодня-завтра появится нарушитель. Несомненно, что человек этот достаточно опытен, и конечно...— Зарембо сделал паузу.— И, конечно, у него есть явки... Возможно, что нарушитель снабжен шифром для передачи его резиденту, орудующему на Семерке. Задача наша ясна: задержать нарушителя.— Он машинально разминал пальцами папиросу, не замечая, что из нее крошится табак.

— Разрешите вопрос? — спросил Громов.— Существуют ли обоснованные предположения о путях проникновения нарушителя через нашу границу? Откуда его ждать: с моря, воздуха или суши?

— К сожалению, нарушитель почему-то не счел нужным сообщить нам, какой вид транспорта он предпочитает. И поэтому мы должны ждать его отовсюду. Это, конечно, хлопотно, но что поделаешь!..

Громов покраснел. Он знал манеру полковника «воспитывать иронией».

— Это как раз тот случай, когда необходимо полное взаимодействие сил,— продолжал Зарембо, делая вид, что не замечает смущения Громова.— Нарушитель может упасть с неба, может вынырнуть из воды, а может выйти из вагона экспресса. Пока что мы знаем твердо только одно: его отправную точку.

— Это уже немало,— заметил Миров.

— Надзор морских пограничников должен быть усилен,— сказал кавторанг Янов.

— Какие меры, товарищ Янов, вы считаете первоочередными?

— Думаю, прежде всего надо представить себе возможный район высадки нарушителя и, исходя из этого, решать все остальное.

— Безусловно. Продолжайте.

— Ясно, что нарушитель будет искать наименее охраняемый квадрат, то есть такой, где нет строительства военных и промышленных объектов, где нет прибрежных рыболовецких колхозов.

— Естественно...

— Значит, придется на ближайшие дни пересмотреть схему расположения пограничных кораблей... С учетом этих обстоятельств...

— Надо учесть и другое,— сказал Миров.— Будем исходить из предположения, что иностранной контрразведке известно примерное расположение наших пограничных кораблей. Это не исключено...

— Тем более необходимо пересмотреть позиции кораблей.

Зарембо подошел к карте:

— Покажите наименее охраняемые районы вблизи Семерки.

Янов обвел указкой несколько голубых квадратов.

— Итак, решено — охрану усиливаем здесь. А что скажет подполковник Громов?

— На этих же участках будут усилены и береговые дозоры. Полное, так сказать, взаимодействие...

— У вас, товарищ Миров, будут замечания?

— Только одно: усиливая охрану в одних местах, не ослаблять ее в других.

Все улыбнулись.

— Это идеал, к которому мы всегда стремимся,— сказал Зарембо,— но, как известно, идеалы чаще всего недосягаемы...

6. МИРОН ПРЯХИН

Вот уже несколько дней, как большие и малые беды ворвались в дом старого рыбака Мирона Пряхина. Началось с того, что сын и невестка решили бросить колхоз и уехать в город.

— В городе нам будет лучше, папаша,— объяснял Василий.— Плотник в городе — фигура. Понимаете, папаша, фи-гу-ра! Потому как там мировое строительство!

— Чего нам здесь киснуть? — подхватила невестка. — В городе водопровод, гастроном, кино, в парикмахерской укладку на голове делают...

— Обезьяне хоть корону напяль — все одно макакой останется,— хмуро сказал Мирон Акимыч.

— Это как понимать?! — завопила невестка.

— Нехорошо, папаша,— сказал осуждающе Василий.— Мы к вам, можно сказать, всей душой, а вы к нам чем? Устроимся в городе и вас выпишем. Чего тут, на отшибе...

— Это ты будешь на отшибе! Мне твоей жалости не надо! А колхоз бросать — не имеешь права. И отца в старости бросать не положено.

— А макакой обзываться положено?— всхлипнула невестка.—Некультурный вы человек!..

— Не встревай! — цыкнул Василий.— Я из-за Дроздова ухожу! Понимаешь?! Он из меня душу вымотал! А вы, папаша, должны за меня держаться. Один я у вас...

— Один... — старик тяжело вздохнул. — Один...— Взгляд его остановился на фотографии, пришпиленной

к стене над комодом. Оттуда весело глядел подросток с озорными глазами, с таким же, как у Васьки, круглым подбородком. Это был старший сын Петр, погибший на войне осенью сорок первого года.

Васька понял, о чем думает отец.

— Держаться, папаша, надо за живого,— степенно сказал он.— От мертвых какая помощь?

— А мне и от тебя не надо помочи! — взорвался старик.— Скатертью дорожка! Проживу без вас!..

Разговор кончился совсем худо. Молодые уехали не простившись, не оставив адреса.

А вскоре — новая беда. Явился председатель колхоза «Волна» Дроздов. Дрозд (как его прозвали в колхозе) славился своими длинными речами и пристрастием к трудным иностранным словам, которые он выговаривал со смаком, без запинки. Из-за обилия этих слов речь его не всегда была понятна, но кое-кто принимал это за образованность. Разговаривая с колхозниками, Дрозд частенько прибегал к военной терминологии, хотя в армии быть ему не пришлось, потому что всю войну он прослужил где-то начальником районной инспекции пожарного надзора.

Дрозд не любил Мирона Акимыча. Его раздражала бесцеремонность, с которой ершистый старик критиковал его туманные речи.

Он пришел под вечер. Не здороваясь, не сняв кепки, коротко заявил, что осенью колхоз заберет у Пряхина приусадебный участок.

Мирон Акимыч не сразу понял, о чем он говорит.

— Участок нарезан Василию,— пояснил председатель.— А он проявил себя дезертиром трудового фронта. Посему мы принимаем дисциплинарные меры. В целях воспитания. Чтобы все было в соответствии!

— Выходит, мне живьем в землю ложиться?

— Действуй по обстоятельствам! Предупреждаю: участок пустим под озимые. Раз сказал — два не буду!

— А вот посмотрим! — взъелся старик.—Напишу в газету, живо тебя под зёбра возьмут! Обязан чуткость народу оказывать!

— Газеты не боюсь — сам писывал. Даю последний ультиматум: в октябре участок заберем.

— Не пугай — пуганы! Лодка есть, перемет цел, наше поле — море: дает рыбу, дает хлеб...

— Погоди, погоди! Твою же лодку шторм весной разбил.

— А у меня Васькина осталась.

— Васькина? Признаёшь?

— Чего мне таиться, не краденая...

— В такой ситуации упомянутая выше лодка подлежит безоговорочной на-ци-о-на-ли-за-ции.

— Чего-чего? Опять туману напускаешь?

— Простых слов не понимаешь. Объясняю: лодку заберем!

— Это как же так? На каком основании?

— В соответствии! Васька твой — отпетый хлюст. Увез в город колхозный рубанок! Уголовно наказуемое деяние! А ты и адрес его маскируешь. Значит — соучастник. Так что прямо говорю — лодка переходит на колхозный баланс. Вернет Васька рубанок — получишь лодку! Раз сказал — два не буду!

И, хлопнув калиткой, председатель зашагал в контору.

Мирон Акимыч тяжело опустился на скамью. «Не может того быть,— успокаивал он себя.— Что же мне, с протянутой рукой идти или к Ваське с поклоном тащиться?» При одной мысли об этом узловатые пальцы старика сжимались в тугие кулаки. «Не дождется Васька! Помру — не поеду!»

В тот же день к старику явился колхозный механик

Павел — совсем юный паренек — и сообщил, что лодка по приказу председателя отведена к колхозному причалу.

— Председатель приказал весла принесть,— сказал парень, стараясь не смотреть старику в глаза.— Чтобы седни же...

— Весла?! — закричал Мирон Акимыч и сорвался с голоса.— Сжег я весла, сжег! Так и скажи!..

В ту ночь старик не сомкнул глаз. Раскаленные молнии полосовали черное небо, шатался от громовых раскатов старый пряхинский дом, и прямые, как струны, упругие струи дождя неумолчно стучали по ржавому железу крыши. Только к рассвету с моря дохнул ветер, разорвал нависшее над землей сырое пухлое небо, и большие утренние звезды, как золотые пчелы, вынырнули из рваных свинцовых туч.

Старик не спал. Злоба с Васьки перекинулась на Дрозда, с Дрозда — на колхозные порядки, с колхоза — на весь божий мир. «Лишить рыбака лодки! Где это видано? О чем думают власти?! Кто это позволил такое? И про Ваську не верю! Не было воров в роду Пряхиных!..»

Горькие мысли Мирона Акимыча прервало жалостное блеяние козы. Старик забыл покормить с вечера Машку.

Хмурый, невыспавшийся, с тяжелой головой, он вышел во двор. У порога стояла Машка. Уставившись на старика желтыми стеклянными глазами, коза укоризненно заблеяла.

— Сейчас, сейчас,— сказал виновато старик.— Дай ополоснусь...

Коза пристально следила за хозяином. Повозившись у рукомойника, старик снял с забора длинную веревку.

— Пойдем харчиться на гору, — сказал он. — Эх, кабы лодка! Без лодки — рыба в реке, да не в руке!

Он вывел козу за калитку и слегка шлепнул тяжелой ладонью по лохматой шее. Машка весело зацокала копытцами по знакомой дорожке. Она семенила впереди, изредка оглядываясь, как бы делая вид, что сама ведет старика на веревке и смотрит, чтобы тот не отстал.

— Здесь я, здесь! — говорил Мирон Акимыч, горько усмехаясь.— Куда мне теперь без тебя?..

Машка знала, что ее ждет сочная, сладкая трава. Голод гнал ее вперед, она нетерпеливо дергала туго натянутую веревку.

По извилистой, каменистой тропинке они поднялись на зеленую гору, тяжело нависшую над узкой затененной полосой берега. Старик отпустил веревку, и коза принялась жадно выщипывать сочную траву.

Взошло утреннее розоватое солнце и растопило остатки ночной прохлады. День обещал быть безветренным и жарким, но старика ничто не радовало. Отъезд Васьки, страх остаться без приусадебного участка, а главное, потеря лодки — все это наполняло его злобой. Ему казалось, что он живет среди врагов, которые только и думают, как бы сжить его со свету.

— Унижения моего хотят, — бормотал он, не замечая, что говорит вслух.— Жизнь прожил — не унижался, умру — не унижусь. Мне бы только лодку! Я бы тогда на всех на вас...

Услышав голос хозяина, Машка подняла голову и, продолжая похрустывать вкусной травой, уставилась на старика янтарными зрачками.

Солнце поднялось выше, лучи его коснулись моря. Старик тяжело вздохнул и вытащил кисет с самосадом. Грубыми, непослушными пальцами он неторопливо набивал трубку, поглядывая на золотую переливчатую дорожку, уходящую далеко в открытое море. Сколько раз видел Мирон Акимыч с этой горы вызолоченную восходящим солнцем дорожку. Он уже давно перестал ее за-

мечать, но сегодня что-то заставило его задержать свой взгляд на мерцающих бликах воды. Казалось бы, дорожка такая, как всегда, но было в ней что-то необычное для глаза.

Держа в руке нераскуренную трубку, старик смотрел на море, стараясь понять, что же изменилось в такой привычной для него картине. И вдруг догадался: близ берега ровная гладь воды непрерывно рябит.

Мирон Акимыч подошел к обрыву. Смотреть мешало слепящее солнце. Прикрыв глаза козырьком ладони, он долго вглядывался в воду, пока не понял, что там, на дне моря, появилось что-то такое, от чего рябит всегда гладкая на заре дорожка.

Это не удивило старика. В годы войны здесь шли морские бои, и, хотя прошло много лет, штормы все еще иногда прибивали к берегу обломки кораблей, останки рухнувших в море самолетов. Прибрежные жители, случалось, находили применение этим трагическим дарам моря. И сейчас Мирон Акимыч надеялся, что морское течение или недавний шторм принес к берегу новое напоминание о давно отгремевших боях. «Может, там такое, что и продать можно!» — подумал он.

По крутой, сыпучей тропинке старик спустился к берегу, скинул рубаху, заплатанные штаны и остался в длинных, ниже колен, вылинявших трусах. Осторожно ступая по неровной, еще прохладной гальке, он вошел в воду, сделал несколько шагов и остановился. Сквозь прозрачную воду на дне виднелись крохотные ракушки. Мирон Акимыч взглянул на свои ноги, смешно укороченные под водой, дважды окунулся и поплыл на боку, плавно загребая через голову правой рукой.

Доплыв до ряби, он опустил голову в воду, пытаясь разглядеть, что принес бушевавший недавно шторм.

Несколько секунд он вглядывался в дно, потом поднял голову, сделал глубокий вдох и нырнул. Несмотря

на свои шестьдесят лет, Пряхин все еще был выносливым пловцом и хорошим ныряльщиком.

Вынырнув, он поплыл к берегу с такой быстротой, точно увидел на дне что-то страшное. Выскочив на берег, не одеваясь, он бросился к тропинке. Мокрые ноги скользили, с шумом осыпались камни, и, прежде чем взобраться на гору, Мирон Акимыч дважды срывался, чудом успевая ухватиться за колючие кусты татарника.

Сорвав с козы веревку, старик снова поспешил к обрыву. Его охватило лихорадочное нетерпение. Ему казалось: промедли он минуту — и находка исчезнет. Там, в нескольких метрах от берега, на каменистом морском дне лежит шлюпка! Он достанет ее! У него будет лодка! Назло всем! Назло Ваське! Назло невестке, назло Дрозду, назло механику Пашке, назло всем, всем, всем! Пусть забирают приусадебный участок! Теперь он не пропадет! Надо же, как ему повезло, какое счастье привалило!

Он скатился на берег и бросился с разбегу в воду. За ним, точно змея, извивалась веревка. Доплыв до ряби, Мирон Акимыч легко подпрыгнул, в воздухе мелькнули тощие ноги, и он скрылся под водой.

Ветерок донес к берегу жалобное блеяние, но старик ничего не слышал. Все глубже и глубже уходил он под воду, пока рукой не коснулся лодки. Шлюпка лежала на небольшой глубине, отчетливо были видны ее очертания. Быстро и ловко он закрепил на носу веревку, всплыл и лег на спину. Сердце его учащенно билось, в ушах стучало, он тяжело дышал. Солнце поднялось выше, но не жгло, а согревало, и вскоре Мирон Акимыч перестал ощущать противную тяжесть в сердце, к нему вернулась привычная уверенность в своих силах. Он повернулся на бок и дернул веревку. Веревка натянулась, но лодка осталась неподвижной. Мирон Акимыч снова рванул веревку, но и на этот раз лодка не сдвинулась с места.

«Уперлась в камень,— решил старик,— по прямой не вытянешь». Он отплыл в сторону и коротким сильным рывком дернул веревку на себя. Лодка не шевельнулась. Обогнув лодку с другой стороны, он повторил рывок — и снова неудача.

Ощущение тяжести в сердце навалилось с особой силой, в ушах появился глухой шум. С каждой новой попыткой сдвинуть с места лодку он чувствовал, что слабеет, и понял, что лодку ему не поднять. Снова лежал он на спине, не зная, как быть дальше. Сообщить о находке в колхоз, попросить помощи? Нельзя! Дрозд найдет сто законов, чтоб забрать и эту лодку. Пусть уж лучше она останется на дне, пусть сгниет, пусть новый шторм разобьет ее о камни — от него никто ничего не узнает! Но нет, он своего добьется! В лодке его единственное спасение, последняя возможность утвердить свою независимость от Васьки, от председателя, доказать, что он может жить так, как ему хочется. Вот она, эта лодка, тут, рядом! Неужели упустить такое чудом привалившее счастье?!

Вдохнув полной грудью воздух, он снова скрылся под водой. Добравшись до лодки, Мирон Акимыч разглядел, что в ней лежит набитый чем-то мешок. Вытащить мешок оказалось нелегко, и он дважды хлебнул воды, прежде чем ему удалось это сделать. Вынырнув, Мирон Акимыч поплыл к берегу, понимая, что отдых на воде сейчас уже не поможет. Растянувшись на берегу, старик с нетерпением ждал, когда вернутся к нему прежние силы. Он понял, почему не смог поднять лодку: мешал тяжелый мешок, который теперь лежал на дне, рядом с лодкой. «Что в нем?» — гадал Мирон Акимыч.

Выросший на берегу моря, он с детства слышал легенды о затонувших сокровищах и, как многие прибрежные жители, верил в эти легенды. Таинственный мешок в лодке пробудил в нем неуемную фантазию. А вдруг

там золото?! Тогда по закону ему полагается немалая часть. Вот здорово! От злобы Дрозд завяжется в три узла!

Отдышавшись на берегу, Мирон Акимыч снова подплыл к заветному месту, нырнул, схватил привязанную к лодке веревку и поднялся наверх. Наполненная водой лодка медленно волочилась по дну, натыкаясь на подводные камни. Тянуть становилось труднее с каждой минутой, но теперь, когда лодка сдвинулась с места, Мирон Акимыч был полон неистовой силы. С берега могло показаться, что он не плывет, а просто бьет по воде руками, оставаясь на одном месте. Но сам Мирон Акимыч чувствовал, что берег хотя и медленно, но приближается. Еще три, ну, может, четыре метра, и можно достать дно ногами. Тогда — лодка его! Вдруг его пронзила мысль, что эти три-четыре метра ему не проплыть: не хватит сил — он утонет, и тело его никто не найдет. И Васька так и не узнает, куда делся отец. От этой мысли сжало горло, и ноги, точно на них навесили гири, потянулись ко дну. «Господи! Что же это? — в ужасе подумал старик, лихорадочно шлепая руками по воде.— Все! Конец!»

Страх, отчаяние, злоба — все в эти секунды перемешалось в его голове. «Не выпущу, не выпущу!» Никакая сила не могла заставить его теперь выпустить веревку. Лодка представлялась ему коварным и злобным врагом, с которым он вступил в смертельную схватку. Ноги его опускались все ниже, сердце билось уже где-то у горла. Обессиленный, не понимая, что он делает, Мирон Акимыч не переставал бестолково бить кулаками по воде. В последнюю минуту, когда вода дошла ему до подбородка, он вдруг почувствовал под ногами дно. Широко раскрыв рот, старик судорожно глотал воздух, еще не веря в свое спасение.

С горы донеслось нетерпеливое блеяние козы.

— Теперь заживем,— бормотал, тяжело дыша, старик.— Рыбак с лодкой не пропадет...

Радость одурманила его, когда он увидел лодку на суше. Это была легкая дубовая шлюпка-двойка, на ее корме оказался подвесной мотор, обтянутый резиной.

— Это надо же! — восхищался вслух Мирон Акимыч.— Через резину вода не просочится! Выходит, что мотор на полном ходу! Хоть сейчас запускай! — Он уперся в борт, накренил шлюпку, вода тоненьким ручейком, журча и петляя по каменистому берегу, потекла в море. Освобожденная от воды шлюпка предстала перед Мироном Акимычем во всей красе: легкая, крепкая, даже краска на банках не потускнела. «Сейчас заведу мотор, испробую!»— ликовал старик.

Лодка уже коснулась носом воды, когда он заметил в днище круглое пятно. Старик нагнулся, чтобы лучше рассмотреть его, и увидел, что это аккуратно выдолбленное отверстие. Тут же, у задней банки, лежала прикрепленная длинной цепочкой деревянная пробка.

С тихим стоном Мирон Акимыч опустился на камень. То, что казалось ему чудом, сразу объяснилось. Лодка не затонула, и не шторм прибил ее к берегу. Она затоплена, затоплена кем-то умышленно.

Кто это сделал — старик догадывался, но даже самому себе боялся признаться в своей догадке. Не раз беседовали офицеры-пограничники с жителями поселка, рассказывая колхозникам о приемах диверсантов — как они проникают на советскую территорию с суши, с воздуха и моря. Последняя встреча с пограничниками была всего неделю назад.

«Теперь шпионы и диверсанты с воздуха к нам редко являются,— объяснял лейтенант Крутов. — А почему? А потому, товарищи колхозники, что на охрану наших рубежей поставлена передовая советская наука и техника. Вражеский самолет еще за тридевять земель от

нашей границы, а пограничники с помощью специальных приборов уже засекли его, глаз не спускают и знают каждую секунду, где он, в каком квадрате. Теперь у диверсантов, у шпионов главная надежда на море. Вот, например...»

И он рассказал, как диверсанты передвигаются с аквалангами по морскому дну, как прячут под водой шлюпки, чтобы, сделав свое черное дело, поднять лодку и скрыться в нейтральных водах...

Слушая пограничника, старик тогда не придал значения его словам. Мало ли где чего бывает! Сам он за столько лет ни разу не слыхал, чтобы у их берега обнаружили такую лодку. Может, где и бывает, только не в их местах...

А теперь он сам, своими руками вытащил со дна шпионскую шлюпку. Мирон Акимыч был растерян и подавлен. Еще минуту назад он считал себя счастливым, а теперь... Снова все его имущество — старая коза.

Измученный, он закрыл глаза, чтобы не видеть проклятую шлюпку. Лучше бы ее не было! Но она лежала здесь, рядом, и он не знал, как быть дальше. Он искал лазейку для своей совести. «Может, лодка с военных времен осталась? Дуб в воде не гниет. Вот шлюпка и сохранилась...»

Он подошел к лодке, стал внимательно разглядывать ее. Доска на корме была откидная. Старик поднял доску и увидел два коротких весла. «Про этакие весла тот молодой лейтенант тоже говорил,— вспомнил Мирон Акимыч.— Короткие, из дутого металла, гребут бесшумно и такие легкие, что, сколько ни греби, руки не устанут». Но Мирон Акимыч все еще играл в прятки с совестью. А мешок? Вдруг в мешке лежит такое, что сразу станет понятно — лодка немецкая, затонула еще во время войны, значит, шпионы и диверсанты тут ни при чем? А если в мешке ценности, то ему по закону полагается

доля в деньгах. Может, на эти деньги удастся сладить себе новую шлюпку...

Заткнув пробкой отверстие, он столкнул лодку на воду, вскочил в нее и с силой заработал короткими металлическими веслами. Вода была по-прежнему прозрачная, мешок на дне казался большим и бесформенным. Мирон Акимыч прикрепил конец веревки к носу шлюпки, другой намотал на руку и нырнул...

Мешок лежал в лодке, но старик готов был снова выбросить его за борт, потому что понял уже, чем он набит. Камнями! Прибрежными камнями!

Назначение такого груза Пряхин знал. Камни служат якорем. Наполненная водой, прижатая ко дну тяжелыми камнями лодка остается на месте даже во время большого волнения...

«Вот тебе и золото! — Он тупо смотрел на большие бесформенные камни.— Значит, все-таки идти на поклон к Дрозду?! Этот накормит! Досыта! Будет тебе уха из петуха! Что же делать?»

Пряхин взглянул на море, точно ища у него ответа на свои мысли. Золотистая дорожка сместилась далеко вправо. Значит, он провозился с лодкой не меньше часа. Целый час! И с каждой минутой нарушитель уходит от побережья все дальше и дальше. Уходит, радуясь, как ловко провел он «советских растяп»...

«Пикап» остановился у тропинки. Первым из машины выскочил Мирон Акимыч, за ним выскочила вся тревожная группа — лейтенант Крутов, ефрейтор Бажич и проводник с собакой — старшина Таранов.

— Сюда! — показал Пряхин.

Пограничники бросились вниз по тропинке, из-под ног их с шумом осыпались камни и земля.

Было достаточно одного беглого взгляда на шлюпку, на весла, на обрезиненный мотор, чтобы понять: на советский берег высадился нарушитель. Крутов взглянул на часы — семь часов. С одиннадцати вечера до двух часов ночи этот прибрежный квадрат освещали прожекторы. Значит, высадка произошла не ранее трех часов утра. Четыре часа назад! За это время можно пройти километров пятнадцать. Ночью по незнакомой дороге больше не пройти.

Замаскированная телефонная точка была в двадцати метрах. Крутов связался с начальником заставы и доложил обстановку.

— Преследовать нарушителя! — услышал он приказ.

Лейтенант бегом вернулся к шлюпке:

— Преследовать! Нужен след!

На лице старшины появилась растерянность.

— Какой же след, товарищ лейтенант?! Всю ночь хлестал дождь. А на камнях, на лодке, на веслах — всюду папашины следы. Он здесь целое утро топтался. Карат на него и набросится...

Крутов и сам понимал, что в такой ситуации собаке след не взять.

— Постойте! — Как всегда в минуту озарения, лицо его приняло мальчишеское выражение.— Лодка затоплена совсем близко от берега. Мотор в исправности. Ясно: нарушитель рассчитывает снова воспользоваться ею, поднять ее со дна. Значит, у него должны быть ласты и акваланг с кислородным прибором...

— С них Карат след возьмет! — неуверенно сказал Таранов.

Услышав свое имя, собака подняла морду, стараясь поймать взгляд проводника.

— Мы его цельный день проищем, этот акваланг! — мрачно сказал Бажич.— Будем искать, чикаться, а гад уползет. Поймай его потом...

Крутов окинул взглядом берег. Нагромождения древних валунов делали его неприветливым, суровым. За два года службы на заставе лейтенант изучил здесь каждый камень. Сейчас, озирая берег, он старался представить себе, куда нарушитель спрятал акваланг. Лучшее место для этого — пещера, из которой вытекает ручей. Но о ней знают только местные колхозники. В пещеру можно вползти лишь по ручью, сквозь узкий лаз. Зато, когда вползешь, выпрямляйся во весь рост — такая она большая и просторная...

— Бажичу оставаться у шлюпки, Таранову следовать за мной,— приказал Крутов.

Они шли по самой кромке воды, чтобы видеть весь берег, надеясь обнаружить какие-нибудь, хоть самые ничтожные, изменения в знакомой картине. Пограничники знали: нарушители всегда оставляют следы, только надо уметь разглядеть их.

Они прошли более ста метров, как вдруг Карат натянул поводок и замер, уставившись в воду. Казалось, собака любуется своим отражением в непотревоженной глади воды. Но Таранов знал эту стойку овчарки: Карат что-то учуял. Чуть подрагивая, он обнюхивал камень, едва заметно выступавший из воды.

— След! Ищи след! — приказал Таранов.

Собака рванулась в сторону, сделала небольшой круг и вернулась к этому же камню. По нервной дрожи Карата, по тому, как он тянул поводок, Таранов понял: собака взяла след.

— Ищи! Ищи!

Петляя по берегу, Карат неизменно возвращался к камню.

«Не спрятан ли под ним акваланг?» — подумал Крутов. Он вошел в прозрачную воду и попробовал сдвинуть камень с места. Камень не тронулся.

— Давай вместе! — бросил он Таранову.

Камень не поддался и теперь, он намертво врос в морское дно. А собака по-прежнему не отрывала от него морды.

— Догадываешься? — отрывисто спросил Крутов.

Таранов кивнул головой:

— Шел по воде да наступил в темноте на камень...

— А дальше — опять по воде, и, конечно, никаких следов. Вот Карат и петляет. Зато теперь нам ясно направление вероятного движения нарушителя...

— Должен же он где-то выйти на берег. Тогда уж Карат не оплошает...

Пограничники снова зашагали по кромке берега. Карат вяло трусил впереди, показывая всем своим видом досаду: зачем его заставили уйти от того камня?..

Они подошли к пещере, собака легко перемахнула через ручей, вытекавший из черной пасти пещеры, и затрусила дальше. Крутова охватило сомнение, он вспомнил слова Бажича: «Мы будем искать, чикаться, а гад уползет...». Но куда же в этом направлении мог идти нарушитель? Дальше пещеры двигаться по воде невозможно. Через несколько метров начинается морская впадина — глубина у самого берега около двадцати метров. Значит, нарушитель либо утонул в ней, либо, не доходя до впадины, вышел на берег. Вышел где-то здесь, совсем близко. Но тогда должны быть следы.

Они дошли до впадины — пограничники называли ее «Балтийская Атлантида». Следов по-прежнему не было. Карат, виляя хвостом, скорбно смотрел на Таранова...

— Неужели утонул, паскуда? Надо вызвать водолазов...

— Нарушители, товарищ старшина, обычно не тонут. Но все равно мы должны обнаружить его живым или утопленником.

— Да ведь дальше-то идти некуда, товарищ лейте-

нант! Следов на берегу нет. Получается: либо он утонул, либо улетел на небо.

— Некуда ему отсюда податься,— сказал Крутов.— Пошли обратно. А собака твоя — не овчарка, а старая корова!

Старшина обиженно поджал губы, но смолчал.

Они вернулись к пещере. Из мрачного зева прибрежной скалы, сердито ворча, вытекал ручей. Крутов резко остановился.

— Давай без чудес! — обратился он к Таранову, убеждая в чем-то не только старшину, но и самого себя. — Рассуждай! Установлено: нарушитель после высадки пошел в этом направлении. Шел по воде и на берег не выходил. Иначе Карат взял бы его след. Возможны два варианта. Первый: не зная рельефа дна, он утонул в «Балтийской Атлантиде». Но отбросим этот успокоительный вариант. Второй вариант: нарушитель шел по воде не только в эту сторону, но и в обратную. Понимаешь?

— Он что, явился к нам гулять? Взад-вперед?!

— Объяснять некогда. Давай за мной!

Крутов зашагал по ручью к пещере. Теперь Таранов догадался, о чем говорил лейтенант. Значит, диверсант знал о пещере и о ручье, по которому можно попасть в пещеру, не оставляя на суше следов. Если в пещере обнаружится акваланг, значит, лейтенант прав: нарушитель дошел по воде до ручья, по ручью вполз в пещеру, спрятал акваланг и ласты, вышел по ручью обратно в море, вернулся к месту высадки и, обрабатывая порошком следы, поднялся тропинкой к лесу...

У входа в пещеру лежали два валуна. Напористый ручей, вспениваясь, яростно бился о них.

— А если он там? — прошептал Таранов.

— Тогда первый, кто сунется в пещеру, получит пулю. Придется...— Крутов выразительно кивнул на Карата.

Таранов отстегнул поводок, склонился к уху собаки, что-то сказал ей и указал на зияющий чернотой лаз. Разбрызгивая пену, Карат кинулся в пещеру. Держа наготове пистолеты, оба пограничника напряженно ждали, не раздастся ли в пещере выстрел. Бледный от волнения Таранов готов был броситься вслед за Каратом. «Ну же, ну...» — повторял он про себя, дрожа от напряженного ожидания.

Вместо выстрела они услышали тихий отрывистый лай. В переводе на человеческий язык это означало: «Порядок, задание выполнено!»

Таранов первый бросился плашмя в ручей, вполз в отверстие, выпрямился и, держа в одной руке пистолет, другой нажал кнопку электрического фонарика. Карат сидел посреди пещеры на песке и тихо взлаивал.

— Точно! — услышал старшина голос Крутова. С лейтенанта, как и с Таранова, стекала вода.— Вот он след, вся ступня отпечаталась!

— Ну-ка, старшина, посвети углы.

Таранов «прочесал» пещеру лучом фонарика.

— Так и есть! — сказал довольный лейтенант.— Этого камня в углу не было, он был на месте, где сейчас сидит Карат...

Пограничники легко сдвинули камень. Под ним, в углублении, лежали ласты и завернутый в прозрачный пластикат акваланг с кислородным прибором...

7. «РЕВОЛЮЦИЮ ДЕЛАЛИ ДЛЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ...»

В минуту опасности или волнения желтовато-смуглое лицо начальника штаба отряда Каримова теряло обычную живость, становилось неподвижным, замкнутым. Только яркий блеск черных, чуть раскосых глаз выдавал его возбуждение.

Около восьми утра Каримов, после осмотра места высадки нарушителя, появился в колхозе «Волна». Здесь уже собралась добровольная народная дружина. Каримов и прежде встречался с дружинниками, проводил не раз занятия по задержанию «нарушителей». По сигналу «тревога» дружинники в установленное время перекрывали пути к шоссе, колодцам, оврагам и станции. Они научились маскироваться на местности и, оставаясь невидимыми, держали под наблюдением весь свой участок.

— Пограничник должен иметь шапку-невидимку,— любил говорить Каримов.— Ты видишь всех, тебя — никто!

На этот раз дружинники услышали совсем другое.

— Товарищи,— начал Каримов,— около трех часов ночи у Тюлень-камня высадился опасный нарушитель. Наша задача — взять его живым, обязательно живым. Таков приказ. Брать будут пограничники. Ваша тактика такова: не маскироваться, держаться на виду. Пусть нарушитель видит вас еще издали. Оружие не прячьте, чтобы было ясно, кто вы такие. Понятно?

— Неясна основная задача, товарищ майор,— отозвался командир дружины — моторист Талов.— Держаться на виду, и всё?

— Задача обычная: не дать нарушителю добраться до станции, до новостройки, до шоссе, где он может сесть на автобус. Надо вынудить его вернуться обратно на берег. Остальное — дело пограничников. Задача ясна, товарищи?

— Ясна,— ответил за всех Пашка-механик.

— Выполняйте приказ.

Дружинники исчезли с быстротой, вызвавшей на лице майора одобрительную улыбку. В правлении колхоза

остались только Каримов и Дрозд. Каримов соединился по телефону с отрядом, узнал, что на преследование нарушителя подняты несколько застав и дружинники ближних колхозов. В радиусе двадцати километров все рубежи перекрыты.

— Проводите меня к товарищу Пряхину,— сказал майор председателю.

— К Пряхину? — Дрозд недовольно поморщился.— Парадоксальный старик, всех оговаривает. К тому же находился в заключении...

Первым в дом Мирона Акимыча вошел Дрозд. Он остановился на пороге, загородил своим грузным телом узкую дверь. Старик сидел на лавке и вязал на перемет крючки. При виде Дрозда Мирон Акимыч не встал, только вскинул вверх острую бородку и хмуро уставился на него, подчеркивая всем своим видом, что гость не радует его.

— У тебя что в ногах — подагра? — возмутился Дрозд.— К нему люди пришли, а он к скамье прилип!

— Людей не вижу! — не трогаясь с места, сказал Пряхин.— Тебя вижу, а людей не видать.

— Видите, как он выборную власть приветствует! — вскипел Дрозд и переступил порог.

Мирон Акимыч увидел майора.

— Разрешите войти, товарищ Пряхин? — козырнул Каримов.

Мирон Акимыч живо поднялся и пошел навстречу:

— Милости прошу, товарищ майор. Извиняйте, сразу не приметил. У нашего председателя тулово — сами видите — всех загораживает.

— Я вам что докладывал? — сказал Дрозд.— Слышали? Авторитет подрывает...

— Потом разберетесь. Сейчас мне надо поговорить лично с товарищем Пряхиным...— Каримов выразительно взглянул на дверь.

Председатель неохотно вышел. Лицо Каримова сразу оживилось, помолодело, в черных раскосых глазах мелькнул смешок, но, вспомнив, для чего он здесь, майор торжественно произнес:

— По поручению командования погранчасти передаю вам благодарность за проявленную бдительность!

Торжественный тон майора смутил Мирона Акимыча, он растерялся и не знал, что ответить.

— Извиняйте за любопытство,— начал он, поглаживая бородку,— кто тот нарушитель, с какой страны?

— Пока еще неизвестно, товарищ Пряхин. Но не сомневайтесь, узнаем все.

— Твердо говорите. А вдруг сбежит?

— С нами народ, Мирон Акимыч. Куда от народа сбежишь?

Старик, оправившись от смущения, ехидно хмыкнул:

— Такие слова в газетах пишут. На след-то напали? Приметы имеете?

— Пока что знаем мало. Известно, что носит сапоги сорок третьего размера.

— Откуда же это известно?

— Человек не птица, по воздуху не летает, по земле ходит. А раз ходит, значит, оставляет следы.

— Если следы на берегу замеряли, так то, может, мои. У меня как раз сорок третий нумер...

— Знаю. Могу даже сказать, что на вашем левом сапоге пора чинить каблук.

Мирон Акимыч поспешно поднял левую ногу, глянул на сапог:

— Верно! Стоптан! Надо же!

— А у нарушителя сапоги новые, скороходовские, подбиты металлическими планками. На левой планке один шурупчик малость торчит. Неаккуратно работает «Скороход».— Каримов встал.— Поймаем негодяя, на-

пишем о вас в газетах, чтобы вся страна знала, какой патриот Мирон Акимыч Пряхин.

Брови старика сердито дрогнули.

— За славой не гонюсь. Мне справедливость нужна. Без славы человек проживет, без справедливости — сгинет.

— О чем вы, Мирон Акимыч?

— О том, что ославил Дрозд моего сына вором. А в нашем роду воров не было и не будет! Лодку у меня отобрал. Отнять у рыбака лодку — это справедливо?

Каримов вспомнил слова Дрозда: «Старик всех оговаривает».

— Почему же он отнял у вас лодку?

Торопливо, боясь, что майор уйдет, старик рассказал об отъезде Васьки, о решении председателя отобрать у него приусадебный участок и «на-цио-на-ли-зи-ровать» лодку.

Майор слушал старика не перебивая.

— Это что за власть, товарищ майор, если справедливость не соблюдается? За что я в гражданскую кровь проливал? За справедливость! А какая уж тут справедливость, если у нас Дрозд верховодит?

Пряхин смотрел на Каримова, ожидая ответа,— смотрел требовательно, сдвинув густые с проседью брови, нависшие над светлыми глазами.

Каримов выслушал старика, резко поднялся, молча козырнул и вышел, хлопнув дверью.

— Рассердился, что жалуюсь,— сказал вслед ему Пряхин.— Видно, и этот не любит правду!

Злоба снова поднялась в нем:

«Революцию делали для справедливости! В гражданскую беляков в лаптях громили — для справедливости! Петр мой голову в Отечественную сложил — что-

бы справедлнвость была в мнре. А где она, справедливость эта?»

Оса настырно гудела н бнлась в оконное стекло, стремясь на волю. Пряхин подошел к окну, распахнул его н увидел Карнмова. Майор не шел, а почти бежал.

«Торопнтся. Все нынче торопкие — «драсьте» сказать некогда»,— подумал Пряхнн.

Через несколько минут мимо дома старнка пронеслась машина, за рулем сндел Каримов...

Карнмов не мог сказать старику всю правду. Чекисты уже знали, кто высадился на советский берег. В соответствующнх спнсках нарушнтель значился под условным нменем «Каин», а после этого прозвища стояло девять фамилий, н под каждой нз них — названне фашнстского концентрацнонного лагеря. Чекисты не сомневалнсь, что в списке настоящей фамнлнн Канна нет. Но теперь это не имело значення. Преступления Каина говорнли сами за себя: это был наглый, хитрый н жестокнй враг.

Поздней осенью сорок первого года Каин попал в плен. Побои, издевательства, голод, призрак неизбежной гибелн сломили его волю. Однажды при обыске в его деревянной колодке нашлн лезвне брнтвы. Каина избили и бросили на неделю в карцер. Это был бетонный гроб, залитый водой, кишащий крысамн. Пленные зналн: больше трех-четырех дней в карцере не выжить.

Ночь прошла без сна. С отвратительным визгом хлюпали по воде крысы, подбираясь к заключенному. Сняв куртку, он размахивал ею в темноте, шлепал по воде, пытаясь отпугнуть наглых тварей.

Забившись в угол, он думал только об одном — как спасти свою жизнь. Ответ пришел сразу, но, обманывая самого себя, он прикидывал в уме всякие варианты,

и все они оказывались негодными. Отсидеть неделю в карцере? Невозможно! Через три-четыре дня, ослабев от голода, он станет добычей крыс. Обглоданное крысами, его тело бросят в противотанковый ров, где уже тлеют кости многих советских людей. Покончить с собой, не дожидаясь мучительной смерти? Но как? Нет даже ремня, чтобы повеситься. Приходили на память эпизоды из приключенческих романов: убив надзирателя, заключенный переодевается в его платье и оказывается на воле. Убить надзирателя он, пожалуй, сможет: ударит парашей по голове — и все! А дальше? Из лагеря никуда не денешься, а за убийство эсэсовца подвергнут таким пыткам, что будешь мечтать о смерти, как о величайшей милости. Правда, убив эсэсовца, он смог бы овладеть его пистолетом и, прежде чем погибнуть, уничтожить не одного гитлеровца. Но это все равно не спасло бы ему жизнь, а все его помыслы были направлены сейчас только на одно — выжить! Любой ценой, но выжить! Как? Ответ был ясен. Остаться в живых можно только ценою жизни восемнадцати пленных коммунистов. Он знал их имена. Ужас перед смертью подсказывал ему подлые оправдания предательства: «Все равно им не выжить... Рано или поздно немцы узнают, что они коммунисты... Днем позже, днем раньше... А может быть, их и не казнят...» Он ухватился за эту мысль. «Зачем немцам казнить их? Немцы не дураки, понимают, что и так из лагеря никто живым не выйдет. А может, если эти коммунисты будут хорошо работать, выполнять все лагерные правила, может, они меня переживут...»

Утром, когда надзиратель швырнул ему в дверное оконце кусок эрзац-хлеба, он из последних сил забарабанил деревянной колодкой в железную дверь. От такой дерзости надзиратель сперва даже растерялся. Но, придя в себя, спросил ласковым голосом:

— Иван имеет желание быть сейчас мертвым?

— У меня важное сообщение!

— Говори, Иван. Перед смертью всегда делают важное сообщение.

— В лагере есть коммунисты. Я знаю кто!

Голос эсэсовца сразу стал отрывистым, лающим:

— Ты будешь говорить это господину штурмбанфюреру!..

Дверь в карцер отворилась через несколько минут.

— Иди, Иван. Тебя ждет господин штурмбанфюрер.

Щурясь от света, заключенный переступил порог карцера и пошатнулся,— от слабости у него кружилась голова. Надзиратель протащил пленного по коридору и втолкнул в комнату, где за большим канцелярским столом сидел комендант лагеря.

Заключенный ждал, когда заговорит штурмбанфюрер, но тот молчал, не отводя от него белесых глаз.

— Ну! Говори! — произнес он наконец.

И Каин заговорил. Быстро, шепотом, холодея от ужаса перед своим преступлением, он пробормотал восемнадцать фамилий и умолк, чувствуя, как его бьет озноб.

Штурмбанфюрер сказал что-то по-немецки эсэсовцу, тот сунул руку в ящик стола и вытащил лист бумаги.

— Подходи к столу и пиши,— сказал он пленному.

— Что писать? — Заключенный выбросил вперед руки, точно защищаясь от удара.

— Пиши! — надзиратель указал на чернильницу.

Заключенный подошел к столу и взял перо.

— Пиши! — повторил надзиратель. — Господин штурмбанфюрер приказывает писать аккуратно, чтобы все фамилии — разборчиво. И подпишись. Тоже разборчиво.

Каин написал восемнадцать фамилий и подписался. Надзиратель стоял за его спиной, шевеля губами.

Должно быть, он повторял про себя эти русские фамилии.

Штурмбанфюрер сложил вчетверо бумагу, сунул ее в нагрудный карман, буркнул что-то надзирателю и вышел.

Каин надеялся, что сейчас его выпустят, он дотащится до барака и заберется на нары, чтобы забыться сном.

— Сиди,— сказал надзиратель.—Есть приказ давать тебе кушать...

Он принес котелок гороховой похлебки и горку нарезанного хлеба. Показав на хлеб, эсэсовец криво усмехнулся:

— Ешь, Иван. Это есть награда. Восемнадцать порций хлеба. Мертвым хлеба не надо...

В барак Каин не вернулся. Он провел весь день в комнате надзирателя, а после поверки, когда все заключенные уже спали, его посадили в машину и увезли.

Утром староста барака объявил, что Каин умер в карцере.

С этого дня Каина переводили из одного концентрационного лагеря в другой. В каждом лагере у него была другая фамилия. Немцы меняли ему фамилию, биографию, профессию, но задание оставалось неизменным: войти в доверие к пленным, выявить в лагере коммунистов, политработников, евреев.

Он переходил из лагеря в лагерь, оставляя за собой удушливый смрад крематориев, стоны истязуемых, виселицы, над которыми каркающей тучей кружило воронье.

После войны Каин исчез. Его следы советские органы обнаружили в пятьдесят втором году. Он жил в одном из маленьких городков Западной Германии под именем Сергея Ивановича Зубова.

8. ОЛУХ ЦАРЯ НЕБЕСНОГО

Дрозд сидел в приемной секретаря райкома и гадал — зачем его вызвали. Сосредоточиться мешала машинистка. Стуча по старому неуклюжему «ундервуду» двумя пальцами, тетя Маша наполняла тесную приемную пулеметным треском. От этого у Дрозда гудело в голове.

Совсем недавно новый секретарь райкома впервые вызвал его для беседы и повел речь о взаимоотношении Дрозда с колхозниками, о методах его руководства, которые сводились к окрикам, угрозам и взысканиям.

— Если так будет продолжаться,— сказал тогда секретарь,— то придется поставить на бюро вопрос о вашем соответствии занимаемой должности.

От кого секретарь узнал все факты — Дрозд не догадывался, но твердо решил выявить кляузника, «прижечь ему пятки». И сейчас, морщась от стрекота машинки, он сумрачно смотрел на обитую клеенкой дверь, перечитывая — в который раз! — надпись: «Секретарь райкома КПСС Суслов Иван Вадимович».

— Печатаешь?..— начал разговор Дрозд.— А меня вот вызвали... Да... Не знаешь зачем?

— Материал на тебя! — прокричала глуховатая тетя Маша, продолжая расстреливать короткими очередями белый лист бумаги.

— Какой еще материал? — Дрозд придвинул стул к машинке.— Да перестань ты стучать! Какой материал?

— Про твои отношения с богом! — выкрикнула, не переставая печатать, тетя Маша.— Из авторитетных источников!

— Ты что? — Лоб Дрозда вызмеился морщинами.— Распространяешь инсинуацию? Будешь отвечать!

— Не слышу! — тетя Маша мотнула головой.— Не мешай! Зачем вызвали, скажет Иван Вадимыч, не утаит...

Из кабинета Суслова вышел районный агроном и весело кивнул на ходу тете Маше.

— Пока! — прогудела тетя Маша, не выпуская изо рта папиросы, и повернулась к Дрозду: — Иди, куманек, твой черед кашлять!

Дрозд вошел в кабинет, бросив исподлобья быстрый взгляд на секретаря райкома, пытаясь понять по лицу Суслова, что его ждет.

— Садитесь,— сказал Суслов, не глядя на Дрозда.

Осторожно, словно опасаясь, что из-под него выдернут стул, председатель колхоза опустился на краешек сиденья.

— Садитесь на все три точки, разговор будет длинный,— сказал Суслов, по-прежнему не глядя на Дрозда.— Рассказывайте.

— О чем прикажете информировать?

— О вашей войне с Пряхиным.

— А-а-а! Уже накляузничал. Так... Теперь все понятно. Разрешите доложить?

— Для того и вызвал.

Дрозд оглянулся на дверь, прислушался к стрекоту машинки и произнес доверительно:

— Не внушает доверия...

— Кто?

— Пряхин. Мирон Пряхин. Не внушает...

— Это почему же?

— Был репрессирован. К тому же скрывает адрес сына — расхитителя колхозной собственности. В разговорах присутствует отсутствие лояльности....

Суслов сжал веки, точно злой холодный ветер гнал в его лицо колючий песок.

— Что значит «присутствует отсутствие лояльности»? — спросил он тихо.— Говорите яснее.

— Сперва разрешите доложить о расхитителе колхозной собственности, о сыне упомянутого Мирона Пряхина...

— Меня интересует не сын, а отец. Кстати, вы знаете, что Мирон Акимыч не хотел, чтобы сын уезжал из колхоза?..

— Плохо хотел, а то бы не допустил...

— Но вы тоже знали, что Василий решил перебраться в город. Поговорили вы с ним? Объяснили, что это недостойно — бросить старого отца и укатить в поисках легкой работы?

— Не успел... Дел столько...

— А прийти к старику, обижать его — для этого у вас время нашлось?!

— В порядке государственной обязанности, по партийному зову сердца пришел уточнить позицию...

Суслов почувствовал неодолимое желание выгнать Дрозда из кабинета. Сжав под столом кулаки, он спросил тем же тихим голосом:

— Что же подсказал вам партийный зов вашего сердца?

— Полагаю необходимым конфискацию принадлежащей дезертиру лодки. А также заявил об отчуждении приусадебного участка...

— Так... Еще что?..

— Еще предложил Пряхину прекратить выпады против членов сельсовета, осуществляющих функции советской власти на местах.

— Вы имели в виду себя?

— В том числе. Меня, товарищ Суслов, избрал народ, значит, кто против меня, тот против народа. А кто против народа — тот враг народа со всеми вытекающими последствиями. Такова на сегодняшний день логика

классовой борьбы, товарищ Суслов. Нам, коммунистам, об этом надо помнить денно и нощно...

Теперь Суслов, пересилив себя, смотрел на Дрозда в упор, вернее, не смотрел, а рассматривал. Ему бросилось в глаза разительное несоответствие между внешностью и характером председателя колхоза. Пухлые красные губы, тугие румяные щеки, светло-голубые глаза,— эта внешность вызывала симпатию и расположение. «Будь у него другая физиономия,— подумал Суслов,— все давно бы поняли, что он тот самый дурак, который опаснее врага...»

Пристальный взгляд Суслова Дрозд выдержал спокойно. Он был убежден в правильности своих поступков. О колхозной собственности заботится, не пьет, с планом не мухлюет, массы воспитывает в духе уважения к закону, к партии, к советской власти. Всегда бдителен, в подозрительных случаях немедленно сигнализирует...

— Людей-то вы у себя в колхозе хорошо знаете? — спросил Суслов.

— Не сомневайтесь,— многозначительно сказал Дрозд.— Уж что-что, а это... На многих завел личные дела. Директивы такой нет, я сам, по личной инициативе! Я их личные дела назубок знаю!

— А свое дело вы знаете?

— Мое личное дело — анкеты, автобио и прочее — знают кому положено. Мое дело и вам положено знать, Иван Вадимыч...

— Мы о разном говорим, товарищ Дроздов. Похоже, что вы не знаете своего дела. Иначе почему вы из месяца в месяц не выполняете план, почему вас не уважают рыбаки?

— Народ разболтанный, не любит строгости. Однако у меня воспитательной работой охвачено девяносто один процент. Конечно, отдельные недостатки присутствуют, но мы боремся, преодолеваем...

«Это же робот, безмозглый робот,— подумал Суслов.— И как его до сих пор терпели?..»

— Значит, народ разболтанный...— Секретарю райкома очень хотелось выгнать этого розовощекого злого дурака с такими светлыми голубыми глазами.— Почему отбираете приусадебный участок у Пряхина?

— В соответствии с положением: не работает в колхозе.

— А вы предлагали ему работу?

— Нет... Уже объяснял: не питаю политического доверия. Не перестаю удивляться, почему ему позволяют находиться в пограничной зоне. Сам слышал, как он отзывался о некоторых членах капесесе нецензурным образом.

— А может, у него есть основания критиковать некоторых членов партии и даже, черт вас подери, ругать их «нецензурным образом».

Дрозд возмущенно поднялся со стула:

— Если все начнут критиковать партийных...

— Садитесь, разговор не кончен. Если все начнут критиковать — тогда и говорить не о чем! Коммунистов, которых критикуют все, надо немедля гнать в три шеи. Но Пряхин — это еще не все, и тем не менее у него есть право критиковать и вас и меня. Прежде всего виноваты перед ним вы. Вам известно, почему Пряхин хромает?

— Кажется, подбили в драке,— неуверенно сказал Дрозд.

— Правильно. В драке. Он с шестнадцати лет дрался. Дрался с Юденичем, потом с Колчаком, потом с белополяками в буденновской Конармии. В память об этих драках носит он не медали, не ордена, а пулю в ноге! Так на каком же основании лишаете вы его политического доверия?

— Уже докладывал: в тридцать шестом году Мирон Пряхин провел в заключении шесть с половиной меся-

цев, а точнее — сто девяносто восемь дней! Имею все основания для политического недоверия.

— Интересовались, за что его арестовали?

— Зря у нас не сажают! Это уж — безошибочно!

— Но его-то освободили. Значит, ошибка все же была?

— Это неизвестно. У органов могут быть свои соображения. Вот вас же почему-то не арестовали и меня не тронули, а его взяли. Над этим нужно задуматься, сделать выводы, товарищ Суслов. Тем более, что мы живем и работаем в пограничной зоне. С нас партия и народ требуют особой бдительности. Вы сами об этом говорили на партийной конференции.

С каждой минутой Суслову становилось труднее сдерживать яростное желание заорать, затопать ногами на этого человека... «Не распускайся, не распускайся!» — приказал он себе и заговорил медленно, с трудом выдавливая из себя слова:

— Он был арестован по недоразумению. Его дальний родственник — Михаил Пряхин — участвовал в Кронштадтском мятеже, а взяли Мирона Пряхина. И взяли потому, что нашлись люди, которые рассуждали вроде вас: дескать, зря у нас не сажают. И поэтому его продержали не три-четыре дня, а сто девяносто восемь дней, как вы точно подсчитали...

— А может, он знал об этом контрике? Знал, да не сообщил? Выходит, что он и виноват. Пусть он мне докажет, что ничего не знал и связей не имел! А без этого я ему политически не верю.

— Не верите? Подведем итог, оглянемся на его жизнь. В юности он бросил родной дом, спокойную жизнь, чтобы в битве с врагом отстоять самую справедливую власть на земле — советскую власть! Дважды валила его пуля, дважды, не долечившись, он снова брался за винтовку и саблю! Какую же награду получил он

за это? На войне потерял старшего сына, а теперь и младший бросил его, как ненужную ветошь! А коммунист, представитель местной власти товарищ Дроздов чинит над ним произвол! — закричал, не сдержавшись, Суслов, но тут же устыдился своего крика и снова заговорил тихо, избегая смотреть на председателя колхоза: — Как же вы посмели обидеть такого человека, да еще в такую минуту? Вместо того чтобы помочь ему добрым словом, делом, вы отобрали у него лодку и хотите еще отнять приусадебный участок! А ведь вы для него — представитель власти, партии. Что же теперь прикажете ему думать о советской власти, за которую он проливал кровь?!

— Действовал по закону,— убежденно ответил Дрозд.

«Безнадежный!» — с тоской подумал Суслов и встал.

— Ну что ж, товарищ Дроздов, видно, общего языка нам с вами не найти. Я вас уже предупреждал...

— О Пряхине не предупреждали...— Дрозд стоял по другую сторону стола, в голубых глазах его застыли настороженность и подозрение.— Зря берете под защиту родню врага народа,— сказал он.— Сводку о выполнении плана прикажете прислать?

— В следующий четверг — бюро райкома. Будете отчитываться. Но разговор пойдет не о рыбе, а о людях...

Дрозд вышел из кабинета в мрачном настроении. Было ясно: в следующий четверг на бюро райкома будет поставлен вопрос «О несоответствии Дроздова А. Б. занимаемой им должности».

Увидев его, тетя Маша перестала долбить машинку и потянулась за папиросой.

— Вы меня дез-информировали, товарищ Лапова,— злобно сказал Дрозд.— Болтали, что материал на меня в связи с религией...

— Факт! — сказала простодушно тетя Маша.— Сама слышала, как про тебя говорили...

— Кто?

— Майор-пограничник.

— Что же он сказал? Кому?

— Ивану Вадимычу. Сказал, что ты олух царя небесного!..

9. НА РОДНОЙ ЗЕМЛЕ

Зубов выбрался из пещеры и, неслышно ступая по воде, направился к месту высадки. Он был встревожен: высадка произошла не в час ночи, как было намечено, а около трех. Помешали прожекторы: голубые лучи высвечивали каждый камень прибрежной полосы. Пришлось болтаться в море, ждать, когда прожекторы начнут бороздить другие участки берега. На это ушло почти два часа. Значит, к семи утра в Радугу уже не попасть и встреча с Жаком произойдет только под вечер, когда строители Семерки начнут возвращаться в поселок.

Шагая бесшумно по воде, Зубов поймал себя на том, что опасается наступления дня. Ему хотелось, чтобы эта грозовая ночь тянулась как можно дольше. Не потому, что он боялся встретить людей,— кто же в нем сейчас признает того прежнего веселого, заводного парня, на которого деревенские девчонки таращили влюбленные глаза?! Нет, утро пугало не опасностью случайной встречи, но он боялся, что, увидев при свете солнца все, что он с таким трудом вырвал из своей памяти,— этот берег, лес, луга, тропинки, ручей, Муравьиный овраг,— все, с чем связано его детство и юность, увидев это, он окажется во власти воспоминаний. А первая заповедь, которую вдалбливали в школе диверсантов,— начисто

забыть свое прошлое. Шпион получает прошлое при каждом новом задании...

Настороженно вглядываясь в темноту, он дошел до Тюлень-камня. На светящемся циферблате часов стрелки показывали начало пятого. Начинался рассвет, нужно было подумать об укрытии.

Поднимаясь вверх по тропинке, он тщательно обрабатывал следы порошком. Дождь и порошок должны были сделать свое дело.

Предутренний влажный туман приглушил мягкие краски уходящего северного лета. Неподвижная тишина не успокаивала, а взвинчивала напряженные нервы. Он знал, что не должен доверять тишине, темноте, безлюдью. В любую секунду тишина может взорваться зловещим выкриком «Стой! Кто идет?», темнота — вспыхнуть слепящим светом прожектора, безлюдье — обернуться засадой.

Несколько часов назад Зубову казалось, что он отлично знает, как безопасно добраться до леса: дойти до лужайки, свернуть по тропе вправо, пересечь просеку и, оставив озеро слева, выйти на узкую стежку, протоптанную грибниками. Но, должно быть, из-за тумана он не узнавал знакомых с детства мест. Чем дальше он шел, тем яснее становилось, что дело не в тумане. Там, где по воспоминаниям была лужайка, он увидел какую-то постройку. Не решаясь приблизиться к ней, Зубов не разглядел, что это колхозный стадион, и, конечно, не мог заметить доску, на которой большими красными буквами было написано: «Стадион им. Петра Пряхина, первого капитана колхозной футбольной команды, павшего смертью храбрых в борьбе за свободу нашей Родины». Он миновал стадион и вскоре оказался на широком шоссе. Это тоже озадачило Зубова. Он не сразу догадался, что шоссе — не что иное, как бывшая просека, тянувшаяся прежде почти до самого районного центра.

Первые лучи солнца вонзились в туман, и неподвижная пелена заклубилась, стала редеть, таять, возвращая цветам и травам яркие краски.

Где-то на шоссе протарахтел грузовик,— просыпалась жизнь. Надо было искать убежище в лесу, в чащобе.

Обработанные порошком следы делали Карата бесполезным. Собака петляла вокруг одних и тех же камней и, повиливая хвостом, виновато заглядывала в глаза Таранову. Таранов смущенно покосился на Крутова.

— След большой давности, товарищ лейтенант,— оправдывался старшина.— Столько часов прошло... и порошком, гад, обработал...

По дороге в лес Крутов связался с заставой и доложил обстановку.

— Закройте с востока выход к Семерке! — услышал он приказ.— Сообщайте каждые полчаса обстановку.

Крутов отчетливо представил себе обстановку на всем участке. Начальник заставы доложил начальнику отряда, начальник отряда приказал соседним погранзаставам прикрыть свои участки. Начальники застав отдали телефонный приказ дружинникам блокировать свои рубежи. Теперь нарушитель, как зверь на охоте, обложен со всех сторон, и нет такой щели, через которую он мог бы уйти в глубь района, в крупный населенный пункт, где легко затеряться.

Крутов не ошибся. К восьми утра район радиусом в двадцать пять километров был блокирован. Получив об этом донесение, Каримов облегченно вздохнул. Теперь он мог заняться логическим анализом. Итак, нарушитель избрал для проникновения в Советский Союз сложный и рискованный путь — на лодке, спущенной

в нейтральных водах. Проще попасть в СССР под видом обычного туриста, но нарушитель предпочел опасный путь безопасному. Для этого должна быть важная причина. Какая? Очевидно, нарушитель имел задание, невыполнимое для туриста. Например? Турист не может остаться нелегально в Советском Союзе: стоит ему отбиться от своей группы, его исчезновение неминуемо обнаружится в конце первого же дня. Турист не может проникнуть легально в пограничную зону, в район секретного строительства... Каримов вынул из кармана блокнот и записал: «Нарушитель не предполагает задерживаться в Советском Союзе. Затопленная лодка с действующим мотором, спрятанный акваланг свидетельствуют о том, что нарушитель должен вернуться к лодке. Следовательно: не снимать засаду в пещере, следить за появлением судов в нейтральных водах. Единственный объект в районе, представляющий интерес для вражеской разведки,— Семерка. Возможно: а) съемка объекта, б) проникновение на объект с целью диверсии, в) встреча с резидентом. Взять под особое наблюдение поселок Радуга».

Поставив точку, Каримов прочел записанное и вызвал к телефону начальника заставы.

— Взять под усиленную охрану Семерку и Радугу. Засаду на берегу тщательно замаскировать.

Едва он повесил трубку, как явился из Комитета государственной безопасности капитан Миров.

Каримов уже встречался с этим «штатским» капитаном. Чекист нравился ему умением быстро схватывать суть самой сложной ситуации.

Миров вошел стремительно, снял фуражку, смахнул со лба пот и заговорил, окая по-волжски:

— С хорошей погодой, Каримыч. Докладывай: где, что и когда?

Выслушав Каримова, капитан одобрил действия пограничников.

— Считай, что одной ногой волк в капкане,— сказал он.

— Точно,— подтвердил Каримов.— Теперь не уйдет.

— Не хвались. Волки разные бывают, иной себе лапу отгрызет, а убежит!

— На трех далеко не ускачет. Сдохнет по дороге!

— А вот этого допустить нельзя. Нам этот волк дохлым не нужен, а нужен он нам живехонький и целехонький.

— А если окажет вооруженное сопротивление?

— А это уж ваша забота, чтобы не было у него такой возможности. Брать только живым, только живым!

Каримов знал, когда дается такой приказ, знал он и другое, что вопросов задавать не следует. Все, что надо, капитан скажет сам. И верно, кашлянув в кулак, Миров сказал буднично:

— А мы тоже не сидели, дома дожидаяся. Кое-что знаем. Это, брат, гость не простой, а дорогой, долгожданный! Товарищи в одной демократической стране большое спасибо нам скажут, когда посадим этого зверя на цепь. Но живым он не дастся, а мертвому ему — полцены. Отсюда задача: ухитриться взять его здоровеньким, без криков, без выстрелов... Обеспечишь?

— Так точно. Все ясно.

— Тогда — желаю успеха.

Он поднялся со стула, высокий, сутулый, не козырнув, протянул Каримову руку:

— Звони по ходу событий...

* * *

Время в лесу тянулось, как нудная песня,— без начала и без конца. После бессонной ночи хотелось спать, но

злобный комариный писк, гудение ос не давали ему уснуть. Голода он не чувствовал, плитка специального питательного шоколада отбивала аппетит на много часов, но после полудня начала мучить жажда.

Он сорвал сочный осиновый лист, пожевал и выплюнул. Лист был горьковатый, терпкий. Жажда стала сильнее. Зубов вспомнил об овраге, где струился холодный прозрачный ручей.

Зубов знал, что в его положении риск недопустим, но в данном случае, решил он, риска никакого нет: ходу до источника минут двадцать, грибы в полдень никто не собирает, ягод тут нет, значит, встреча с местными людьми ему не грозит, а чужим в лесу в пограничной зоне делать нечего.

Переложив на всякий случай пистолет из кармана брюк в куртку, он осторожно двинулся к оврагу. К источнику можно было идти по извилистой узенькой тропке, но, желая сократить путь, Зубов пошел лесом, по прямой. Он ступал осторожно, мягкий податливый мох делал его шаги неслышными. Зубов не замечал сейчас ни синих колокольчиков, ни россыпи бело-золотых ромашек, ни алых зарослей иван-чая. Он не слышал веселого пересвиста лесных птиц, испуганного фырчанья рыжих белок. Птицы, цветы, звери не грозили ему опасностью, и, значит, в эти минуты они для него не существовали. Видеть, чувствовать сейчас он мог только то, что таило для него угрозу. Слух и зрение его обрели в эти минуты особую остроту. Он вдруг ощутил необъяснимое беспокойство, то самое беспокойство, которое заставляет горных змей уползать в долины накануне землетрясения. Чем ближе он подходил к оврагу, тем осторожнее были его шаги, тем напряженнее становился слух. И хотя он по-прежнему не слышал щебета птиц, шороха листьев, жужжания насекомых, слух его мгновенно уловил человеческие голоса где-то там, у источника, до которого

оставалось не более двухсот метров. Почудилось? Он бросился за дерево и замер, прислушиваясь. Голоса стали отчетливее, было ясно: в овраге, у источника, люди. Дальше идти нельзя.

Он повернул назад, вздрагивая даже от шороха собственных шагов. Но жажда не оставляла его. На ходу Зубов шарил глазами по кустам — может, попадется необобранная смородина или ежевика, но, кроме волчьих ягод, ничего не было. Он вспомнил,— на косогоре есть малинник, ходу до него километра полтора-два...

К малиннику вели две узкие лесные тропки, потом они сливались в одну широкую тропу. Пройдя немного, Зубов сошел с тропинки и стал пробираться к малиннику, крадучись, прячась за толстыми стволами деревьев. Он уже видел вершину косогора, но лес внезапно оборвался и вместо густых и частых деревьев перед Зубовым раскинулась зеленая опушка, редко поросшая мелким кустарником. Приблизиться незаметно к малиннику было невозможно.

Он в нерешительности остановился и вдруг услышал издалека собачий лай. Зубов упал на землю и пополз за ближайшую сосну. Обессилев от страха, он лежал, распластавшись на земле, и слышал, как бухает его сердце. Собака для него была страшнее людей. Скрыться в лесу от собаки невозможно.

Боясь подняться, Зубов еще долго полз, прячась за деревьями и кустами. Он встал, когда косогор уже скрылся из виду. Приходилось вновь возвращаться в чащобу, там он чувствовал себя в безопасности. От страха он забыл об изнуряющей жажде. Казалось, что теперь он может обойтись без воды.

Выйдя на тропинку, он обернулся, взглянул на косогор, и в тот же миг из малинника высоко вверх взвилась зеленая ракета. Зубов снова бросился на землю...

К своему логову он добрался обессиленный. Почти

все время он полз, не решаясь подняться: лес с косогора мог просматриваться в полевой бинокль. А главное, ракета. Ясно, что это сигнал либо на заставу, либо соседней тревожной группе.

Он сделал усилие над собой,— надо успокоиться, продумать, как быть дальше. Главное — сохранить хладнокровие. На косогоре, в малиннике — наряд или тревожная группа пограничников. С собакой! Значит ли это, что пограничники его обнаружили и теперь преследуют? А может быть, преследуют не его. Для такого вывода есть достаточно оснований. Если погоня за ним, то почему собака привела их к косогору, к которому он и близко не подходил? Значит, его след собака не взяла? Но тогда почему пограничники дают ракету, не боясь обнаружить себя? Значит, они все-таки кого-то преследуют, чей-то след собака взяла. Чей-то, но не его. Очень похоже, что все это просто стечение обстоятельств: собака и пограничники на косогоре не имеют к нему никакого отношения. В конце концов это могут быть просто учебные занятия. Чего же он так испугался? Хорошо, что его не видят сейчас ни Гессельринг, ни Гоффер! Через час он пойдет в Радугу, встретится с Жаком, и все будет в порядке.

10. ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ

Миров приехал в отряд ночью.

— Порядок, товарищ капитан, порядок! — сообщил Каримов. — Теперь ему некуда деться.

— Где он сейчас?

— В колхозе «Волна».

— В колхозе? А как он туда попал? Давай по порядку.

— Дело было так. Взять его след сразу не удалось. Но, спасибо Пряхину, район блокировали вовремя. Подняли соседние заставы, включили дружинников, поставили боевую задачу: нарушителя взять только живым. В лесу Карат все же след подхватил, потянул уверенно. Вскоре мы могли обойтись и без собаки. Нарушитель оставлял достаточно следов. Стало ясно: с минуты на минуту мы настигнем его. Но появилась опасность демаскировать себя. Приняли решение: создать нарушителю видимость безопасного возвращения в пещеру и отнять у него всякую надежду пробиться к какому-нибудь населенному пункту. План удался. Сперва он ткнулся в Радугу — не вышло, дорогу преградили дружинники моториста Талова, потом он попытался выйти лесом на шоссе — тоже не получилось, попробовал спуститься в Муравьиный овраг — опять не вышло, наконец рискнул двинуться к железной дороге, видимо надеялся вскочить на ходу в товарняк, идущий в районный центр. Но куда бы он ни совался, всюду еще издали слышал то голоса, то собачий лай, то выстрелы. Видел он и ракеты, пущенные моими ребятами. В общем, гоняли его до полуночи, как зайца. Но бандит опытный: понял, что его окружают, и решил возвратиться восвояси.

— Направился к морю?

— Да. Тут мы ему не мешали. Сделали все, чтобы он забыл об опасности. Двигались за ним, можно сказать, не по земле — по воздуху, дышать перестали. И довели его так до «Волны». Здесь он должен был выйти к берегу, а он, дьявол, будто растаял в этой самой «Волне».

— И ваш знаменитый Карат не может его обнаружить?

— Конечно, может, но нет гарантии, что будет выполнен приказ — взять нарушителя живым, невредимым. В колхозе есть несколько собак. Черт их знает, почуют Карата, подымут такую брехню, что весь народ

на улицу высыплет узнать, что случилось. Он сразу поймет, в чем дело, и тогда — либо начнется перестрелка, либо он сразу пустит себе пулю в лоб...

— Да... Это верно...— Миров прошелся по комнате.— Значит, дело затягивается. Но не может же он надолго остаться в колхозе! Неужели у него есть там сообщники?

Каримов бросил на Мирова укоризненный взгляд:

— Я знаю всех рыбаков «Волны». Это люди разные: есть умные и глупые, храбрые и трусоватые, честные и жуликоватые, но предателей среди них ты не найдешь. Ручаюсь!

— В жизни всякое бывает... Все-таки у кого-то же укрылся нарушитель?

— Забрался в чей-нибудь сарай, хозяин спит и знать не знает, какой у него гость дорогой под боком.

— Все равно бездействовать нельзя. Поселок блокирован надежно?

— Мышь не прошмыгнет.

— Рискнем пустить по следу Карата. Если тявкнет хоть один пес, вернемся на «исходные позиции» и подождем. Не будет же этот гад сидеть неделю в чужом сарае. Поехали!

Машина Каримова остановилась метрах в трехстах от колхоза. Таранов и Бажич лежали в густых кустах орешника. Таранов держал поводок и злился на вынужденное безделье. Карат сидел рядом, и по тому, как он вздрагивал, старшина понимал его возбужденное состояние.

— Никаких признаков? — спросил вполголоса Каримов.

Старшина мотнул головой.

— Пусти Карата по следу,— приказал Каримов.

Бажич и Таранов вскочили: наконец-то! Как всегда, Таранов шепнул что-то Карату, и собака с места потянула к колхозу.

Они прошли мимо стадиона.

— Здесь, — прошептал Каримов. Миров понял: отсюда, вместо того чтобы спуститься к морю, нарушитель свернул в колхоз.

Карат, не петляя, не оглядываясь, тянул поводок уверенно и деловито.

Они вошли в поселок так тихо, что ни один из местных псов даже не шелохнулся. Карат миновал главную улицу, где, освещенные ущербной луной, выстроились в ряд новенькие стандартные дома рыбаков, и свернул в узкий проулок, от которого тянулась тропинка к морю. Каримов узнал этот проулок: здесь он был сегодня утром у Мирона Пряхина. Вот и колодец, а сразу за ним слева — забор пряхинского дома. Поравнявшись с колодцем, Карат остановился, обошел вокруг и снова остановился. Очевидно, нарушитель подходил к колодцу, чтобы напиться.

— След, след! — шепнул повелительно Таранов.

Собака медленно, не отрывая морды от земли, вывела пограничников к дому и ткнулась в калитку. Каримов на секунду усомнился: точно ли он был утром в этом самом доме?

Надо было немедленно принять решение, и Каримов принял его. Он сделал знак — вся группа неслышно повернула обратно.

Когда колхоз остался позади, а вдали уже отчетливо слышался мерный шум ночного прибоя, группа остановилась. Нужно было решать, как действовать дальше.

— Чей это дом? — спросил Миров.

— Мирона Пряхина,— ответил растерянно Каримов, вспоминая сейчас все, что говорил о старике Дрозд.

— Который сообщил о высадке диверсанта?

— Да...

— Тогда похоже, что действительно хозяин спит и не ведает, кто забрался в его сарай.

— Дело в том, — голос Каримова звучал растерянно, — что у Пряхина нет сарая, обвалился месяц назад.

— Ну тогда одно из двух: либо Карат ошибся и взял след не нарушителя, а Пряхина, либо нарушитель нашел приют в доме Пряхина.

— За Карата ручаюсь! — Таранов погладил морду овчарки.— След взят от самого леса, а старик за эти сутки в лес не ходил... Факт, что нарушитель у старика...

— Но Пряхин сам сообщил о нарушителе.

— А может, этот гад убил старика? — сказал Бажич.

— Да... Загадка оказалась с подковыркой.— Миров ждал, что скажет Каримов.— Ваше мнение, товарищ майор?

У Каримова тоже мелькнула мысль, что нарушитель убил старика, но он старался продумать и другие варианты. Нарушитель явился к Пряхину около двенадцати часов ночи, наплел старику складную байку и попросился переночевать. Допустим, старик ему поверил. Все равно он обязан немедленно сообщить, что у него ночует посторонний. Старик знает этот неписаный закон, о нем не раз говорили пограничники рыбакам. Пряхин не мог его забыть, да еще при таких обстоятельствах, когда все заставы подняты на задержку нарушителя. Итак, нарушитель находится в доме Пряхина более двух часов, и старик не сообщил об этом. Правда, неизвестный явился к Пряхину, когда тот уже спал. Для того чтобы сообщить о неизвестном, старик должен отлучиться из дома на десять — пятнадцать минут. Никакого убедительного повода для отлучки в такое время ночи старик, очевидно, не придумал. Если так, то Мирон Акимыч сей-

час не спит, а ломает себе голову, как бы связаться с пограничниками.

Каримов был склонен принять именно этот вариант, и он постарался представить себе, как будут развиваться события дальше. Через несколько часов настанет утро. При свете дня неизвестный, если это нарушитель, конечно, не рискнет появиться в поселке. Пряхин же, при его сметке, найдет возможность покинуть свой дом хотя бы на несколько минут, чтобы добежать до соседа, шепнуть о подозрительном госте и вернуться обратно.

Каримов поймал себя на желании отдать предпочтение варианту, при котором Пряхин останется вне подозрений. А почему, собственно? Разве он не сталкивался с людьми, патриотизм которых был вне сомнений и которые были разоблачены как агенты иностранных разведок? Но если Пряхин связан с нарушителем, то как объяснить, что он сам сообщил о его высадке? Опыт подсказывал пограничнику наиболее логичный ответ на этот вопрос: «Это может быть продуманный ход, причем отличный ход! Заявив о высадке нарушителя, Пряхин оградил себя от всяких подозрений. Он мог быть уверен, что шпиона будут искать где угодно, только не в его доме. Возможно это? Возможно».

Все эти рассуждения, однако, не отвечали на основной вопрос: как взять нарушителя живым в доме Пряхина?

11. ОТЕЦ И СЫН

С тех пор как уехал Васька, Мирона Акимыча часто мучила бессонница.

В эту ночь старику снова не спалось, хотя минувший день был наполнен удивительными событиями и закон-

чился неожиданной радостью: пришел Пашка и сообщил, что по распоряжению Дрозда отвел старикову лодку на прежнее место.

— Это как же понимать? — спросил недоверчиво Пряхин, ожидая нового подвоха.

— А не знаю,— ухмыльнулся парень.— Говорят, в райкоме был ему драй. Вернулся из района тихий и даже никаких слов непонятных не произносит...

«Интересно все-таки устроена жизнь,— философствовал Мирон Акимыч, томясь бессонницей.— Неделю назад была у меня лодка. Пришел Дрозд и отобрал. Сегодня утром опять появилась у меня лодка. Пришли пограничники — снова лодки не стало. Утром не стало, а к вечеру — опять я с лодкой. Видно, и впрямь, пока жив — не теряй надежды».

Цепляясь одна за другую, мысли вернули Пряхина к утренним событиям. «Видать, еще не поймали того бандюгу... Как поймают — пойду к пограничникам, скажу: «Покажите мне ублюдка».— «Зачем?» — спросит пограничный начальник. «Так и так,— скажу,— желаю напомнить зарубежной стерве, что мы есть за народ. Хотела нас белая сволочь закабалить — сама в землю легла. Хотела нас Антанта задушить — обрубили лапы гидре международной. Немцы-фашисты народ советский истребить хотели. А с чем остались?..» И еще скажу я зарубежной падле: сколько мы жизней своих положили, так это, если считать с утра до вечера,— года не хватит! Набухла наша земля кровью — больше некуда..»

Где-то тявкнула собака, ей лениво отозвалась другая, и снова тишина придавила маленький пограничный колхоз. Старик нащупал в темноте кисет, набил трубку, потянулся за спичками, и тут ему почудился стук в окно. Он прислушался. Стук повторился. Кто-то нетерпеливо стучал ногтем по стеклу, точно выбивал морзянку.

Старик обрадовался: «Васька! Боле некому! Как раз поезд в это время приходит. Вернулся, сукин сын!»

Он вскочил с кровати, засеменил к окну.

— Васька, ты? — спросил он притворно сердитым голосом.

— Открой, батя!

Так и есть — Васькин голос, только простуженный. И где он простудился летом, пес бродячий!

Не торопясь, чтобы не показать свою радость, Мирон Акимыч пошел в сени.

— Входи, коли пришел,— сказал он равнодушным голосом.— Видно, без дома и собака тоскует...

Человек молча шагнул в темные сени.

— Ночью вернулся, как вор! — начал старик ворчливо.— Я из-за тебя тут такого наслушался.

— Батя! Узнал?

И опять этот голос — одновременно и Васькин и не Васькин.

— Столько лет не виделись! Батя!

Старик охнул.

— Господи, господи! — Старик дрожал, сам не веря своей догадке. — Петр, ты?

Он чиркнул спичку, спичка сломалась, он чиркнул вторую, она сразу же потухла, точно ее кто задул.

— Не надо, батя...— произнес в темноте голос.— Погоди...

— Петя! Сыночек! — Старик припал к груди сына и заплакал. — Сыночек... жив... жив... Господи, счастье-то какое ..

— Что ты, батя, что ты? — заговорил приглушенно Петр.— Успокойся. Ты думал, я погиб? А я — вот, целцелехонек... Ну чего же ты плачешь?

— С радости я, Петя! Сам себе не верю! Может, приснилось? Дай огонь зажгу, посмотрю на тебя, сыночек мой!..

— Погоди с огнем... А где же мамаша?

— Померла, Петюша, померла. Как похоронную на тебя получили, стала она, бедная, сохнуть, ночи не спала, и померла голубушка... Последнюю ночь все тобой бредила... звала...

— Лечить надо было,— сказал Петр после долгого молчания.

— Какое уж леченье, когда немцы пришли. Сам знаешь!

— А Василий жив?

— Жив.

— Где же он? Врозь живете?

— Потом скажу. Дай мне на тебя-то посмотреть! Где ты пропадал, сынок? За четырнадцать лет — ни одной весточки! Может, осужден был?

Петр молчал.

— Ты не таись, есть которые зря пострадали...

— Я, батя, в плен попал...

— Ой, бедняга! Знаем, каково в плену нашим было! Счастье какое, что ты уцелел, сыночек!..

— Значит, не коришь меня за плен?

— Как можно? На войне всякое бывает.

— А ведь у вас расстреливали тех, кто из плена вернулся.

— Это ты зря, сынок. Несправедливости, конечно, бывали, а насчет расстрела — брехня! Да дай мне взглянуть на тебя, Петюша,— Мирон Акимыч потянулся за спичками.

— Погоди. Скоро рассветет... Хочу правду тебе рассказать... без утайки...

— На правду и суда нет...

— На правду — нет, а на меня будет. Я к тебе попрощаться пришел. Больше не увидимся...

— Да что ты, сынок? Ничего тебе за плен не будет. Не трогают теперь за это...

— Есть на мне малая вина, батя. Ничего от тебя не скрою. Как я в плен попал — не помню, контуженный был, в беспамятстве.

— Вот видишь! — обрадовался старик.— В беспамятстве всякого в плен возьмут!

— И оказался я в лагере для военнопленных. Было нас там, может, тысяч десять. Как мы страдали, какие пытки вынесли — лучше и не вспоминать. Не знаю, как разум уцелел. Которые в живых остались, те, поверишь ли, психами стали. Немногие до свободы дожили. Нас американцы освободили. Это, батя, замечательная нация. Страна богатющая! Хочешь верь, хочешь нет — там каждый фермер, крестьянин значит, машину свою имеет, а то и две. Не то что наши колхозники...

— Про Америку слыхали. Так в чем же твоя-то вина, Петюша?

Петр досадовал, что не может в темноте следить за отцом, за выражением его лица. Если бы он видел его лицо, было бы легче находить нужные слова. Но в комнате все еще было темно, рассвет занимался несмело.

— В чем моя вина? К тому и веду... Освободили меня американцы из фашистского лагеря и посадили в свой. В ихнем лагере тоже было много народу из разных стран, а больше всего наших, советских. Опять я оказался за проволокой...

— Хватил ты лиха, сыночек! — голос Мирона Акимыча дрогнул.— Не всякий такое выдержит...

— Сто восемьдесят семь дней просидел я в американском лагере,— продолжал Петр.— Конечно, американцы — не фашисты. Кормили хорошо, побоев никаких. Я все ждал, когда меня на родину отправят. А многие из наших просились, чтобы их в Америку отправили. Нравилось им, как там народ живет.

— Вот стервецы!

— Подал я, значит, заявление, чтобы меня на роди-

ну отправили, а через неделю пришел американский офицер, стал меня уговаривать: «Поезжай, мол, в Америку, мы тебя работой обеспечим». Я отвечаю: зачем мне Америка, у меня своя земля есть, меня отец с матерью ждут. Родился, говорю, в России, в России и умру... А американец мне объясняет: «Это верно, что ты умрешь в России, если туда вернешься. Там есть приказ — всех бывших в плену расстреливать». Не может быть, говорю, в плену, может, миллион было, так что же, всех и расстреливать? Тогда он вынимает из кармана бумагу, на русском языке напечатанную, и дает мне читать. Там сказано, чтобы всех бывших в плену казнить без суда и всю ихнюю родню ссылать на Колыму или в шахты свинец добывать.

— И ты поверил?! — Старик вскочил с лавки и стукнул кулаком по столу.— Тебя американец, как плотву, взял на крючок!

— Поверил я, дурак. Только думал тогда я не о себе,— голос Петра звучал тихо и печально.— Смерть так смерть! Я ее на фронте нюхнул! А как представил, что тебя с мамашей в шахты, на каторгу отправят, так во мне все прямо забурлило! Отца родного на смерть обречь! Мамашу с Васькой загубить! Нет, думаю, лучше уж я буду мыкаться на чужбине, а этого не допущу...

Мирон Акимыч тяжело поднялся с места и отдернул занавеску. За окном мутнел рассвет. Старик порывисто обернулся к сыну. В призрачном свете лицо его расплывалось в неясное белесое пятно, и Мирон Акимыч никак не мог поймать взгляд сына.

Петр сидел неестественно напряженно, на самом краю табуретки, точно бегун, готовый сорваться с места по первому сигналу.

— Садись сюда, ко мне. Что ты как воробей на жердочке? — сказал старик и опустился на скамью.

Ему хотелось почувствовать близость сына, обнять, заглянуть ему в глаза. Но Петр не двинулся с места.

— Отсюда я тебя лучше вижу, батя. А ты у меня еще молодец. Только поседел, а так — не изменился, словно вчера расстались.

— Какое уж там не изменился!.. Дальше-то рассказывай. Где же ты эти годы маялся?

— Да... да... столько лет. Что же долго рассказывать?.. Поверил я американскому майору, и отправили меня в эту проклятую Америку...

— Ты же говорил, она богатющая, нацию расхваливал, а теперь проклятой называешь.

— Для американцев она хорошая, а нам, русским, свое лучше,— нашелся Петр.— А еще скажу, я и в наших газетах читал хорошее про Америку.

Старик хмыкнул:

— Жил-жил в Америке, а ничего не разобрал. Ну ладно, не в этом суть. Приехал в Америку, а дальше что?

— Нанялся я трактористом к одному фермеру. Местность штат Иллинойс называется. Три года проработал, а потом надоело в деревне. Подался в город, стал грузовую машину водить. Жил — всего хватало. Решил деньгу копить. А у тебя, батя, как в смысле деньжат, много ли скопил? — неожиданно спросил с усмешкой Петр.

— Хватает. Сказывай дальше...

— Скопил я, значит, деньжат, решил заиметь свой бизнес. В Америке кто с головой всегда свой бизнес имеет. Тут и получилась главная неприятность. Подал заявление, что хочу открыть бензозаправочную станцию, а мне отвечают: «Открывайте, только примите прежде американское гражданство, такой в Америке порядок...»

— И ты согласился?! Отрекся от России?! — вскрикнул Мирон Акимыч испуганно.

— Я же тебе объясняю — такой у них порядок.— И,

боясь, что отец начнет снова задавать неприятные вопросы, Петр торопливо продолжил рассказ: — Пять лет держал я станцию. Денег — считать перестал! В банке счет имел, чековая книжка всегда в кармане. Ездил на машине. В рассрочку купил. Коттедж — дом, значит,— с мебелью заимел, тоже в рассрочку. Кругом почет, уважение... Да... Вдруг напала на меня тоска по родине. Тоскую — места себе не нахожу, а что делать? Вернусь — вас всех на Колыму, меня под расстрел! И тут узнаю, что у вас новые законы вышли, чтобы пленных не судить строго, а главное — родню ихнюю не трогать. Решил я тогда вернуться домой. А как вернуться? Не соглашаются американские власти, чтобы я вернулся в Россию. Только я ведь такой человек — что решено, то и сделано. Бросил к чертям свой бизнес, нанялся кочегаром на корабль в заграничное плавание. Думаю: приедем в Россию — сбегу. А корабль, как назло, в советские порты не заходит. Наконец узнаю: пойдем в Ленинград. А дальше и рассказывать нечего. Ошвартовались вчера утром в Ленинградском порту, вся команда — на берег. Кто куда, а я на вокзал, на поезд. Вышел на нашей станции в двадцать один час, пошел знакомыми тропками в обход, и вот, добрался... Теперь ты все знаешь...

Он умолк. Рассвет теснил остатки предутренних сумерек.

Мирон Акимыч все вглядывался в лицо сына, и от этого взгляда Петру стало тревожно. Он думал, что, услыхав рассказ о богатой жизни в Америке, отец начнет сравнивать эту жизнь с колхозными порядками, станет жаловаться на несправедливость, на нужду. Но такого разговора не получалось. Пришлось перестраиваться на ходу.

— А в партии тебя восстановили? — спросил он, чтобы разбередить старую рану отца.

— Пока не просил, не спешу. Однако секретарь райкома товарищ Суслов беседовал со мной, советовал не таить обиду... Ну, да обо мне — потом. Как же ты, так бобылем и маялся? Не женился? Может, у меня и внучата в Америке есть?

— Баб за границей и без женитьбы хватает. Были бы деньги!

— Любовь, Петя, за деньги не купишь.

— Хо! Еще как купишь! — Петр уловил удивленный взгляд отца и неуклюже поправился: — На чужбине и любовь — не любовь...

— Так что же теперь будет с тобой, Петя?

— Малость поживу у тебя, а потом — в Ленинград. Заявлюсь к властям. Как думаешь, много дадут за то, что я американское подданство принял?

— Я этих законов не знаю,— тяжело вздохнул старик.— Чего-нибудь дадут, конечно. Господи...— голос его задрожал,— неужели для того ты нашелся, чтобы я снова тебя потерял? Ведь мне и жить-то осталось...

Петр понимал, что в Радугу ему не пробраться и встреча с Жаком не состоится. Но вернуться, не выполнив задания, он не мог. Надо найти выход. Попробовать уговорить отца... Старик мог появиться и в Радуге и в Муравьином овраге, не вызвав никаких подозрений.

— Ах, батя, батя...— Петр ладонью провел по глазам.— Лучше бы мне не приезжать. Теперь и тебе позор до могилы: сын вроде изменника — в тюрьме... В партии тебя не восстановят. Из пограничной полосы, конечно, выселят по этапу... за тридевять земель... Это уж обязательно. Постарел ты, выдержишь ли... чтобы по этапу, в арестантском вагоне? Если и выдержишь, как будешь жить среди чужих? С протянутой рукой ходить?.. И все из-за меня, все я виноват!

Мирон Акимыч сидел, опустив голову.

— Как быть, сынок, как быть? Что ты в плен беспа-

мятный попал — в этом не корю тебя. Видно, судьба наша такая... и твоя и моя.

— Нет,— твердо сказал Петр.— Судьба судьбой, а самому тоже голову иметь надо... Согласишься — станем жить вместе... в достатке. Будет тебе на старости лет почет и уважение...

— Ну что ты, сынок, меня утешаешь, словно дите малое. Какой уж тут почет, какой достаток, если тебя в тюрьму посадят?

— Нет, батя! — Петр поднялся с табуретки.— Не допущу я, чтобы ты век доживал в нужде и позоре. Решено! Будем теперь вместе.

— Да как же, как?

— А вот так! Поедешь со мной, и все будет олл райт — отлично!

— Куда поедем? Когда?

— За рубеж! Хоть в ту же Германию. Это мне — без труда.— Не давая старику опомниться, Петр сыпал слова: — У меня и в Германии текущий счет есть. Купим маленький домик с садом, яблоньки, вишни, огород, конечно. Хозяйствуй! Трудно станет — батрака наймем. Ты только согласись. Сам подумай, Васьки нет, я в тюрьме,— ты один на всем свете, один, старый, без денег. А вдруг заболеешь? Кто за тобой ходить станет? Кому ты здесь нужен? Никому!

— Постой, постой! — Мирон Акимыч поднялся с лавки. Теперь они стояли друг против друга, оба высокие, плечистые, чем-то неуловимо похожие.— Постой!.. Это как понимать такое предложение? Это, выходит, я должен родину бросить и в твою Германию бежать?

— Да ну, батя! Начитался ваших газет и повторяешь: «отечество», «родина-мать». А я так скажу: родина для человека там, где ему хорошо. А если ему на своей земле плохо, значит, родина ему не мать, а мачеха.

— Ты что?! — закричал вдруг Мирон Акимыч, срываясь с голоса.— Ты что, ополоумел? Какая мачеха?! За эту мачеху люди жизнь отдавали, на амбразуру бросались, а ты!..

— Про амбразуру это ты тоже в газетах начитался. А тебя-то самого ведь кругом обидели! Ты посуди разумно...

— Чего разумио?! Вижу, иасквозь вижу, какой ты разумник! «Кругом обидели»! Меня плохие люди обидели! Люди, а ие родина! Понял? Я твоих речей больше слушать ие желаю! Будь ты не моим сыном, я бы... я бы...

— Доиес бы? — ощерился Петр.

— Сам бы скрутил!

— Эх, батя, хотел я добра тебе, а ты...— Надо было быстрее притушить отцовский гнев.— Может, ты и прав, батя. Да! За грехи иадо платить сполна! Ты уж прости, струсил я в последиюю миуту. Не легко самому в тюрьму идти. Не легко, а придется. Теперь уж я решил твердо...

Старик все еще стоял против сына, вглядываясь в его лицо, точно ие веря, что это действительно его Петр. От пристальиого взгляда отца Петру становилось беспокойно, ои ие знал, о чем теперь говорить, а молчать было иельзя.

— Спать ляжешь или поешь сначала? — спросил старик так, точно Петр ие пропадал без вести на миогие годы, а отлучался иа деиь по делам в районный центр и теперь вот вериулся с иочным поездом, устал и проголодался. — Заграиичиых кушаиий у нас нет, а молока козьего, хлеба, картошки холодной — это можно...

— Молока выпью с хлебом. Спасибо...

Мирон Акимыч прииес из сеней початую буханку хлеба, кувшии с молоком и поставил на стол.

— Соседи наши прежние? — спросил как бы ненароком Петр.

— Какое там. Прежних в колхозе никого и не осталось. Немцы перед уходом всех... Из пулеметов...

— Ну уж и всех... тебя же не расстреляли...

— Чудом спасся... В пещере с матерью прятались... Ешь.

— Помню, рассказывал ты мне, малому, сказку,— заговорил Петр.— Про звезды. Родится, мол, человек, и на небе новая звезда загорается. Либо добрая, либо злая. Добрая загорится — будет у того человека хорошая жизнь, а если злая — худо тому человеку. Вижу теперь, злая загорелась звезда, когда я родился...

— Забыл ты, Петр. Не так я сказывал. Не по звезде человек, а по человеку звезда. Родился человек добрый — вспыхнет на небе голубая звезда. А родится злой — вспыхнет звезда красная, будет гореть по ночам злым волчьим глазом, пока творит тот человек недобрые дела свои на земле. Так-то, Петя...

— Батя, прошу тебя...— Петр отломил кусок хлеба,— прошу тебя, не выходи из дома... До вечера... Запри дом на замок, а сам влезь обратно в окно. Если кто и подойдет — дверь на замке, никого нет! Я хоть до вечера спокойный буду... Последние часы вместе...

— Ладно... Сделаю... Да и кто придет ко мне? Все на работе.

Есть Петр не мог, но две кружки молока выпил залпом.

Отец следил за ним из-под косматых бровей, следил молча, настороженно. Тихо стучали ходики — был уже шестой час утра. Жалобно заблеяла под навесом Машка. Петр испуганно вздрогнул.

— Чего ты? Коза не человек — худа не сделает. Недоенная, вот и зовет. Пойду спущу с привязи. А ты ложись.— Мирон Акимыч подошел к окну, распахнул

его и обернулся к Петру: — Управлюсь с козой, навешу замок на дверь и влезу в окно. Для твоего спокоя...

Мирон Акимыч вышел во двор мрачный, обуреваемый противоречивыми чувствами. Все, что случилось в эту ночь, не могло привидеться и во сне. Он стоял среди двора в отрешенной задумчивости, забыв, зачем вышел из дома.

Скрип колес вывел старика из оцепенения. Он прислушался. Скрип приближался к дому, уже можно было разобрать мужские голоса. «Кто это в такую рань?— подумал он.— Тут и дороги проезжей нет». Скрип и голоса становились громче, и наконец через низкую изгородь Мирон Акимыч увидел чалую колхозную кобылку. Лошадь легко тянула телегу, груженную тонкими бревнами и десятком досок. На телеге сидели моторист Талов и Пашка.

— Привет хозяину! — крикнул Талов.— Мы к тебе.

— По какому случаю? — настороженно спросил Мирон Акимыч.

— Приказано! — весело гаркнул Пашка и завернул кобылку к воротам.— Принимай строителей!

— Вы что, с утра хватили? — Старик подошел к воротам.— Чего орешь?

— Приказано построить тебе сарай,— сказал Талов.

— Кто приказал? Давай не ври...

— Точно, папаша. Получено приказание обслужить тебя, как отца погибшего воина.

— Страна не забывает своих героев,— назидательно пояснил Пашка.

Кобылка толкнула мордой хлипкие ворота, они распахнулись, и телега, поскрипывая, въехала во двор.

— Показывай, хозяин, где сарай ладить,— сказал Талов. Он говорил беззаботно и весело, но насторожившийся Мирон Акимыч заметил, что, говоря с ним, Талов все время посматривает на раскрытое окно.

— Ставь на старом месте,— пробормотал старик и снова спросил: — Кто же это приказал насчет сарая?

— Да все он, товарищ Дрозд.— Пашка ухмыльнулся от уха до уха и тоже покосился на раскрытое окно.

Мирон Акимыч представил себе, что творится сейчас с Петром. Он, конечно, слышит голоса, слышит, как во двор въехала телега. Мирон Акимыч и сам был озадачен появлением парней: что, если обнаружат Петра? Одно дело — преступник пришел с повинной сам, другое — если его задержат пограничники или дружинники.

— Не вовремя, ребята,— сказал Мирон Акимыч.— Может, завтра начнете? Мне сейчас уходить надо...

— А мы и без тебя обойдемся. Отгрохаем твоей козе дворец — залюбуешься!

— Как знаете,— сказал недовольно старик.— На магарыч не рассчитывайте, нет у меня денег...

Он вошел в дом и замер на пороге. Забившись в темный угол, Петр целился в него из пистолета. Из-за пояса торчала рукоятка второго пистолета.

— Чуть тебя не убил! — еле слышно выдохнул Петр.— Думал, они! Кто такие? За мной?

Старик молчал, он не мог отвести глаз от пистолета. Не ответив сыну, набросил на двери крюк, подошел к окну, закрыл его и задернул занавеску. Петр, тяжело дыша, неподвижно стоял в углу, не опуская пистолета.

— Спрячь пушку! — приказал отец.— Приехали строить мне сарай.

— А вдруг они в дом войдут?

— Не войдут.— Старик не сводил глаз с Петра.— Зачем пистолеты? — прошептал он.

— Потом объясню, сейчас думай, чтоб меня не увидели... Куда мне спрятаться?

Старик, словно не слыша Петра, продолжал:

— Если ты решил идти с повинной, зачем тебе пистолеты? В кого ты собираешься стрелять?

— Я сказал тебе: объясню потом! — В шепоте Петра слышалась приглушенная ярость.— Думай, как от них избавиться.

Старик не отвечал.

— Думай скорее! — Возглас прозвучал угрозой.

— Здесь тебе оставаться опасно,— тихо заговорил Мирон Акимыч.— Лезь на чердак. Но чтобы тихо... Сапоги скинь, лестница скрипучая... А я запру дверь на замок снаружи, скажу, что еду в город Ваську разыскивать. Тебе с чердака, сквозь щели, весь двор как на ладони. Уйдут — слезай и жди меня. Понял?

— Ладно! Только скорее уходи и запри дверь.— Петр скинул сапоги и на цыпочках неслышно поднялся по скрипучим ступенькам.

Мирон Акимыч вернулся в комнату и долго смотрел на сапоги сына, не решаясь к ним притронуться. Его охватил такой страх, какого он никогда не испытывал. Это был даже не страх, а ужас перед тем, что случится через секунду. Он оттягивал эту секунду. Он стоял, с ненавистью глядя на грязные сапоги Петра, потом решительно схватил и впился пристальным взглядом в подошвы. Каблуки были подбиты металлическими планками, на планке левого каблука один шурупчик слегка выдавался...

Мирон Акимыч вышел из дома, навесил трясущимися руками замок на дверь и побрел к калитке.

— Куда, хозяин? — крикнул из-под навеса Талов.

— К Ваське, в город. Под вечер вернусь.

— Счастливо! Ваське привет с бубенчиком! — потряс топором Пашка.

Сгорбившись, точно он нес на спине непосильный груз, Мирон Акимыч вышел из калитки и зашагал к морю. В трудные минуты жизни, а было их у него в достатке, он искал успокоения на берегу моря. Когда пришла похоронная на Петра, Мирон Акимыч просидел на

Тюлень-камне всю ночь, но тогда и море не могло принести ему облегчения. Сейчас, столько лет спустя, он опять сидел на том же камне, думая о том же Петре, вспоминая все, что случилось сегодня.

Увидев пистолеты, Мирон Акимыч сразу понял, что Петр лгал. Явился с повинной, держа на взводе пистолеты?! Страшное подозрение оглушило его в ту минуту. Крошечная головка шурупчика на каблуке скороходовского сапога подтвердила его страшную догадку: Петр и есть тот самый диверсант, которого ищут пограничники...

Накатывались, шелестели у ног старика волны, оставляя на гальке пузырьки пены, вдали у горизонта плыли пароходы, чайки с противным визгом дрались из-за добычи,— старик ничего не замечал, мысли его путались, кровь стучала в виски, и не было ответа на единственный вопрос: что же делать? Он сам навел пограничников на след сына, а теперь? Сообщить властям, где прячется диверсант? Но ведь диверсант — его сын Петр, тот самый Петька, которого он вырастил, научил плавать, нырять, рыбачить, находить ночью по звездам дорогу в море, тот самый Петр, которого он оплакивал четырнадцать лет. Четырнадцать лет жил надеждой на чудо: вдруг Петр жив? Сколько в первый год войны было ошибочных похоронных! И чудо свершилось! Сын его жив! Здоров! Он сидит в его доме... В его доме... Сидит... Нет! В его доме сидит не сын, а враг. Враг! Это не его Петр! Никакого чуда не произошло! Пусть сгинет это черное наваждение!

Мирон Акимыч поднялся и побрел вдоль берега. Домой он мог вернуться только вечером, когда уйдут Талов и Пашка. Их неожиданное появление больше не казалось Мирону Акимычу случайным. Талов и Пашка — дружинники. В этом все дело. Значит, пограничники напали на след Петра, знают, что он в колхозе, и устано-

вили один из постов во дворе Мирона Акимыча, откуда видна дорога к морю. Так думал старик, не подозревая, что пограничники уже знают, что нарушитель прячется именно у него, что дружинники были направлены к нему, чтобы отрезать всякую возможность нарушителю выйти из дома и перебраться в другое место...

Мирон Акимыч подумал, что спасти Петра еще можно. Поживет на чердаке две-три недели,— не станут же пограничники искать его в доме человека, который сам сообщил о высадке диверсанта! — след потеряется, а когда все успокоится, Петр исчезнет. На этот раз — навсегда...

Он дошел до причала и увидел свою старую лодку. Лодка мерно покачивалась на волнах, но Мирон Акимыч смотрел на нее безразличным взглядом, хотя еще вчера ради такой лодки готов был рискнуть жизнью...

Он не знал, куда ему деться. Встречи с людьми он боялся: о чем с ними теперь говорить? Как смотреть им в глаза? Уж лучше держаться подальше.

Чтобы убить время, Мирон Акимыч побрел в лес самой дальней кружной дорогой...

12. «БЕРЕГ ЧИСТ! ИДИ!»

Старик вернулся только в полночь. Измученный, сразу одряхлевший за один день, он сел у крыльца, не решаясь войти в дом, оттягивая неизбежную встречу с сыном.

Час назад Мирон Акимыч наткнулся в лесу на пограничный наряд. Это был Таранов с неизменным Каратом. Вблизи, прислонившись к сосне, стоял второй пограничник. Старик удивился. Он знал, как умеют маскироваться пограничники, не сомневался, что Таранов и второй пограничник давно уже засекли его шаги, потому что он

шел не таясь, не разбирая дороги; под ногами, в тиши ночи, громко хрустели сухие ветки. Но пограничники не только не замаскировались, а было похоже, что стоят на виду умышленно. «Значит, дорога Петру в лес отрезана»,— подумал старик.

Сидя у крыльца, глядя в черные окна своего дома, Мирон Акимыч впервые отчетливо понял, что убежать Петру не удастся. Все дороги закрыты, свободен только путь к морю, но затопленной шлюпки он не найдет.

Снова ему виделось бледное лицо Петра, целившегося в него из пистолета.

Старик поднялся и вошел в дом.

В сенях, у чердачной лестницы, Мирон Акимыч поднял голову.

— Слезай,— сказал он и сам подивился тому, как твердо звучит его голос.

— Здесь я,— послышался из комнаты приглушенный голос Петра.

Мирон Акимыч вошел в темную комнату. Петр обрушился на него с упреками:

— Где ты был? Я прямо извелся! Плотники давно ушли, а тебя все нет и нет...

— Столько лет без меня жил, а тут вдруг соскучился...

— Не до шуток, батя... Не увидимся больше... Утром пойду с повинной...

— Свет зажжем? — спросил Мирон Акимыч.— Посмотрю на тебя в последний раз.

— Не надо... Посидим так... несколько минут...

— Почему «минут»? Ты же уйдешь утром? До утра далеко...

— Есть у меня к тебе просьба... последняя... не откажи...

— Говори...

— Хочу напоследок проститься с морем, с родным берегом. А потом уж, чуть свет, пойду с повинной к властям. Сюда больше не вернусь... Как подумаю о тебе — сердце обрывается...

«Так и есть, решил бежать морем»,— подумал Мирон Акимыч.

— Какая же твоя просьба?

— Обещай, что не откажешь.

— Говори, посмотрим...

— Прошу тебя, спустись к морю, посмотри, нет ли там кого, чист ли берег...

— Это зачем же?

— Чего притворяешься? Ясно зачем! — голос Петра звучал злобно.— Не хочу, чтоб меня схватили! Тогда никто не поверит, что сам решил заявиться. Пришьют шпионское дело, дознаются, что ты меня прятал. Тебе за это знаешь что будет?! Небо в частую клеточку!

— А утром так и заявишься с пистолетами в кармане?

— Дались тебе эти пистолеты! В Америке у каждого револьвер. Я и привык...

— У нас за оружие два года дают...

— Я их утоплю. В море заброшу... А сейчас прошу тебя, сходи на берег, проверь...

Старик долго молчал. Петр злился, что нельзя зажечь света, чтобы увидеть лицо отца, понять, почему он молчит...

— Ну что же ты?! — не вытерпел он.

— Иду! — неожиданно громко сказал Мирон Акимыч.— Иду! Проверю...

О том, что Пряхин запер дом и отправился в город, Каримов получил донесение от Талова сразу же после ухода старика. А через полчаса он уже знал, что старик

на станцию не пошел, а направился к морю. Поведение Мирона Акимыча Каримов истолковывал по-своему: под каким-то предлогом Пряхин запер нарушителя в доме и с минуты на минуту либо явится на заставу сам, либо сообщит по телефону, что в его доме находится неизвестный.

Каримов был доволен. Он не усомнился в патриотизме Мирона Акимыча, хотя Миров считал, что, скорее всего, Пряхин — сообщник нарушителя. Каримов был уверен: в ближайший час от Пряхина поступит сигнал.

Однако время шло, а Пряхин ничего не сообщал. Каримов встревожился, приказал разыскать старика и вести за ним наблюдение. «Неужели Миров прав? — мучился он.— Неужели старик Пряхин — резидент и его дом — явка для диверсантов?»

Новые донесения о Пряхине еще больше озадачили Каримова. Просидев более часа на Тюлень-камне (видимо, ждал там кого-то?), Пряхин не спеша побрел вдоль берега, несколько раз останавливался, всматриваясь в горизонт (наблюдал, не появился ли пограничный катер?), потом отправился кружной дорогой в лес (можно и таким путем попасть в квадрат Семерки). Но, зайдя в глубь леса, он долгое время неподвижно просидел на пне, а в полдень (должно быть спасаясь от жары) забрался в кусты и вышел оттуда только перед заходом солнца. Потом снова сидел до темноты на том же пне. К дому направился лишь в десятом часу вечера, шел не таясь, иногда останавливался, чтобы набить трубку. Весь день ничего не ел, не пил и ни с кем не встречался.

Все это было пока что непонятно. Еще загадочнее казалось дальнейшее поведение Пряхина. Вернувшись около полуночи, он вскоре снова вышел из дома и опять направился к морю. Донесение об этом Каримов получил уже по дороге к пещере, проверяя маскировку секретов. Каримов решил остаться на берегу до рассвета,

в надежде, что нарушитель, не зная о судьбе своей лодки, сделает попытку бежать на ней этой же ночью.

— Диверсанта будем брать у лаза в пещеру,— сказал Каримов.— В ползучем состоянии, чтобы гад не успел выстрелить...

* * *

...Берег был пуст. Прожекторы, которые обычно в это время бороздят море и прибрежную полосу, почему-то бездействовали. Мирон Акимыч дошел до пещеры, никого не встретив, не замечая пограничников, хотя дважды прошел мимо замаскированного наряда. «Что они, дьяволы, границы не стерегут!» Исподволь к нему снова начало подползать знакомое чувство недовольства и озлобления. «Под носом ходят нарушители с пистолетом, а они козла, что ли, забивают на заставе?!»

Он и сам не понимал причину своего озлобления, но старику казалось: встреть он на берегу пограничный наряд, ему стало бы легче...

У пещеры Мирон Акимыч повернул обратно. Что будет, когда сын не найдет затопленной лодки, об этом старик не хотел думать. Одно ему было ясно: сына он потеряет навсегда.

Подавленный событиями минувших суток, он не сразу заметил, что навстречу ему, ломаясь о прибрежные валуны, наползая на них, двигались две огромные тени. Странно, но Мирон Акимыч узнал по тени майора Каримова. Он остановился, словно боясь наступить на эту тень.

Каримов и Бажич сделали вид, что удивлены неожиданной встречей.

— Чего вам не спится, Мирон Акимыч? — спросил Каримов и добавил как бы между прочим: — Не полагается ночью ходить по берегу, вы это отлично знаете...

— Знаю... Бессонница проклятая замучила. А как посижу на берегу, послушаю волну, мне вроде и легче...

— Пожилых бессонница всегда мучит,— заметил Бажич.

— Может, теперь и усну,— сказал старик.— А вам, вижу, тоже не спится...

— На это мы, слава богу, не жалуемся. Обойдем участок и на боковую,— ответил Каримов. Теперь он убедился, что Миров был прав. Нарушитель собирается ночью бежать и выслал старика проверить, нет ли на берегу пограничников. И то, что любопытный старик, который вчера интересовался, пойман ли бандит, сейчас держится так, словно никогда и не слыхал о нарушителе, убедило лучше всяких доказательств, что Пряхин и нарушитель связаны между собою.

— Спокойной вам ночи,— сказал старик.

— Спокойной,— ответил коротко Каримов.

И они разошлись в разные стороны.

* * *

Мирон Акимыч миновал Тюлень-камень и стал подыматься к дому. Каримов сказал: «Обойдем участок и на боковую», но Пряхин не поверил ему. С каких это пор такие начальники стали сами делать обход по всему берегу? Нет, он, Пряхин, тоже кое-что в пограничных делах смекает! Каримов торчит на берегу потому, что будет важное дело,— это яснее ясного. И опять Мирон Акимыч подумал: «Не знают пограничники, что Петр у меня... Если отсидится недели две-три, тогда ему удастся скрыться... Господи, почему его пуля пощадила!»

Тупая боль в груди заставляла старика часто останавливаться, ныла раненная в гражданскую войну нога.

Прихрамывая, он поднялся по размытой дождем тропе и медленно, словно каждый шаг причинял ему невыносимую боль, побрел к дому.

Петр ждал в сенях.

— Ну что? — Старик не узнал его сиплого голоса.— Берег чист? Можно идти? Чего молчишь?

Мирон Акимыч прислонился к косяку, ему казалось, что сейчас он упадет замертво здесь, у порога. А чужой голос сипел из темных сеней:

— Чего ты молчишь? Время уходит! Берег чист? Говори!

— Чист! — выдохнул старик, чувствуя, как проваливается под ногами пол.— Берег чист! Иди!

Из последних сил он толкнул дверь на улицу, Петр шагнул за порог, и старик увидел, как с высокого черного неба упала в море раскаленная звезда...

УРАВНЕНИЕ СО МНОГИМИ НЕИЗВЕСТНЫМИ

ФЕВРАЛЬ СОРОК ТРЕТЬЕГО ГОДА

Поле, где летом жаворонки выводили птенцов, было теперь истерзано колючей проволокой, выбито сапогами пленных. Сколоченные среди поля бараки труб не имели: если нет печей, трубы не нужны.

В лагере томились триста двенадцать женщин-военнопленных. Месяц назад их было четыреста сорок, но голод, холод, побои, болезни неумолимо делали свое страшное дело. Каждое утро из бараков выносили мертвых. Их закапывали по ту сторону колючей проволоки, у самого лагеря. Могил не было, поздней осенью приехал бульдозер, прорыл вдоль проволоки длинный широкий ров и уехал. В этот ров пленные опускали очередную жертву и засыпали землей. Надзирательница — высокая длиннолицая немка с пистолетом на боку — поигрывала кожаным хлыстом и спрашивала:

— Вы имеете знать, почему мы положили покойников близко? Чтобы вы имели видеть себе будущее...

Пленные понимали свою обреченность. Двойной ряд проволоки под током высокого напряжения, свирепые овчарки, пулеметные вышки, голая степь вокруг — все это не оставляло никаких надежд на побег. Жила в их сознании только одна неколебимая надежда — Красная Армия. Но армия была далеко, а смерть — рядом...

В тот февральский вечер вихрилась колючая поземка, ветер, ворвавшись сквозь щели барака, заставил измученных женщин забиться на дощатые нары и лежать без движения, накрывшись с головой грязными дырявыми шинелями.

Неожиданно распахнулась дверь. Вместе с ледяным порывом ветра в барак вошли два человека. Одного из них все знали — комендант лагеря.

— Быстро! Встать! Стройся!

Три слова прозвучали как три пистолетных выстрела. Натянув шинели, женщины стояли в полутемном бараке, дрожа от холода, пытаясь понять, что будет дальше, кто этот человек, пришедший с комендантом. На нем была незнакомая форма, не похожая на немецкую. Он молча смотрел на пленных и вдруг резко вскинул вверх руку, словно призывая к тишине, хотя и без того все молчали в напряженном, тревожном ожидании.

— Русские женщины! — сказал густым басом человек в непонятной форме.— Слушайте меня все, кому дорога Россия! — Он умолк, поправил на остром хрящеватом носу очки и снова поднял руку.— Я послан к вам замечательным русским патриотом генералом Власовым. Генерал Власов командует истинно русской армией, армией, которая избавит многострадальную Россию от большевистских комиссаров. Генерал знает, что в немецких лагерях находятся истинно русские патриоты, которые с честью будут сражаться в рядах его славной армии. Тысячи и тысячи пленных красноармейцев с радостью вступили в Русскую освободительную армию генерала Власова. Но нам нужны не только солдаты, которые воюют с оружием в руках, нам нужны врачи, санитарки, сестры милосердия, нужны машинистки, телефонистки — словом, для любой русской патриотки у нас найдется благородная работа, каждая из вас может приблизить час победы, час освобождения нашей Родины от большевистской тирании! Вы сразу же получите новое зимнее обмундирование, две недели будете отдыхать, есть горячую пищу. В заключение я хочу сообщить вам радостную весть. Немецкие войска совместно с армией генерала Власова заняли вчера Петроград. Москва окружена, большевики в панике. Теперь уже ясно — война продлится два-три месяца, не больше. Скоро

вы вернетесь к своим семьям, вернетесь живыми, здоровыми. Русские женщины! Родина ждет вас! Кто хочет увидеть своих детей, родителей, близких, для тех есть только один путь — вступить добровольно в армию генерала Власова. Внимание, дорогие русские женщины! Кто хочет служить в истинно русской армии — два шага вперед!

Пленные стояли неподвижно, было слышно, как за тонкими щелястыми стенами завывает метель. Словно не веря своим глазам, власовец сдернул очки, обвел тяжелым взглядом немую шеренгу и неожиданно усмехнулся.

— Хочу пояснить,— сказал он бархатным голосом проповедника,— кто не захочет служить в Русской освободительной армии, тот обречен на гибель! Завтра ваш лагерь перестанет существовать! Вы будете распределены по другим концентрационным лагерям, из которых живыми не выходят. Я сказал все! Теперь, когда вы знаете свою судьбу, предлагаю в последний раз: кто хочет добровольно служить в армии генерала Власова — два шага вперед!

Несколько минут пленные продолжали стоять плотной стеной, и вдруг одна из женщин сделала два шага вперед. Сгорбившись, втянув голову в плечи, она стояла теперь впереди всех. Ей было страшно, она ждала, что вслед за ней выйдут и другие, и тогда все будет хорошо и уже не будет страшно. Но никто не сделал и шага из строя, нельзя было понять, где минуту назад стояла эта женщина,— строй сомкнулся и по-прежнему был ровен и нем.

Выражение лица власовца было стерто полумраком, но голос его прозвучал отрывисто и зло:

— Фамилия? Воинская специальность? Звание? Возраст?

— Рябова... Связистка... Старший сержант... Двадцать два года...— едва слышно проговорила пленная и сделала еще шаг вперед, отдаляясь от строя, молча стоявшего за ее спиной.

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА СПУСТЯ

Совещание проводил старший инспектор ленинградского уголовного розыска Дробов. На его столе лежало содержимое сумочки убитой: французская губная помада, пудреница, носовой платок, духи с загадочным названием «Быть может», ключи от квартиры и комнаты, сторублевая купюра, металлический рубль, кольцо с прозрачным камнем, исписанный обрывок бумаги, билет в кинотеатр «Антей» и служебное удостоверение, из которого явствовало, что Кривулина Зинаида Михеевна работала телефонисткой на коммутаторе прядильно-ткацкой фабрики. Рядом с удостоверением желтела конфетная обертка.

— Медицинская экспертиза утверждает, что Кривулина была отравлена во время киносеанса мгновенно действующим ядом.— Дробов указал на яркую конфетную обертку.— Яд содержался в конфете, которую она даже не успела прожевать. На обертке конфеты стоит марка таллинской кондитерской фабрики, однако не исключено, что это один из ложных следов, который нам подбрасывает преступник. Обертка была зажата в кулаке мертвой Кривулиной. Сейчас нам предстоит составить первоначальный план розыска. Убийство дерзкое, исключительное по своей наглости, поэтому розыск будет вести не только районная милиция, но и мы. От районного угро в нашу группу подключен товарищ Мохов, хорошо вам известный.

Участники совещания — Кулябко и Трошин — взглянули на сидевшего в углу Мохова.

— Встречались,— подтвердил Трошин.

— С ним и я работал,— сказал Кулябко.

— Друзья встречаются вновь, только повод-то для встречи — хуже некуда,— невесело усмехнулся Дробов.— Для раскрытия преступления даны предельно короткие сроки. Прокуратура торопит. Через три дня вместе со следователем я должен докладывать о нашей работе прокурору города. Сейчас нам нужно отработать версии, выдвинутые совместно со следователем прокуратуры. Ваши замечания? С чего начнем?

— Бумажный обрывок — неплохая зацепка,— сказал Мохов.

— Не исключено, что это поможет размотать все дело,— согласился Кулябко.

Дробов и сам полагал, что несколько карандашных строк без начала и конца могут служить отправным пунктом расследования. Он столько раз перечитывал эти строчки, что запомнил их наизусть. Запись начиналась с середины фразы: «...он так и сказал, что отправит меня на тот свет, отравлю, как крысу, сказал. Он это сказал в субботу вечером, когда я варила обед на воскресенье, а в доме никого не было, и свидетелей у меня нет. Это такой человек, что он может убить меня, потому что он боится...» На этом записка обрывалась, на ней не было ни даты, ни подписи, ни адресата.

— Я думаю, Василий Андреич, следует обратить внимание на билет в кино,— сказал Кулябко.

— Поясните.

— Билет в «Антей» у нее был один, лежал в сумочке под носовым платком, под пудреницей и губной помадой. Если откинуть версию о самоубийстве...

— Она, безусловно, отпадает,— заметил Трошин.

— Категорические выводы, товарищ Трошин, требуют не категорических утверждений, а убедительных до-

казательств. Пока что мы таковыми доказательствами не располагаем. Продолжайте, Кулябко.

— Если откинуть версию о самоубийстве, то есть основания думать, что Кривулина и ее убийца пришли в кино не вместе, а порознь. В противном случае у одного из них были бы оба билета, скорее всего — у мужчины, это естественно. Очевидно, убийца не хотел показываться вместе со своей жертвой. Он заранее передал Кривулиной билет, пришел в «Антей» позже ее, дождался, когда она войдет в ложу, и только тогда появился сам. Думаю, что все было так.

— Возможно. Но почему вы уверены, что первой в кино пришла Кривулина, что убийца появился в ложе после нее?

— Могу ответить. Ее билет оказался под носовым платком, под пудреницей, под губной помадой. Значит, после того как она предъявила билет контролеру, она пользовалась и пудреницей и губной помадой, иначе билет лежал бы сверху, а не под ними. Скорее всего, косметика была пущена в ход, когда Кривулина находилась уже в ложе: для того чтобы напудриться, чтобы освежить на губах помаду, женщина должна смотреться в зеркало. Проделать все это, находясь в фойе, стоя в тесной толпе, крайне неудобно. Наводить же подобный «марафет» в присутствии спутника пожилые женщины избегают. Вот почему я полагаю, что на протяжении нескольких минут Кривулина была в ложе если и не одна, то, во всяком случае, без своего спутника, а посторонних она могла и не стесняться.

— Ваша версия в какой-то степени обоснована,— заметил Дробов и взглянул на Трошина.— А ваше мнение?

— Я разделяю версию Кулябки,— сказал Трошин.— Убийца был осторожен, действовал как опытный преступник. Но я хочу обратить внимание на другое: в ру-

ках преступника оказался яд, да еще не какой-нибудь, а мгновенно действующий! Откуда? Ответ на этот вопрос сразу облегчил бы нашу задачу.

Дробов утвердительно кивнул головой:

— Все правильно, все правильно, дорогие товарищи. Между прочим, небезынтересно узнать, каким образом, получая восемьдесят один рубль, Кривулина могла позволить себе покупать семирублевую французскую помаду, носить сорокарублевые английские туфли.

— А золотое кольцо с бриллиантом? — напомнил Трошин.

— Кольцо пока под вопросом. Оно найдено в углу ложи, надо еще доказать, что оно принадлежит Кривулиной.— Дробов вынул из ящика стола лист бумаги.— Тут у меня набросан приблизительный план мероприятий. На первоначальный период. Сегодня же передать соответствующее обращение по радио и телевидению. Дальше: узнать биографию погибшей, установить круг ее знакомств, друзей, родных, выяснить взаимоотношения с жильцами квартиры. Поинтересоваться моральным обликом Кривулиной: может быть, это явится ответом на вопрос, откуда у нее сторублевая купюра, сорокарублевые туфли и все такое прочее. Следующий пункт: выяснить, появлялись ли в продаже в ленинградских магазинах таллинские конфеты «Пьяная вишня». И, наконец, еще два важных пункта. Пункт первый. Кто тот человек, угрожавший ей в одну из суббот? Скорее всего, он живет в той же квартире или жил в ней раньше.

— Почему вы так думаете? — спросил Мохов.

— Вспомните фразу из записки: «Он это сказал в субботу вечером, когда я варила обед на воскресенье, а в доме никого не было». Посторонний человек вряд ли мог знать, что в субботу, то есть в выходной день, в квартире никого не будет и он сможет на кухне, куда

может войти любой жилец, поднять скандал, угрожая Кривулиной смертью. Надо выяснить ее отношения с жильцами. Пункт второй — о нем уже здесь говорили — яд! Яд, который находится под строжайшим контролем соответствующих организаций. Надо обнаружить щель, через которую он просочился и оказался в руках убийцы. Хочу подчеркнуть, что время, как всегда, работает на преступника, а не на нас. Действовать надо без промедления! Понимаю, что нашей малочисленной для такого розыска группе будет трудно. Но есть договоренность с полковником — людей нам дадут столько, сколько потребуется. А теперь распределим обязанности — и за дело!

* * *

Переданное по радио обращение было краткое, но, как всегда в таких случаях, загадочное, интригующее: «Лиц, находившихся в четверг, пятого сентября, в кинотеатре «Антей», в ложе «Б», на сеансе, начавшемся в девятнадцать часов пятнадцать минут, просят позвонить по телефону номер 77-49-53».

Обращение, переданное по телевидению, сопровождалось показом во весь экран женской фотографии и заканчивалось просьбой откликнуться тех, кто видел эту женщину пятого сентября в кинотеатре «Антей», сообщив об этом по телефону номер 77-49-53.

На другой же день на обращение отозвались по телефону два человека. Разговор с ними, вопреки ожиданиям Дробова, затемнил и без того «глухое» дело. Сейчас вместе с Кулябко он прослушивал эти телефонные разговоры, записанные на магнитофон. Девичий голос в магнитофоне звучал робко:

« — Я слышала по радио... просили позвонить... тех, кто был пятого в ложе «Б»...

— Да, да, совершенно верно,— это зазвучал голос Дробова.— Очень хорошо, что вы позвонили. Значит, вы были на предпоследнем сеансе и сидели в ложе «Б»?

— Нет... У меня был билет в эту ложу, но только на последний сеанс...

— Но вы что-то хотите нам сообщить, не правда ли?

— Я хотела рассказать, что пришла в кино рано... и сидела в фойе, напротив этой ложи. Я купила эскимо и ждала, когда кончится сеанс... Вы меня слушаете?

— Да, да, я внимательно слушаю. Прошу вас, продолжайте.

— За двадцать две минуты до начала следующего сеанса из ложи «Б» вышел мужчина... Такой пожилой... в шляпе. А больше я ничего не видела...

— То, что вы рассказали, очень важно. Я прошу вас подъехать к нам на Литейный, чтобы рассказать все подробнее...

— А подробнее я ничего не знаю... я только видела, как он вышел из ложи...

— Вы видели гораздо больше, чем вам кажется, уверяю вас. Прошу вас приехать как можно скорее. Вы поможете нам найти важного преступника.

— У нас послезавтра контрольная по тригонометрии,— теперь голос звучал совсем уже по-детски.— У нас очень строгая учительница...

— Это займет не больше часа, даже меньше. Вы ведь живете совсем близко, на Загородном проспекте. Прямое сообщение любым троллейбусом».

Магнитофонная лента продолжала крутиться, но голос умолк. Видимо, удивленная школьница пыталась понять, откуда известен ее адрес. Она не могла знать, что во время разговора с ней удалось засечь не только номер ее телефона, но и установить адрес абонента. Лента сделала еще несколько холостых оборотов, и вновь послышался голос Дробова:

« — Я знаю не только, где вы живете, я даже могу назвать номер вашего телефона: 14-40-36. Правильно?

— Правильно...

— Вот видите. Вы говорите с инспектором уголовного розыска. Моя фамилия Дробов, Василий Андреевич Дробов. А вас как зовут?

— Кузьмина... Надя... Надежда...

— Вот мы и познакомились, Надя Кузьмина. А как ваше отчество?

— Филипповна. Но меня так еще никто не зовет — по отчеству...

— Разрешите и мне не называть вас по отчеству. Но я должен его знать, чтобы выписать вам пропуск. Чем скорее вы приедете, тем больше останется у вас времени на подготовку к контрольной.

— Я не знаю... Родителей дома нет... Они рассердятся, что я поехала...

— Не рассердятся, поверьте мне. Сколько вам лет?

— Семнадцатый.

— Значит, вы уже взрослый человек. Вы должны понимать, как важно избавить общество от опасного преступника. Мы нуждаемся в вашей помощи, как же вы можете нам отказать? Вы, конечно, комсомолка?

— Да.

— Тем более вы должны нам помочь».

Несколько секунд лента магнитофона шелестела вхолостую, прежде чем послышался тихий голос Нади:

« — Хорошо... Только в случае чего вы объясните родителям... Я приеду к четырем часам.

— Отлично, Надя! Жду! Захватите паспорт. Пропуск будет у постового. В пропуске все сказано: этаж, номер комнаты, моя фамилия...

— Хорошо...

— Тогда — до скорого свидания».

Кулябко выключил магнитофон.

— Запомнила момент выхода неизвестного из ложи с точностью до минуты. Неправдоподобно! — усомнился он.

— Да, да, это странно,— согласился Дробов.— Приедет,— выясним. Давайте вторую запись.

Кулябко нажал клавишу магнитофона, послышался старческий сиплый голос:

« — Это 77-49-53?

— Да.

— Это вы давали обращение по телевидению?

— Совершенно верно. Вас слушает старший инспектор уголовного розыска Дробов Василий Андреевич.

— Очень приятно познакомиться. Хочу вам сообщить, что женщину, фотографию которой вы показывали по телевидению, я никогда не встречал.

— Зачем же вы утруждаете себя этим звонком? Простите, не знаю вашего имени-отчества.

— Денисов Владимир Иваныч. Персональный пенсионер местного значения. Я хочу сказать, уважаемый Василий Андреевич, что этой дамы я не встречал, но я видел, как незадолго до конца сеанса из ложи «Б» вышел молодой человек и быстро пошел вниз по лестнице. У меня был билет в соседнюю ложу. Я еще подумал, что картина, должно быть, совсем плохая, если даже молодые люди не могут досидеть до конца...

— Владимир Иванович, вы нас крайне обяжете, если подъедете к нам, в управление, к восемнадцати часам.

— К вашим услугам. Рад оказать помощь правосудию.

— Жду вас к восемнадцати часам. Захватите паспорт, пропуск будет у постового при входе.

— Ровно в восемнадцать буду у вас».

Голос оборвался, Кулябко щелкнул клавишей, зеленый глаз магнитофона растаял. Дробов прошелся по комнате и остановился перед Кулябкой.

— Итак, пока что мы имеем два свидетельства, согласно которым незадолго до конца сеанса из ложи «Б» вышли два человека. Один из них пожилой, другой — молодой. Они вышли не вместе, а порознь. Это дает право предполагать, что ушедшие не были знакомы друг с другом, иначе они ушли бы одновременно.

— Может быть, так, но может быть и другое. Они вышли в разное время не случайно: уход из киноложи одновременно двух зрителей непременно обратил бы на себя внимание.

Дробов недоверчиво хмыкнул:

— По-вашему, мы имеем дело с групповым преступлением?

— Не исключено. Шел гангстерский фильм «Мститель». Мы с вами его видели. Круто замешанный американский детектив, и, каков бы он ни был по своей социальной направленности, зритель напряженно ждет развязки, которая наступает лишь в последних кадрах фильма. Ни вы, ни я, отлично понимая, что фильм ерундовый, все же не ушли до конца.

— Значит, вы считаете, что к убийству Кривулиной причастны эти двое, ушедшие до конца сеанса?

— А вы предполагаете, что преступник воспользовался уходом из ложи двух ему неизвестных зрителей и совершил убийство?

— Почему вы считаете такую версию несостоятельной?

— Потому, что она уязвима. Принять ее — значит утверждать, что преступник, отправляясь с Кривулиной в кино, не предполагал покончить с ней там: не мог же он заранее планировать уход ненужных ему свидетелей.

— Но почему же эти двое до сих пор не откликнулись на наше обращение?

— Для этого может найтись множество причин. С утра до вечера никто радио не слушает. Наше обра-

щение могло до них не дойти или дошло по слухам, в искаженном виде...

Их спор прервал телефонный звонок. Кулябко поспешно включил магнитофон и приложил к уху ларингофон. Теперь он мог слушать одновременно с Дробовым.

Дробов поднял трубку:

— Алло!

— С кем мне говорить по объявлению насчет кино?

— По этому вопросу надо говорить со мной. Я вас слушаю.

— Так вот, я был в той ложе, только ушел раньше, у меня разболелась голова в духоте, и потом я прямо оглох от всех этих выстрелов.

— Простите, как ваше имя-отчество?

— Марк Данилович.

— А фамилия?

— Фамилия? Фамилия Клофес.

— Простите, не расслышал.

— Тогда по буквам: кардинал, лорд, Отелло, Фердинанд. Вы меня слышите? Фердинанд. Епископ, сцена. Клофес. Кло-фес!

— Понятно. Марк Данилович, необходимо, чтобы вы сегодня вечером подъехали в наше управление.

— Не имею возможности,— донесся до Дробова сдавленный голос.

Дробов сделал знак, и Кулябко поспешно вышел в соседнюю комнату.

— К законам я влеченья не имею,— продолжал Марк Данилович. — Не хочу вмешиваться в уголовные дела, не желаю таскаться по судам и следствиям...

— Но вы же позвонили нам...

— Да, позвонил, чтобы сообщить, что был в этой ложе, ушел до конца сеанса. В ложе остались две женщины и какой-то молодой человек.

— Я еще раз убедительно прошу вас приехать, нам необходимо иметь описание внешности второй женщины и молодого человека.

— Я сказал все! — резко оборвал Дробова собеседник.— Я имею восемьдесят три года плюс инфаркт, плюс стенокардию. Но вам этого мало, вы хотите, чтобы у меня был еще инсульт! Так я этого не хочу! Все! Слышите, я сказал — все! — Легкий щелчок, и послышались короткие гудки, старик повесил трубку.

— Чертов дурак! — Дробов был сейчас зол не столько на старика, сколько на самого себя: не смог уговорить такого важного свидетеля. В ложе, оказывается, была еще и женщина. Двое мужчин, один из них этот самый Клофес, второй — какой-то молодой человек, неизвестная женщина и Кривулина...

Вошел Кулябко, по его виду Дробов понял — неудача.

— Что, звонил из автомата?

— Да. Из городской билетной кассы на Васильевском. Выйти на него не успели — быстро закончился разговор.

— Непростительно упустить такого свидетеля! — Дробов хлопнул ладонью по столу.— Чего он испугался?

— Может быть, у него есть основания не встречаться с милицией, точнее — с уголовным розыском?

— Похоже, черт возьми! Он даже на этот счет выразился весьма определенно: «К законам я влеченья не имею». Я эту фразу уже однажды слышал, но где, от кого, при каких обстоятельствах — не помню.

Впервые Кулябко видел своего начальника в таком смятенном состоянии.

— Берегите, Кулябко, запись этого разговора, она может пригодиться.

— Все же попытаемся раздобыть старика,— неуверенно сказал Кулябко.— Мы знаем его фамилию, имя, отчество...

— Сейчас же сделаем запрос. Знаете, что он сообщил? В ложе кроме него сидел какой-то мужчина и две женщины. Но известно, что двое мужчин покинули ложу до конца сеанса, значит, один из ушедших — этот самый чертов Клофес, о нем, очевидно, и говорила Надя. Второй пока неизвестен. Ну а женщина? Если преступники те, кто покинул ложу, то какова роль женщины? Тут одно из двух: либо ушедшие до конца сеанса не имеют отношения к преступлению, и тогда убийца — женщина, либо преступники все трое и женщина тоже покинула ложу до конца сеанса. В протоколе райугро сказано, что после окончания сеанса в двадцать часов пятьдесят минут в пустой ложе «Б» был обнаружен труп женщины...

В дверь раздался робкий стук, в комнату, растерянно озираясь, вошла худенькая девчушка.

Дробов поспешил ей навстречу:

— Здравствуйте, Надя! Садитесь, пожалуйста. А вас, Максим Трофимыч, попрошу зайти ко мне через двадцать минут.

Кулябко понял: Дробов опасается, что присутствие второго человека смутит девушку, придаст разговору официальный характер.

— Спасибо, что пришли, Надя,— сказал Дробов.— Значит, математичка у вас строгая?

— Ужас просто!

— А я почему-то не сомневаюсь, что вы отлично справитесь с контрольной. Признаюсь вам, что сам я больше тройки по тригонометрии никогда не имел, и то при помощи «шпор»... В нашем классе было двадцать мальчишек и восемь девочек. Девчонки про нас даже песню сложили:

Двадцать лодырей прекрасных
В класс приходят в день ненастный,
Все равны, как на подбор,
И в карманах двадцать «шпор»!

Надя рассмеялась, почувствовав себя непринужденно с этим веселым, разговорчивым человеком.

— Нам о «шпорах» и думать нечего,— сказала Надя.— У нас такая училка, прямо всех насквозь видит, все замечает. Прямо по лицу угадывает, с первого взгляда!

— Тогда ей надо работать у нас, а не в школе,— весело отозвался Дробов.— Нам очень нужны люди, которые умеют не только смотреть, но и замечать, а тем более с первого взгляда. Сейчас мы проверим, можете ли вы тоже замечать что-нибудь с первого взгляда. Значит, вы говорите, что из ложи «Б» вышел человек, не досмотрев фильма?

— Да.

— Приблизительно за сколько времени до конца сеанса?

— До конца сеанса — не знаю, знаю только, что до начала моего сеанса он ушел за двадцать две минуты.

— Вы помните с точностью до одной минуты? — не скрывая удивления, спросил Дробов.

— Да, помню... мои часы очень точные.

— Но это возможно только в том случае, если, увидев этого человека, вы специально посмотрели на часы. Вряд ли так было.

Тонкие прямые брови Нади, дрогнув, сошлись на переносице.

— А вот именно так и было. Потому что я ела эскимо и повторяла про себя одну теорему тангенсов и вдруг увидела, что из ложи вышел человек. Я решила, что кончился сеанс, сейчас начнут пускать, и посмотрела на часы и увидела, что еще только восемь часов тридцать три минуты, а сеанс начнется в восемь пятьдесят пять.

— Это убедительно. Один ноль в вашу пользу. Не сомневаюсь, что и на остальные вопросы я услышу та-

кие же точные ответы. Вы сказали, что это был человек немолодой?

— Да, это был уже пожилой человек.

— Как вы думаете, сколько ему лет?

— Я его не разглядела хорошо, помню только, что он был старый.

— А все-таки. Сколько ему можно дать лет? — Дробов вспомнил телефонный звонок Марка Даниловича.— Шестьдесят? Семьдесят? А может быть, еще больше — скажем, за восемьдесят?

— Что вы? — пожала плечами Надя.— Кому за восемьдесят, тот в кино не ходит. Таких старых я вообще не видела.

— А все-таки попробуем определить его возраст. Он старше вашего папы?

— Конечно, старше. Папа у меня пожилой, но еще не старый. Ему в январе будет сорок два года. А знаете, как он на лыжах ходит? Лучше меня!

Дробов внутренне усмехнулся: по ее понятиям, человек в сорок два года — пожилой.

— Значит, этот человек старше вашего отца?

— Старше... У него даже виски седые.

— Только виски? А остальная голова?

— Остальная — не знаю. Он был в шляпе. Наверное, весь седой, а может быть, лысый.

— Значит, он был в шляпе. Какого цвета шляпа?

— Точно не скажу, только помню, что темная...

— Какого он роста?

— Роста? Среднего... Может, выше среднего...

— Выше меня или ниже? — Дробов встал, чтобы Надя могла увидеть его во весь рост.

— Вроде вас...

— Может быть, вы запомнили его лицо: какое оно — круглое, овальное? А бывают лица, которые, выражаясь знакомым вам геометрическим языком, хорошо вписы-

ваются в равнобедренный треугольник. У нас такие лица так и называются — треугольные.

Надя виновато улыбнулась:

— Я его лица не запомнила. Видно, и вправду я могу только смотреть, а видеть не умею.

— Во что он был одет? Плащ? Куртка? Пиджак?

— Это я помню,— обрадовалась Надя.— На нем была коричневая болонья. Я запомнила потому, что мама все время говорит, что папе надо достать коричневую болонью, вот я тогда и подумала: хорошо бы папе такого цвета.

— Вот видите, значит, вы умеете не только смотреть, но и замечать.

— Еще я помню, что он был в перчатках. Я даже удивилась, подумала, что у него, может, руки больные — теплый день, а он в перчатках.

— Он был в перчатках? — Дробов не спускал с Нади глаз.— Вы уверены? Вам не показалось?

— Очень хорошо помню...

Дальнейшие ответы Нади ничего нового не внесли. Девушке казалось, что Дробов недоволен ею.

— Я же говорила... ничего важного не знаю... предупреждала...

— А вот и нет! Ошибаетесь, сударыня! Все, что вы сообщили, очень важно. Надеюсь, что наш разговор поможет напасть на след преступника...

Ровно в восемнадцать часов появился Денисов — франтоватый старик с перстнем на мизинце. Закрученные колечком седые усы, ровный, словно по ниточке, пробор посредине головы, острая седая бородка — все это придавало ему забавную воинственность и старомодный вид.

С первых же слов Дробов решил, что от этого несколько манерного старика никаких ценных сведений он не получит. Денисов подтвердил свое первоначальное

сообщение: до конца сеанса из ложи «Б» вышел молодой мужчина. Внешность незнакомца Денисов описать не мог, не запомнил также, во что тот был одет.

— Помню вот только, что он был, знаете ли, в шляпе.

— Какого цвета?

— Не гневайтесь, но не помню: не обратил внимания.

— Можете вы приблизительно определить его возраст?

— Это был молодой человек.

— Никаких особенностей в его походке или одежде вы не заметили?

— Никаких, если не считать одну, так сказать, экстравагантность. В такую жару — я имею в виду температуру в кинотеатре — этот субъект, представьте себе, был в перчатках. Во всяком случае, когда он вышел из ложи, он был в черных перчатках.

Дробов с трудом удержался, чтобы не вскочить со стула:

— Он был в черных перчатках? Это точно?

— Черные, именно черные. Это, знаете ли, в дни моей ранней юности, когда я учился в кадетском корпусе, мы обязаны были на балах и в театрах появляться в перчатках, разумеется, не в черных, а в белых, лайковых. Но чтобы в наши дни... в кино... летом...

Дробов ощутил всем своим существом счастливое возбуждение, которое всегда охватывало его с появлением малейшего просвета в «глухом» деле. «Я даже удивилась, подумала, что у него руки больные»,— вспомнил он слова Нади. Значит, оба — и молодой человек, которого видел Денисов, и старый, которого видела Надя,— оба боялись оставить отпечатки пальцев. Значит, оба они, если и не являются непосредственными убийцами Кривулиной, то все же безусловно являются

соучастниками этого дерзкого преступления. Но если эти двое только соучастники, то кто же непосредственный убийца? Ответ на этот вопрос дает телефонный звонок Клофеса. В ложе находились четыре человека: двое мужчин и две женщины. Мужчины под каким-то предлогом ушли раньше конца сеанса, и в ложе остались две женщины — убийца и жертва. А может быть, женщина ушла еще раньше, и тогда — непосредственный отравитель один из этих мужчин? Кто-то из них угостил Кривулину отравленной конфетой, яд подействовал мгновенно, и, убедившись в этом, убийца спокойно вышел из ложи.

— Скажите, Владимир Иванович, вы твердо уверены, что этот субъект был в перчатках?

— Молодой человек! — Денисов воинственно вскинул голову, острая бородка его нацелилась Дробову в грудь.— Хотя мне и семьдесят три года, но я не дал вам основания полагать, что я маразматик!

— Бог с вами, у меня и мысли такой не было.— Желая успокоить столь обидчивого свидетеля, Дробов добавил с притворной веселостью: — Мне крайне приятно, что вы назвали меня молодым человеком. Сегодня же расскажу об этом жене.

— Простите за любопытство, а сколько вам лет?

— Сорок пять.

— Так что же вас удивляет?! Сорок пять!..— вздохнул Денисов.— Какой прекрасный возраст... Молодость... Энергия... Здоровье... Женщины... Да...— Он снова тяжело вздохнул.— А теперь, если позволите, я пойду. Сожалею, если не был вам полезен.

— Я вам признателен, Владимир Иванович. Беседа с вами, безусловно, облегчит нашу задачу.

Денисов церемонно откланялся и, стараясь не горбиться, прямой, молодцеватой походкой направился к выходу...

В районное отделение милиции Куприянов был вызван телефонограммой. Прежде чем приступить к разговору, Мохов позвонил кому-то по телефону, назвал себя и произнес только одно слово: «Интересуюсь». Очевидно, там, на другом конце провода, знали, чем интересуется старший лейтенант милиции. Во время разговора Мохов изредка молча кивал головой, наблюдая исподволь за сидящим у стола Куприяновым. Опытному Мохову нетрудно было заметить, что Куприянов нервничает. Узловатые подагрические пальцы его беспокойно шевелились, левая нога непрерывно подрагивала.

«Чем он так напуган? — недоумевал Мохов, продолжая слушать незримого собеседника.— Не иначе, как в детстве его пугали милиционером!»

Не переставая подрыгивать ногой, Куприянов вынул из кармана сигарету, чиркнул спичкой и тут же наткнулся глазами на лаконичное предупреждение: «Не курить!» Дунув на спичку, он смял сигарету и сунул в карман.

— Все понятно. До завтра,— сказал Мохов собеседнику, положил трубку и обратился к Куприянову:

— Я вызвал вас в связи с убийством гражданки Кривулиной. Вы живете с ней в одной квартире?

— Да... в одной...

— Сколько времени прожили вы в одной квартире с Кривулиной?

— Семь лет.

— Можете вы обрисовать круг ее знакомств, ее образ жизни, с кем она постоянно общалась? Может быть, она упоминала в разговоре с вами о своих врагах, высказывала опасения за свою жизнь?

По мере того как Мохов задавал вопросы, лицо Куприянова теряло испуганно-напряженное выражение,

бледно-голубые глаза смотрели спокойно, нога под столом перестала выбивать судорожную дробь. Отвечая на вопросы, он поглаживал широкой ладонью срезанный подбородок.

— Что я могу сказать, гражданин начальник? — Голос Куприянова оказался высоким, резким. Медленно и с трудом, точно пасту из засохшего тюбика, он выдавливал осторожные слова: — Лично мне покойница Зинаида Михеевна ни на кого не жаловалась... нет, не жаловалась... Насчет образа жизни... так ведь какой образ жизни у служащего! Утром к девяти на работу, а я вот, например, к восьми... Вечером придешь, пока то да се — газетку пробежишь, телевизор посмотришь, с женой поговоришь,— уже и спать пора...

— Безрадостная картина получилась, товарищ Куприянов,— заметил Мохов.— Непонятно, кто же каждый вечер заполняет наши театры, концертные залы, стадионы, кинотеатры?..

— Бездельников хватает...

— Но неужели вы сами никогда не бываете в театре или в кино? — искренне удивился Мохов.— Когда вы в последний раз были в кино?

— В кино?.. Я?..

— Да. Когда вы были в кино?

Узловатые пальцы Куприянова снова зашевелились.

— Не помню... Может, год... а может, и больше. Мне запоминать ни к чему.— Он заговорил вдруг торопливо, без пауз, точно неопытный оратор, выбившийся из регламента, не успевший сказать главного, ради чего поднялся на трибуну: — Кривулина жила скромно, только вот разве недавно франтить стала. Вернулась из дома отдыха в июле — на ногах туфли импортные, кофта тоже заграничная.

— В каком доме отдыха она была?

— Где-то в Прибалтике, а где — не говорила. Я не

спрашивал, она не говорила. Про врагов своих мне лично тоже не говорила. Гостей у нее не бывало. Пока муж не умер — приходили, а после — не замечал. Может, и были, а только я не замечал. Тут надо Скрипкину Антонину Ивановну спросить, у них комнаты рядом, а Скрипкина — пенсионерка, всегда дома. Может, она что и заметила, в смысле гостей...

— В дни, предшествовавшие убийству, вы не заметили какой-либо озабоченности, изменения в обычном поведении гражданки Кривулиной?

— Ничего не заметил. Утром, в день, когда это все случилось, мы как раз вместе из дому вышли. Зинаида Михеевна совсем веселая была, даже загадку мне смешную задала, вроде анекдота.

— А именно?

— Говорит: у американского радио спрашивают: «Какая разница между неграми и белыми медведями?» А американское радио отвечает: «Точно не знаем, но кого-то из них нельзя убивать».

Он хихикнул, выжидательно смотря на Мохова. Однако новых вопросов не последовало. Мохов сделал какую-то пометку в блокноте и встал.

— На этом, товарищ Куприянов, сегодня попрощаемся. Не исключено, что на днях мы вас еще побеспокоим.

— Ради бога, ради бога, чем могу — всегда пожалуйста.— Он направился к выходу и уже на пороге обернулся и скорбно покачал головой: — И откуда только берутся бандиты? Страшно из дому выйти. Год в кино не был, еще пять лет не пойду!

Он вышел, неслышно прикрыв за собою дверь. Мохов склонился над блокнотом, жирно подчеркнул занесенные на чистую страничку два слова: «Гражданин начальник» и поставил два больших вопросительных знака.

* * *

Скрипкина оказалась маленькой сухонькой старушкой, в коротком не по возрасту платье, с ярко накрашенными тонкими губами и в соломенной шляпке с голубым бантом.

— Я вызвал вас по делу об убийстве Кривулиной,— сказал Мохов.

— Я сразу догадалась,— самодовольно сказала Скрипкина.

— Почему вы так подумали?

— Ничего удивительного. За мною никаких нарушений нет, совесть моя чиста, значит, вызывают в связи с этим жутким происшествием. С этим кошмарным убийством!

— Вы правы, за вами никаких нарушений нет. Хочу задать вам несколько вопросов. Скажите, Антонина Ивановна, в каких отношениях находилась Кривулина с вами и супругами Куприяновыми? Насколько мне известно, других жильцов в вашей квартире нет?

Быстрым движением Скрипкина поправила сбившуюся набок шляпку и вдруг затараторила, задребезжала, как старая таратайка по бездорожью:

— Между нами, женщинами, отношения были идеальные. Разумеется, случались мелкие недоразумения непринципиального характера, кратковременные эксцессы. Но, должна сказать правду, эти досадные скандалы возникали не чаще раза в месяц, на болезненной почве расчетов за электричество в местах общего пользования, за телефон и тому подобное.

Скрипкина умолкла, показывая всем своим видом, что с нетерпением ожидает новых вопросов. Ее обесцвеченные мелкие кудряшки выбились из-под шляпки, и маленькое круглое личико стало до смешного похоже на мордочку старой болонки.

— Вы сказали, Антонина Ивановна, что между женщинами отношения были идеальные. А каковы были взаимоотношения между Кривулиной и Куприяновым?

— Мне грустно вспоминать об этом, товарищ лейтенант. Скажу вам по секрету, что наш квартуполномоченный Григорий Матвеич Куприянов совершенно лишен соответствующего воспитания, его манеры ужасны. Не далее как две недели назад, сразу же после отъезда его супруги в отпуск, разразился эксцесс. Григорий Матвеич вел себя не по-советски. Конечно, если бы он знал, что я дома, он бы не позволил себе такое, но он был убежден, что меня нет... и Зиночка тоже так думала...

— А почему они думали, что вас нет дома?

— Утром Зиночка и Григорий Матвеич вместе уходили, мне это сразу показалось подозрительным, им же надо в разное время на работу. Я и сказала, что с семи вечера меня не будет: я сказала, что у меня есть билет в цирк. Они и поверили.

— Значит, на самом деле вы не собирались идти в цирк?

— Конечно, не собиралась. Что я там не видела? Коней? Клоунов? Я люблю серьезное искусство, уж если куда идти, так в оперетту.

— Для чего же вы сказали, что вас не будет дома?

— Я же объяснила, что его жена уехала в отпуск!

— Какое отношение имеет отъезд жены Куприянова к вашему... к вашей выдумке о цирке?

— Ах да, об этом я еще не сказала. Видите ли, когда Любочка — это жена Григория Матвеича — уезжала, она прямо-таки умоляла меня, чтобы я следила за ее мужем, за его поведением, а главное, проследить, будет ли он ходить по вечерам в комнату покойной Зиночки или она к нему. Потому что Любочка подозревала...— Скрипкина стыдливо хихикнула и поправила на лбу кудряшки.

— Так... Понятно... А вы как считаете, у жены Куприянова были основания подозревать своего мужа в близких отношениях с Кривулиной?

— Мне и самой было интересно, я прямо спросила Любочку, почему она так думает. Любочка от меня ничего не скрывала, она мне прямо сказала, что обо всем догадывается потому, что у Кривулиной появились английские туфли, пальто с норковым воротником, холодильник висячий. А в день ее трагической смерти я сама видела на ее руке золотое кольцо с камнем. Представляете?! Это на ее-то зарплату! Любочка мне сказала, что не иначе, как Григорий Матвеич делает ей памятные ценные подарки. А за какие глаза, спрашивается?!

— Но разве Куприянов получает такую большую зарплату, что имеет возможность делать дорогие подарки?

Лицо Скрипкиной сразу приняло настороженное выражение:

— А этого, вы меня извините, я не знаю. Я в чужие дела не вмешиваюсь.

— Хорошо. Вернемся к нашему разговору. Что же произошло вечером, когда они думали, что вас нет дома?

— Страшная сцена! Сижу тихо в своей комнате, слышу, пришла Зиночка. Что-то там повозилась в комнате, потом пошла на кухню варить чего-то. А кухня как раз напротив моей комнаты. Вскоре, слышу, и Григорий Матвеич появился, и сразу к Зиночке на кухню. Они, конечно, думают, что в квартире никого нет,— дверь в кухню настежь. Я прямо дышать перестала, чтобы не пропустить чего. Поначалу они говорили совсем тихо, я даже расстроилась, ничего не слышно, думаю, как же я теперь в глаза Любочке смотреть буду — рассказывать нечего. И вдруг, представляете, слышу крики. И он кричит, и она кричит. Прямо страшно...— Скрипкина

остановилась, перевела дух и водворила на место непокорную шляпку.

— Почему же они кричали, — вы что-нибудь поняли?

— Что кричали — помню, а в чем было дело — не разобрала.

— Что же они кричали?

— Первой закричала покойница, прямо зашлась: «Меня, кричит, задешево не купишь! Я твои махинации знаю! Ты у меня загремишь — не опомнишься! Десятка тебе обеспечена!» Я, товарищ лейтенант, признаюсь, не поняла, при чем здесь десятка, кто ее должен дать Григорию Матвеичу...

— Это неважно. Прошу вас продолжать. Что ответил Куприянов Кривулиной?

— Жутко вспомнить! Он замахнулся на нее кулаком!

— Постойте. Вы были в своей комнате, как же вам удалось увидеть, что Куприянов замахнулся на нее кулаком?

Скрипкина отвела глаза в сторону и беззвучно хихикнула.

— Еще раз прошу объяснить, каким образом вы могли увидеть, что делается в кухне, если вы находились в своей комнате за закрытой дверью?

— У меня, товарищ лейтенант, над дверью фрамуга, она застекленная, я и увидела.

— Как же вы могли видеть через фрамугу, она же высоко, выше двери?

— А я сразу же стремяночку подтянула,— я свою у себя держу. Мне с нее все видно было как на ладошке...

— Продолжайте. Ударил Куприянов Кривулину?

— Слава богу, не ударил, но такое сказал, такое сказал, что, как, вспомню,— мурашки по спине бегают...

— Что же он сказал?

— «Я,—говорит,—тебя, стерву, раньше на тот свет отправлю! Отравлю, как чумную крысу!» А покойница, можете представить, не испугалась, кричит в ответ: «И об этой угрозе сообщу кому надо! Только и думаешь меня со света сжить, от свидетеля избавиться!» И, не поверите, плеснула в него щами из кастрюли! Я, как увидела все это, как услышала, прямо от страху чуть со стремянки не свалилась.

— Как вы полагаете, что имела в виду Кривулина, говоря, что Куприянов хочет избавиться от нее, как от свидетельницы?

— Который день сама голову ломаю — ума не приложу, прямо извелась...

— Значит, Куприянов и Кривулина были за последнее время в ссоре? Не разговаривали друг с другом?

— В том-то и дело, что наоборот. Помирились! Не знаю, что и подумать! Ненавижу сплетни, но в интересах истины... Совсем недавно слышу ночью — дверь ее скрипнула, у нее дверь скрипит совсем не так, как у Григория Матвеича. Скрипнула дверь, слышу, как он мимо моей комнаты шаркает на цыпочках к себе. Представляете! Полная аморальность! А утром, слышу, зовет ее в театр.

— В театр или в кино?

— Вот уж не скажу точно. Может быть, и в кино. Твердо помню, что приглашал, только не помню куда именно.

— Постарайтесь припомнить точно, когда это было. Число?

— Число? Это было за два дня до гибели Зиночки. Значит, утром, третьего сентября.

— Кривулина согласилась пойти с ним?

— Она тихо ответила, так что не знаю, что сказала, а только думаю, что согласилась. А чего им, жена в отъезде! Раздолье!

— Скажите, Антонина Ивановна, лично у вас отношения с Кривулиной были нормальные?

— Абсолютно!

— А с Куприяновым?

— Идеальные!

— Ну хорошо. Надеюсь, что наша беседа послужит на пользу дела. Предупреждаю вас, что наш разговор пока что никто, ни один человек, не должен знать. Если найдете нужным дополнить ваши показания новыми фактами — вот вам номер моего телефона, позвоните, и мы встретимся еще раз. Всего вам доброго, и помните — никому ни слова.

— Уж я, товарищ лейтенант, что-что, а тайны хранить умею.— И, поправив непокорную шляпку, Скрипкина встала, протянув с улыбкой Мохову руку, сверкающую перламутровыми ногтями.

Расставшись со Скрипкиной, Мохов сделал в блокноте запись: «Подарки Кривулиной? Угроза убийства: «Отравлю, как чумную крысу». Шантаж: «Десятка тебе обеспечена...»

ИЗ ДОКУМЕНТОВ И РАПОРТОВ

«Имеющиеся в личном деле анкета и автобиография Кривулиной Зинаиды Михеевны (до замужества — Быкова З. М.) свидетельствуют, что она родилась 5 июля 1918 года в г. Минске, где и проживала до 10 июня 1941 года. 10 июня Быкова уехала в деревню под Минск к родственникам, предполагая провести у них отпуск, и, не успев эвакуироваться, осталась на временно оккупированной немцами территории. В феврале 1942 года Быкова вместе с другими девушками была угнана в Восточную Германию и отдана в батрачки помещику фон Траубе. В 1944 году за отказ работать на военном заво-

де была заключена в концентрационный лагерь, расположенный на территории Польши. Из лагеря освобождена Красной Армией в начале 1945 года. Далее в автобиографии Кривулина пишет: «Желая всей душой отблагодарить героическую Красную Армию, спасшую меня от неминуемой гибели в гитлеровском лагере, я видела свой долг советской патриотки в том, чтобы отдать все свои силы, а если понадобится, то и жизнь, борьбе с ненавистным фашизмом, и решила не возвращаться на Родину, пока враг не будет окончательно уничтожен. Мне удалось добиться зачисления в ряды Красной Армии, где я поначалу была регулировщицей, а затем штабной машинисткой».

Осенью 1945 года, еще находясь в рядах Красной Армии, Быкова вышла замуж за уроженца города Пскова лейтенанта Кутова И. Г., и оба после демобилизации в 1946 году поселились в Пскове, где Быкова-Кутова работала телефонисткой на городской телефонной станции, а Кутов на той же станции монтером.

В 1958 году, разведясь с мужем, Быкова-Кутова завербовалась на целину, в Кустанайскую область, где через год вышла замуж за ленинградца Кривулина Петра Аверьяновича, шофера, временно мобилизованного на уборку урожая. Вместе с Кривулиным приехала в Ленинград, получила постоянную прописку на его жилплощади, где проживала по день своей смерти. В 1961 году Кривулин П. А. скончался от перитонита. До 1966 года Кривулина работала на коммутаторе СМУ, а с 1966 года — на коммутаторе прядильно-ткацкой фабрики. Свой переход на другую работу объясняла живущим в квартире разницей в зарплате (10 рублей), жалуясь, что на 71 рубль в месяц прожить не может.

По отзыву зам. директора по кадрам Кривулина работала удовлетворительно, принимала участие в общественной работе...»

«На ваш запрос под № 1245/ОУР УВД Минского облисполкома сообщает, что вследствие того, что в первые дни Великой Отечественной войны большинство архивов было уничтожено, установить интересующие вас данные о гр-ке Быковой Зинаиде Михеевне в настоящее время не представилось возможным.

Нами производится дальнейшая проверка, о результатах которой сообщим вам дополнительно».

«Сообщаем, что в концентрационном лагере С-113 на территории Польши в 1944 году действительно находилась военнопленная Быкова Зинаида Михеевна. В регистрационных документах лагеря, захваченных нашими частями, месяц рождения Быковой указывается январь, а место рождения — город Камень-на-Оби, Новосибирской области. Сестра Быковой Зинаиды Михеевны — Быкова Варвара Михеевна и поныне проживает в городе Камень-на-Оби».

«Справка

Куприянов Григорий Матвеевич, 1920 года рождения, уроженец г. Уфы, проживающий в г. Ленинграде, по ул. Марата, 21, кв. 8, был осужден 12 ноября 1950 года нарсудом Калининского района г. Москвы по ч. 2, ст. 2 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1947 года «Об усилении уголовной ответственности за хищение государственного и общественного имущества», к семи годам лишения свободы.

В 1953 году был освобожден на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР «Об амнистии».

Из материалов, имеющихся в ОБХСС Сестрорецкого района, явствует, что Куприянов участвует в групповом хищении соцсобственности, осуществляемом в Строительном тресте. В ближайшее время нами будут получены данные, дающие основания для ареста Куприянова».

«Кривулина З. М. проживала в коммунальной квартире, где кроме нее съемщиками являются одинокая пенсионерка Скрипкина Антонина Ивановна и прораб одного из ленинградских СМУ — Куприянов Григорий Матвеевич с женой Любовью Павловной, которая с 19 августа находится в отпуске в г. Сочи. Взятые мною объяснения Скрипкиной не исключают возможности участия Куприянова в убийстве Кривулиной З. М., заинтересованного в ликвидации свидетеля его преступных махинаций в недавнем прошлом: хищение дефицитных строительных материалов (олифы, краски, сантехнического оборудования, паркета, импортных облицовочных материалов).

В настоящее время ОБХСС заинтересован, чтобы Куприянов не подозревал, что его преступные действия известны следственным органам: наблюдение за ним даст возможность установить его сообщников, а также лиц, приобретавших у него заведомо краденные материалы.

Запись объяснений граждан Куприянова Г. М. и Скрипкиной А. И. прилагается.

Ст. инспектор ОУР
К. Мохов».

«Справка

По учету Центрального адресного бюро УВД Ленгорисполкома Клофес Марк Данилович среди лиц, прописанных в г. Ленинграде и Ленинградской области, не значится.

Регистратор ЦАБ
Г. Антонова».

«Произведенная проверка всех организаций Ленинграда, имеющих право производить, хранить и отпускать

в лечебных целях медикаменты, включающие в себя экзогенные яды, установила, что на протяжении текущего года учет, хранение и отпуск ядовитых веществ производились в соответствии с действующими распоряжениями Министерства здравоохранения СССР».

«Рапорт

Сообщаю, что, прибыв в г. Камень-на-Оби, я встретился с гражданкой Быковой Варварой Михеевной и предъявил ей две фотографии Кривулиной Зинаиды Михеевны (фотография № 1 снята в Пскове в 1947 году, фотография № 2 снята в Ленинграде в 1967 году). Гр-ка Быкова заявила, что женщину, изображенную на предъявленных фотографиях, она никогда не видела. На мой вопрос, сохранились ли у нее фотографии ее сестры Быковой З. М., гр-ка Быкова В. М. ответила утвердительно и вручила мне четыре фотографии сестры в возрасте девяти, тринадцати, пятнадцати и двадцати лет. Из беседы с Быковой В. М. было установлено, что в августе 1941 года комсомолка З. Быкова после неоднократных заявлений была зачислена на курсы медсестер в Новосибирске, по окончании которых была направлена санинструктором на Западный фронт. Последнее ее письмо родителям датировано августом 1942 года. В ноябре 1942 года ее родители (ныне покойные) получили извещение о том, что младший лейтенант Быкова Зинаида Михеевна пропала без вести.

Последнее письмо Быковой З. М. с фронта и ее четыре довоенные фотографии прилагаю вместе с протоколом о их добровольной выдаче.

Инспектор ОУР
И. Трошин».

Из актов криминалистических экспертиз, произведенных на основании постановления старшего следователя

прокуратуры г. Ленинграда, советника юстиции Дорофеева:

«1. Перед экспертом был поставлен вопрос: изображено ли на двух фотографиях 1, 2 и фотографиях 3, 4, 5, 6, полученных от гр-ки Быковой В. М., одно и то же лицо.

Заключение. В результате визуального сопоставления анатомических признаков, совмещения изображений, сопоставления относительных величин, характеризующих соотношения расстояний между определенными точками лица, производимых с учетом возрастных изменений изображенных на фотографиях личностей, установлено, что на представленных шести фотографиях изображены два различных лица: одно — на фотографиях 1, 2, другое — на фотографиях 3, 4, 5, 6.

2. Перед экспертом был поставлен вопрос: принадлежат ли два рукописных текста — письмо с фронта Быковой З. М. и автобиография, написанная от руки Кривулиной З. М.,— одному и тому же лицу.

Для ответа на заданный вопрос была проведена почерковедческая экспертиза путем исследования характеристики почерка по форме и направлению, наклона почерка, степени связности почерка и частных признаков почерка.

Заключение. Рукописные тексты исполнены различными лицами.

Старший эксперт НТО УВД
Н. Лаптев».

«...Кривулина Зинаида Михеевна со 2 по 15 июля с. г. находилась по путевке месткома прядильно-ткацкой фабрики в доме отдыха имени Восьмого марта в эстонском местечке Этюп...

Ст. инспектор ОУР
К. Мохов».

ОБЫСК

Ознакомившись с материалами, Дробов собрал свою группу и без всяких вступительных пояснений, словно продолжая давно начавшийся разговор, сухо сказал:

— Хвастаться нам нечем... Да... Нечем, говорю, хвастаться.

— Но все же мы кое-что узнали за эти дни,— неуверенно проговорил Трошин.

— Что мы узнали? Каждое известие ставит перед нами новые загадки, а мы и старых-то ни одной не решили. Никаких твердых предпосылок для ясных, обоснованных выводов и заключений у нас по-прежнему нет. Так или не так?

— Мне кажется, вы несколько мрачно смотрите на проделанную работу,— подал голос Мохов.— Для некоторых выводов у нас есть основания, ну хотя бы то, что этот самый мифический Клофес в действительности не существует.

— То есть как это не существует? — почти возмущенно спросил Дробов.— Выходит, что по телефону со мною говорил призрак? Тень отца Гамлета! Он существует, этот чертов Клофес, еще как существует! Другое дело, что он придумал себе эту фамилию. Вот и выходит, что справки из адресного бюро не столько облегчили, сколько осложнили нашу работу.

— Скорее всего, это просто бездельник-хулиган, который решил поиздеваться над милицией после отбытия очередных пятнадцати суток,— сказал Трошин.

— К этому вопросу мы вернемся позже. А сейчас обратимся к рапорту Мохова — он тоже осложнил нашу задачу. Оказывается, мы должны определить не только кто такой убийца, но и кто такая убитая. Что это — просто совпадение: две Зинаиды Михеевны Быковы? Одна родилась и жила в Белоруссии, другая — в Сиби-

ри. Обе родились в один и тот же год. Если бы не их редкое отчество, можно было бы считать это простым совпадением, но Михей столь редкое имя, что пройти мимо такого совпадения, не обратив на него внимания, нельзя. Что мы, собственно, знаем о Кривулиной — Быковой? Факты, которые нам стали известны, почти целиком основаны на документах, составленных самой же Кривулиной. Ясно, что они рисуют ее неплохо, я бы даже сказал — хорошо. Автобиография, анкеты и всякая такая штука написаны ею лично. В них все приглажено, волосок к волоску. А вот скудные сведения, полученные по нашему запросу, вызывают настороженность.

— Неувязка с месяцем и местом рождения,— заметил Кулябко.

— Не только. Давайте рассуждать. В автобиографии говорится, что вместе с другими девушками она была угнана в Германию в феврале сорок второго года. Между тем организованный угон молодежи в Германию начался позже. Обратите внимание, сколь глухо, неопределенно указаны географические пункты. Ни одного конкретного названия, кроме Минска: уехала в деревню под Минск к дальним родственникам. Как называется деревня? Деревень под Минском сотни, попробуй проверь, где она была. И фамилия родственников не указана, значит, и от этой печки танцевать нельзя. Дальше. «Была заключена в концентрационный лагерь, расположенный на территории Польши». Новая загадка: в Польше был не один лагерь. К счастью, в нашем распоряжении имеются некоторые списки заключенных. В них есть Быкова Зинаида Михеевна, узница лагеря С-113. В списках она числится военнопленной. Но из автобиографии Кривулиной явствует, что в армии она оказалась только в конце войны, то есть когда Польша была уже освобождена от гитлеровцев. Значит, военно-

пленной она никак не могла быть. И, наконец, как правильно здесь было замечено, несовпадение месяца и места рождения: в автобиографии Кривулина пишет, что родилась в Минске пятого июля девятьсот восемнадцатого года, а в лагерных документах местом рождения значится Камень-на-Оби и стоит другая дата рождения. Слишком много тумана в биографии убитой. Если она та самая Зинаида Михеевна, о которой пришло в сорок втором году ошибочное извещение, что она пропала без вести, то почему же она, оказавшись на родине в сорок пятом, не только не навестила самых близких ей людей, но даже не сочла нужным послать им трехкопеечную открытку: дескать, жива-здорова, вышла замуж, живу там-то. Подумайте, какой надо быть сволочью, чтобы не сообщить о себе, не поинтересоваться, живы ли старики родители. Нет, для такого поведения должны быть определенные причины...

— Вы не допускаете, что они у нее были, эти причины, что она вполне сознательно стремилась поддерживать у родных уверенность в своей гибели? — спросил Трошин.

— Допускаю, пока что допускаю. И тут нам уже помогают работники КГБ. Но наша задача — не допускать, а знать. А мы знаем сегодня ненамного больше, чем три дня назад.

— Вот с этим я не согласен, Василий Андреевич,— сказал Кулябко.— Мы усомнились в правдивости Кривулиной, и это потребует от нас дополнительной работы. Я не удивлюсь, если такая работа поможет нам быстрее напасть на след убийцы. А разве звонок так называемого Клофеса не дает нам оснований для некоторых размышлений, если только вы не согласны с предположением, что он обычный хулиган?

— Эту версию отвергаю. Конечно, проще всего решить, что этот телефонный звонок — не более чем хули-

ганская выходка лоботряса, дурацкий розыгрыш и тому подобное. Но час назад я дважды самым внимательным образом прослушал запись. Тон, которым он говорил, особенно одна фраза,— все это не вяжется с обычным розыгрышем. Давайте рассуждать. Вслушайтесь в его голос. Можно подумать, что со мною говорили два человека. До моей просьбы приехать к нам в управление голос Клофеса был тверд, звучен, ничуть не похож на старческий. Но, как только я предложил ему приехать к нам, голос мгновенно изменился, превратился в какое-то старческое бормотание, и последовало заявление, что ему восемьдесят три года. Произошло мгновенное перевоплощение, причем, как вы можете сами убедиться, достаточно талантливо исполненное. Из практики мы знаем, что все эти любители телефонной трепотни болтают до тех пор, пока ты сам не бросишь трубку, но Клофес оборвал разговор, можно сказать, на полуслове. Вслушайтесь: последние две фразы — прямо-таки скороговорка, он торопился закончить разговор. Почему? Для этого мог быть ряд причин, не будем гадать, но нельзя исключить предположение, что он знал, сколько минут требуется милиции, чтобы не только выяснить, откуда идет разговор, но и успеть застать человека в будке телефонного автомата. Его последние слова: «Все! Я сказал — все!» по своему звучанию не имеют ничего общего со старческим голосом. Очевидно, торопливость помешала ему доиграть до конца роль дряхлого старика.— Дробов обвел взглядом свою группу и продолжал:— Я задерживаю ваше внимание на разговоре с Клофесом, потому что не исключаю — о смерти Кривулиной ему что-то известно и этот разговор Клофесу был нужен. Все мы прослушали запись этого краткого разговора. Скажите, вас ничто в нем не удивило?

— Меня удивила его расшифровка своей фамилии по буквам,— сказал Трошин.— Необычный подбор слов.

— Очень странная расшифровка,— подтвердил Мохов.

— Совершенно с вами согласен. Мы с Кулябкой сразу же обратили на это внимание. Когда человек уточняет по буквам свою редкую, труднопроизносимую фамилию, он называет самые ходовые русские имена. Из шести слов Клофес назвал только два имени...

— Причем оба нерусские,— перебил Дробова Кулябко.— Отелло и Фердинанд.

— А теперь вспомните,— продолжал Дробов,— остальные четыре слова: кардинал, епископ, лорд, сцена. Почему такой необычный, странный набор слов? Случайно? Случайным может быть одно слово, а тут — все шесть слов непривычны для нашего слуха, не существующие в обиходе. Но, очевидно, для него эти слова стали повседневными, так сказать — обиходными. Так кто же этот человек? Что это за фамилия — Клофес? Очевидно, выдуманная. Тогда естественно предположить, что выдуманными являются также его имя и отчество.

— Получается, что об этом человеке мы ничего не знаем — ни фамилии, ни профессии, ни возраста,— констатировал Трошин.

— Кроме одного — этот человек имеет какое-то отношение к смерти Кривулиной.

— Надо нажать на Скрипкину и Куприянова: может быть, они наведут на след. Если этот Клофес знал Кривулину, то естественно предположить, что он бывал у нее,— сказал Мохов.

Дробов утвердительно кивнул головой.

— А теперь — о Куприянове.— Дробов потянулся за сигаретой, долго разминал ее, точно потерял нить разговора.— Свидетельство Скрипкиной заслуживает самого пристального внимания. Судя по нему, Куприянов — отпетый тип и ему есть чего бояться. Имея уже одну серь-

езную судимость, которую ему удалось скрыть, он предстанет перед судом, как рецидивист. Минимум, который он получит, это та самая «десятка», которая так озадачила Скрипкину. Если вести розыск по классическим образцам — а мы не должны ими пренебрегать,— то следует задать себе естественный вопрос: кто больше всего заинтересован в смерти Кривулиной? Пока что — я подчеркиваю — пока что, по нашим данным, в смерти Кривулиной был заинтересован Куприянов, видевший в ней опасного свидетеля своих преступных махинаций. Вот почему надо сегодня же произвести у него обыск и взять под наблюдение. Если обнаружится малейшая, пусть даже косвенная улика о причастности Куприянова к смерти Кривулиной — придется его забрать. В крайнем случае, извинимся и выпустим.

* * *

— Имейте в виду,— напутствовал Мохова старший следователь горпрокуратуры Дорофеев,— вы можете обнаружить при обыске сравнительно крупную сумму денег, солидную пачку облигаций трехпроцентного займа, сберкнижки на предъявителя, — все это не может служить предметом вашего внимания, Куприянов не должен думать, что обыск как-то связан с его преступными махинациями на стройках. Об этом настойчиво просит ОБХСС. Искать надо улики, связанные только с убийством Кривулиной.

— Какие улики? — недовольно спросил Мохов.— Не застрелена, не зарезана, не задушена — отравлена! Шесть лет работаю в угрозыске — впервые сталкиваюсь с таким преступлением века! Загадка!

— Между прочим, товарищ Мохов, разгадывать загадки — это часть нашей работы, необходимое качество, которым должен обладать человек нашей профессии.

Рецепты для таких разгадок существуют только в учебниках криминалистики, но думать, что они годны на все случаи жизни,— наивно, чтобы не сказать — глупо. Вы и сами понимаете, что у Куприянова важно обнаружить коричневую болонью, черные перчатки, темную шляпу. Необходимо изъять все имеющиеся у него лекарства, независимо от того, что написано на упаковках. В процессе обыска вы, возможно, обнаружите и другие улики,— всего предусмотреть нельзя...

При обыске Мохову помогали два практиканта — курсанты спецшколы милиции. Впервые принимая участие в таком деле, они неотрывно следили за выражением лица Куприянова. На занятиях в спецшколе видный ученый-криминалист утверждал, что при обыске преступник не может полностью владеть собою. «Производящие обыск, если они наблюдательны,— назидательно говорил профессор,— замечают, как преступник реагирует на ход обыска, они улавливают в его поведении признаки особого беспокойства, указующие на приближение ищущих к цели. Такая наблюдательность дает возможность производить обыск с наибольшим эффектом». Помня эти слова профессора, оба практиканта сейчас не спускали глаз с Куприянова.

В отличие от практикантов, понятые— дворник и водопроводчик ЖЭКа — сидели в одеревеневших позах, казалось совсем не интересуясь столь необычным для них делом, как обыск. Мохов не впервые встречался с таким безразличием понятых — демонстративное равнодушие было своеобразным проявлением такта: оказавшись случайными участниками чьей-то беды, они считали неуместным всякое любопытство.

Стараясь, чтобы Куприянов не догадался о подлинной причине обыска, Мохов время от времени задавал

ему «уводящие в сторону» вопросы: «Есть ли у вас знакомые в Ялте?», «Когда вы получали в последний раз больничный лист?», «С какого времени занимаетесь фотографией?»

Куприянов отвечал не сразу, стараясь понять, в связи с чем задают ему такие странные вопросы: знакомых в Ялте у него никогда не было, больничный лист он получал года четыре назад, вывихнув на стройке ногу, фотографией никогда не занимался. Связать эти вопросы между собою он, естественно, не мог, но одно ему стало ясно: к преступлениям в СМУ этот обыск отношения не имеет. Сидя на диване, он листал «Огонек», пытаясь создать впечатление, что обыск его не волнует. Иногда он опускал журнал на колени, молча оглядывал комнату, как бы желая убедиться, что незваные гости еще не ушли. Такое самообладание Куприянова Мохов мог объяснить только одним — ворюга-прораб убежден, что в убийстве Кривулиной его не подозревают, а деньги, облигации, сберкнижки, о которых говорил Дорофеев, он заранее припрятал в надежном месте.

Практиканты, напряженно следившие за выражением лица Куприянова, были недовольны собою: должно быть, у них отсутствует необходимая наблюдательность. За все время обыска им не удалось обнаружить на лице преступника никаких признаков особого волнения.

...Обыск подходил к концу. Закончив осмотр серванта и антресолей, Мохов открыл дубовый платяной шкаф. Вещей в шкафу оказалось гораздо меньше, чем предполагал Мохов, и он сразу же увидел коричневую болонью. Какое-то мгновенье он смотрел на плащ, не притрагиваясь к нему. Наконец осторожно, двумя пальцами, вынул плащ из шкафа и бережно положил на обеденный стол, за которым, выпрямившись, словно перед фотообъективом, сидел понятой-водопроводчик. «Если повезет, перчатки окажутся в болонье»,— подумал

Мохов и сунул руку в маленький, неглубокий карман плаща. Карман был пуст. Не было перчаток и во втором кармане. Он снова подошел к шкафу, осмотрел все вещи и не нашел ничего заслуживающего внимания, но, подняв со дна шкафа какую-то кофту, обнаружил под ней измятую черную шляпу. Осмотрев ее с внутренней стороны, Мохов положил шляпу рядом с болоньей.

Терзая «Огонек», Куприянов продолжал сидеть на диване, наблюдая исподволь за Моховым.

— Где вы держите лекарства? — вдруг спросил Мохов.

— Какие лекарства? — Куприянов отложил в сторону журнал.— Я, слава богу, здоров, обхожусь без лекарств.

— Значит, ни вы, ни ваша жена никогда не пользуетесь никакими лекарствами, даже таблетками от головной боли?

Куприянов с подчеркнутым равнодушием вскинул на Мохова бледно-голубые глаза.

— Жена, возможно, прибегает, а я пока обхожусь.

Действительно, никаких лекарств ни Мохову, ни практикантам обнаружить не удалось.

Когда результаты обыска были оформлены протоколом, Мохов протянул его Куприянову:

— Ознакомьтесь и распишитесь.

Медленно, словно малограмотный, Куприянов читал строчку за строчкой, лицо его оставалось невозмутимо спокойным. Мохов почувствовал, как его захлестывает неприязнь к этому ворюге и убийце. «Интересно, какую рожу он скорчит, когда прочтет в последнем абзаце об изъятии при обыске коричневой болоньи и черной шляпы»,— подумал Мохов, наблюдая за Куприяновым. Однако реакция Куприянова оказалась неожиданной: он бросил удивленный взгляд на Мохова, потом молча подписал протокол и потянулся за «Огоньком».

— Оденьтесь и возьмите с собою паспорт,— сказал Мохов.— Необходимо уточнить с вами некоторые вопросы.

— Прошу предъявить ордер на арест,— твердо сказал Куприянов.

— Это не арест. Повторяю, у следственных органов есть необходимость уточнить с вами некоторые вопросы. Поэтому предлагаю вам следовать за мной.

— Буду жаловаться,— сказал Куприянов, и практиканты с удовлетворением отметили, что голос его дрогнул и потерял прежнюю уверенность.— Буду писать прокурору, я законы знаю.

— Я тоже их знаю,— не без иронии заметил Мохов.— Одевайтесь и не забудьте паспорт.

Куприянов стал торопливо натягивать на себя старую рабочую куртку. Дрожащими пальцами он никак не мог застегнуть пуговицы. То, что куртка была совсем старая, бросовая, в которой Куприянов, конечно, никогда на улицу не выходил, дало Мохову повод для вывода: вернуться домой Куприянов не надеется. Значит, он имеет отношение к убийству Кривулиной.

* * *

В то время как Мохов производил обыск, Дробов вновь прослушивал магнитофонную запись разговора с Клофесом. Ему нужно было сейчас услышать только одну фразу. И вот она прозвучала: «К законам я влеченья не имею...» Он выключил магнитофон. «К законам я влеченья не имею... К законам я влеченья не имею...— повторял Дробов.— Черт возьми, это же знакомая фраза! Где я слышал ее?.. Когда, от кого? И как странно она звучит, словно стихотворная строчка: «К законам я влеченья не имею...» И произнес ее Клофес совсем не так, как все остальное. Эту фразу он не прого-

ворил, а словно продекламировал. Ах боже мой, что случилось с моей памятью?! Нет, нет, надо взять себя в руки.

В конце концов сейчас важно одно: уверенность, что эту фразу я когда-то слышал или читал. Значит, она где-то печаталась. Будем рассуждать. Стихотворная строчка... очень похоже, что стихотворная... Где-то она напечатана. Автор ее вряд ли наш советский поэт, есть в этой строчке что-то несовременное. Но ведь существуют люди, которые должны такие вещи знать. Ученые-литературоведы просто обязаны дать ответ на подобный вопрос. Надо немедленно ехать в университет, сейчас же, сию минуту!..»

Секретаря парткома университета на месте не оказалось.

— На лекции у вечерников,— сухо обронила девушка, сидящая у телефона.

— Он вернется в партком после лекции?

— Должен.

— Когда кончится лекция?

Девушка взглянула на часы:

— Через пятнадцать минут.

Ей было не до разговоров: только что передали телефонограмму — требовалась очередная партия студентов «на картошку». А где их взять, если занятия уже кончились и остались только неприкосновенные вечерники?

Приоткрылась дверь, в узкую щель просунулась мальчишеская физиономия, обрамленная буйными рыжими бакенбардами.

Девушка вскочила с места.

— Стой! — закричала она свирепо.— Ты мне нужен, Барбаросса, понимаешь, нужен! Звонили из райкома:

завтра утром тридцать студентов должны быть «на картошке». Понял?

— Основную мысль усек.

— С тобой серьезно, а ты... Где я возьму тридцать человек, если все уже разошлись? Ты это понимаешь?

— Понимаю. Ты прекрасно все объяснила: телефонограмма есть, а студентов нет.

— Опять треплешься! Сейчас же наладь по цепочке! Как всегда! От одного к другому! Кто кого застанет! Понятно?

— Суть уловил. Ты — врожденный популяризатор. Умеешь доступным для масс языком изложить сложнейший вопрос: «От одного к другому, кто кого застанет». Бусде! — И, не улыбнувшись, носитель рыжих бакенбард вышел вразвалку из комнаты...

Секретарь парткома и впрямь явился ровно через пятнадцать минут. Еще с порога, не заметив Дробова, он озабоченно спросил:

— Ну как у вас дела насчет картошки?

— Она у нас уже встает на ножки! — заученно ответила девушка.— Вас тут товарищ ждет. Ну я пойду, надо помочь Барбароссе.

Представившись секретарю, Дробов положил перед ним узенькую полоску бумаги, на которой была написана всего одна строчка: «К законам я влеченья не имею».

— Мне нужно узнать, откуда, из какого произведения эти слова, кто их автор,— сказал Дробов.— Вы можете помочь мне в этом?

— Почти не сомневаюсь, но при одном условии: если эти слова действительно из литературного произведения и были напечатаны в каком-нибудь солидном издании.

— Я уверен, что слова эти были напечатаны. Они мне знакомы, значит, я их где-то читал или слышал.

— Ну что ж, зная эрудицию наших филологов, лите-

ратуроведов, думаю, что они справятся с этой литературной викториной.

— Но мне надо срочно. Я знаю, ученые люди не любят спешить, и это правильно, но в моем случае — обстоятельства исключительные.

— Оставьте свой телефон. В какое время вам звонить?

— Звоните лучше с утра. Оставляю вам два телефона: служебный и домашний.

— Прекрасно. Позвоню вам завтра-послезавтра.

— Спасибо. Лично я придерживаюсь правила — не откладывать на послезавтра то, что можно сделать завтра.

— Вас понял! Все, что возможно, будет сделано...

КТО ИЗ ПЯТИ?

— Порядок. Все находятся в пятнадцатой комнате,— доложил Кулябко.

— Как расселись? — спросил Дорофеев.

— Куприянов оказался посредине.

— А сколько их? — поинтересовался Дробов.

— Пятеро.

— Одеты?

— Соответственно.

— Надеюсь, по возрасту все подобраны правильно? — спросил Дорофеев.

— Иван Сергеевич, это же азбука,— обиделся за своих работников Дробов.

— Не сердись, Дробыч. В нашем деле всяко случается. Вывернуть при обыске карманы болоньи — это тоже азбука, а вот поди же...

— Век Мохову не прощу! — насупился Дробов.

— Век не век, а пристыдить надо. Но сейчас будем думать о другом. Интересно, что скажут опознаватели?

— Немного терпенья, и все узнаем,— сказал Дробов.— Я больше надеюсь на девчушку. В таком возрасте память острая, восприимчивая.

— Ее зовут Надя?

— Надя.

— Надо сделать так, чтобы мое присутствие ее не смутило.

— Постараемся.

...Когда Надя вошла в пятнадцатую комнату, там уже сидели вдоль стены пять человек. Единственный свободный стул находился у самых дверей, и Надя, боясь взглянуть на этих пятерых, села, стараясь побороть свой страх. Она не сомневалась, что один из пяти — убийца. И вот ей, Наде Кузьминой, надо опознать его. Никогда еще ей не было так страшно. Сидеть в пяти шагах от убийцы! Наде казалось, что эти люди не сводят с нее глаз, что они догадываются, как ей страшно.

Но, заставив себя поднять голову и взглянуть на сидящих, она поняла, что ее появление никого не заинтересовало. Только сидящий в центре резанул ее настороженным взглядом и что-то сказал соседу. Тот молча пожал плечами, мотнул головой и уставился в потолок.

Пятеро... Все одинаково одеты. На всех коричневые плащи, темные шляпы и черные перчатки. Один из них — убийца. Который же?.. Кто из них вышел тогда из ложи? Первый слева? Может быть... У него — седые виски... морщины на лбу... Тот, который вышел из ложи, тоже был старый... Но рядом сидит такой же, тоже седые виски... Но тот, из ложи, кажется, был полнее... А этот, который посредине? Нет, определенно не он, такое противное лицо она бы запомнила. Следующий? Он похож на их историка, только тот никогда не носит шляпу, даже зимой ходит в берете. Последний? Как против-

но у него шевелятся брови, словно раздавленные гусеницы — ползут, а ни с места! Кто же из них?.. Она пристально вглядывалась в лица, страх прошел, должно быть, потому, что никто из пятерых не обращал на нее никакого внимания. Кто же, кто? Все-таки скорее всего тот, что слева, остальные совсем не похожи...

В дверях показался Кулябко.

— Гражданку попрошу следовать за мною,— проговорил он каменным голосом.

Надя поднялась, ее снова охватил страх, но теперь этот страх был вызван совсем другим: вдруг она укажет не на того, и тогда пострадает невинный человек...

Кулябко пропустил Надю вперед и, угадав ее настроение, пошутил:

— Вот алгебра, так алгебра! Одно уравнение с пятью неизвестными!

Надя попыталась улыбнуться, улыбка получилась невеселая.

Они вошли в кабинет Дробова, и тот с первого взгляда догадался о состоянии Нади. Он понимал, какую нелегкую задачу взвалил на школьницу, сколько волнений доставила ей такая процедура. Знал он и другое: не так уж часто удается подобный эксперимент. Нелегко запомнить мельком увиденного человека.

— Здравствуйте, Надя,— он сделал несколько шагов навстречу девушке и протянул ей руку.— Хочу познакомить вас со следователем городской прокуратуры товарищем Дорофеевым. Я уже рассказал Ивану Сергеевичу, как вы нам помогли.

— Рассказал, все рассказал,— подтвердил Дорофеев.— Я теперь все ваши дела знаю, даже о ваших лютых врагах, всех этих синусах-косинусах! Надеюсь, вы справились с ними?

— Контрольную я написала, но результаты неизвестны — тетрадей еще не раздавали.

— Все будет хорошо, ручаюсь.

— Как вы можете это знать?

— Я все знаю. Знаю, например, что вы сейчас волнуетесь. Но это естественно, в такой ситуации все волнуются. Уж очень велика ответственность. Но мы надеемся на вашу хорошую память. Признали вы кого-нибудь из этой пятерки?

— Не знаю... Я уже говорила Василию Андреевичу... Я тогда смотрела невнимательно... Точно не могу сказать... По-моему, один похож на того...

— Значит, четверых из пяти вы исключаете?

— Да...— И, вспомнив слова Кулябки, смущенно заметила: — Не так-то просто решить одно уравнение с пятью неизвестными, никто такого уравнения не решит.

— Но раз вы исключили четверых, остается одно уравнение с одним неизвестным — ничего трудного. Кто же этот неизвестный? Где он сидит?

— Он сидит первым слева.

— Первый слева? — переспросил Дорофеев и бросил быстрый взгляд на Дробова.— Вы твердо уверены, что именно этот человек вышел тогда из ложи?

— Я твердо не уверена... Я же говорила... Может быть, тот был только похож на этого: тоже такой старый...

— Милая Надя, разве человек, на которого вы указали, старый? Ему же всего пятьдесят лет.

— А разве это не старый — пятьдесят лет? Вспомните, что говорил в повести Пушкина Дубровский о князе Верейском: «Хилый развратный старик» — вот что он говорил. Старик!

— Но при чем здесь князь Верейский?

— При том, что князю Верейскому было как раз пятьдесят лет!

— Да-а...— протянул Дорофеев.— Все правильно

и закономерно. Лилипутам Гулливер казался чудовищным великаном, а жителям царства великанов — букашкой. Да...— И он опять взглянул на Дробова.

— Ну что же, Надя, спасибо. Надеюсь, родители не сердятся?

— Мама вначале испугалась, хотела сама пойти со мною, но папа сказал, что это просто смешно — бояться милиции и что мы все обязаны помогать ей, ну мама и успокоилась...

— Я же говорил вам. Еще раз спасибо. Не сомневаюсь, что за контрольную получите пятерку!..

Надя торопливо направилась к выходу. Дорофеев иронически усмехнулся и развел руками.

— Интересно, что скажет Денисов,— проговорил Дробов, не реагируя на усмешку Дорофеева.

— Сейчас узнаем...

Едва закрылась дверь за Надей, как вошли Кулябко и Денисов.

— Прошу садиться, Владимир Иванович,— приветствовал его Дробов.— С нетерпением ждем вашего ответа.

— Затрудняюсь, уважаемый Василий Андреич. Испытываю большое чувство ответственности. Сами понимаете...

— Понимаю и ценю вашу осторожность.

— Что я могу сказать? Стопроцентной уверенности не имею. Пожалуй, наиболее похож тот, что первый слева, но повторяю: настаивать не могу, не уверен, что именно этот молодой человек вышел тогда из ложи.

— Вы его считаете молодым человеком,— вмешался в разговор Дорофеев.— А, между прочим, ему через три месяца стукнет пятьдесят.

— А по-вашему, человек в пятьдесят лет — старик?! В таком случае кем прикажете считать человека, которому семьдесят три года? Мафусаилом?

Дорофеев понял, что Денисов говорит о себе, и, боясь, что тот обиделся, поспешил переменить тему:

— Вы правы, возраст определяют не годы. Вам бы я не дал больше шестидесяти.

— Приятно слышать.

— И нам остается только поблагодарить вас, Владимир Иванович. Извините, что побеспокоили,— сказал Дробов.

— К вашим услугам, счел своей гражданской обязанностью...

— Ваше свидетельство, Владимир Иванович, быть может, снимет подозрение с человека, неповинного в этом преступлении. Надеюсь, понимаете, как это важно?

— О да, разумеется, понимаю. Не помню, какому великому гуманисту принадлежит замечательное изречение: «Лучше помиловать сто виновных, нежели осудить одного невинного».

Дорофеев рассмеялся:

— Монархические историографы приписывали это изречение Екатерине Второй, той самой великой «гуманистке», которая отдала в рабство дворянам миллионы крестьянских душ.

— К счастью, идеи не тускнеют оттого, что ими прикрываются недостойные люди,— парировал Денисов.

— Не согласен,— жестко сказал Дробов.— Негодяи могут скомпрометировать самые возвышенные идеи. История знает такие примеры.— Он встал.— Вы позволите, в случае необходимости, еще раз побеспокоить вас?

— Всегда к вашим услугам. Честь имею кланяться...

— Два пирожка с ни с чем, — сказал огорченный Дробов, когда закрылась дверь за Денисовым.

— Это как сказать, вернее, как смотреть на вещи. Ученые утверждают, что некоторые неудачи в научных экспериментах тоже двигают науку вперед. Кое-какие

полезные для дела выводы из этой неудачи можем сделать и мы.

— Например?

— Оба свидетеля без колебаний исключили из числа подозреваемых Куприянова. Оба с оговорками указывают на Федорова, который, как вы знаете, только вчера вернулся из круиза вокруг Европы. Это дает нам основание предполагать, что убийца своей внешностью чем-то напоминает Федорова, что возраст убийцы в какой-то степени совпадает с возрастом Федорова. Если это так, то напрашивается неожиданный вывод. Догадываетесь, какой?

Дробов чувствовал на себе нетерпеливый взгляд Дорофеева, но не торопился с ответом, рука машинально полезла в карман за сигаретой.

— Я думаю,— сказал он, закуривая,— что результаты опознания не дают нам возможности судить даже о возрасте преступника. «Старый», «молодой», «пожилой» — все эти понятия для обывателя весьма относительны, расплывчаты, возрастной градации, принятой в науке, они не знают, а если кто и знает — все равно в быту ее не придерживается.

— Замечание справедливо, я его учитываю, но речь не об этом. Теперь мы знаем, что человек, которого увидела Кузьмина, и человек, которого заметил Денисов, приблизительно одного возраста, поскольку оба опознавателя показали на одного и того же человека. Во всяком случае, основания для такого вывода у нас есть. С этим ты согласен?

— Пожалуй...

— Теперь напомню еще одно их утверждение, причем категорическое утверждение. Оба запомнили, как были одеты вышедшие из ложи. Оказывается, и на том и на другом были надеты коричневая болонья, темная шляпа, и оба...— Дорофеев сделал паузу и наставил на

Дробова указательный палец: — Что у них еще было одинаковое?

— Перчатки.

— Правильно! Словом, оба субъекта были одеты одинаково, наподобие униформистов в цирке. Тебе не кажется это странным? Особенно перчатки в начале сентября?

— Но мы же знаем, почему они были в перчатках. Меня больше удивляет другое: почему они были в одинаковых болоньях и шляпах? Впрочем, учитывая стандартный ассортимент наших промтоваров, можно объяснить и это.

— Однако ты забыл о звонке таинственного Клофеса. Давай считать, кто был в ложе. Прежде всего, Кривулина. Затем двое одинаково одетых мужчин. Потом так называемый Клофес и, если верить ему, еще одна неизвестная женщина. Сколько же человек находилось в ложе?

— Получается — пять.

— А между тем ложа рассчитана на четверых, и в ней было, как мы сами убедились, всего четыре стула. Значит, один человек простоял весь сеанс на ногах? Абсурд!

Дробов кивнул головой:

— Согласен. Абсурд. Я думал над этой «арифметикой» и пришел к выводу, что либо никакого Клофеса в кино не было, звонок же его вызван заранее продуманной попыткой запутать следствие, либо Клофес был в кино, но второй женщины в ложе не было, она придумана, опять-таки для того, чтобы направить следствие по ложному следу.

— Но есть, мне кажется, еще одно решение этой простой на первый взгляд задачки. Как говорит Надя, здесь слишком много неизвестных. Давай забудем о звонке Клофеса. Будем исходить из тех данных, которые нам

в той или иной степени известны. Итак, ложа четырехместная. В ней находились Кривулина, двое вышедших мужчин. Итого — три человека. Кто же был четвертый? Думал об этом?

— Конечно. Им мог быть Клофес, им могла быть женщина, о которой говорил Клофес, и, наконец, четвертого могло вообще не быть. Никто не мешал преступникам приобрести все четыре билета, а находиться в ложе втроем.

— Такая версия имеет право на существование. Значит, допускаешь, что четвертого могло и не быть на этом сеансе. Теперь спросим себя, кто же был третьим?

— Не понимаю. В ложе находились жертва и два преступника. Два плюс один — три. Один известен, два неизвестных. Итак, одно уравнение с двумя неизвестными. Наша задача установить, кто был второй и третий.

— Недоумение понятно, если исходить из того, что преступников было двое, точнее, если быть убежденным, что из ложи вышли два человека. Такая уверенность подсказана нам Надей и Денисовым. Но ведь каждый из них видел только одного вышедшего из ложи. Разве ты не заметил, что после сегодняшнего эксперимента их показания противоречат первоначальным выводам. Понимаешь, о чем я говорю?

— Не совсем...

— Ну как же. Показывая сейчас на одного и того же человека, один называет его стариком, другой — молодым человеком. Разве это не противоречивые показания?

— Ты об этом? Но при чем здесь... Постой, постой! — прервал себя Дробов.— Ты считаешь, что... ты думаешь...

— Да, я считаю, я думаю,— не дал ему договорить Дорофеев,— что Денисов и Кузьмина видели одного и того же человека. Не было в ложе двух преступников,

убийца был один. Отсюда и неправдоподобное совпадение в их одежде и возрасте. Преступник был наедине с жертвой — один на один!

— Допустимо, вполне допустимо... Преступник мог заранее купить все четыре билета в эту злосчастную ложу и обеспечить нужную ему обстановку — никаких свидетелей! Если бы удалось найти Клофеса и убедиться, что он действительно был в ложе...

— Найти вашего мифического старика будет нелегко. Об убийце у нас все же имеются кое-какие данные: приблизительный возраст, одежда, конфетная обертка, о которой нельзя забывать, а об этом таинственном Клофесе — ничегошеньки. Найти в многомиллионном городе человека по голосу, услышанному однажды по телефону,— работенка для нас не безнадежная, но трудная, а главное, она не укладывается ни в какие сроки. Можно обнаружить его завтра, а можно и через год.

— Напрасно думаешь, Иван Сергеевич, что он не оставил никаких следов. Возможно, что он изменил голос, выдумал себе имя и фамилию, но... но след он все же оставил. Я жду одного звонка, и этот звонок может многое изменить. Подождем до утра...

КУПРИЯНОВ ДАЕТ ОБЪЯСНЕНИЯ

Прежде чем оказаться в кабинете Дробова, Куприянов прождал вызова не менее часа. «Изучают протоколы обыска,— подумал Куприянов.— Бобики желторотые!»

В действительности же Дробов в это время «распиливал» Мохова.

— Вы что же, даже не осмотрели карманы его болоньи? — ледяным тоном спрашивал Дробов.

— Осматривал, Василий Андреич. Искал перчатки...

Сунул руку в один карман, в другой — ничего нет... пусто...

— Пусто? То есть как это пусто?! Вам, очевидно, лень было вывернуть карманы? Может быть, вы забыли соответствующие инструкции. Спросили бы у практикантов, которые помогали вам производить обыск. Вам было лень, а вот следователь Дорофеев не поленился и вывернул их. Вывернул и обнаружил в глубине забившийся в шов крохотный бумажный катышок. А катышок этот — не что иное, как обрывок билета в кино «Антей» на пятое сентября. И хотя номер места на обрывке не сохранился, но сохранились часы сеанса. Куприянов был пятого сентября на том самом сеансе, когда была убита Кривулина. Вы понимаете, черт подери, значение такой находки?!

Мохов, бледный, пристыженный, стоял держа руки по швам, не находя слов для оправдания.

— Молчите?! — накалялся Дробов. — Не мудрено. Говорить вам нечего! Постыдный факт! Имейте в виду, он будет предметом особого разбирательства.

Мохов продолжал молчать.

— Прикажите Куприянову войти!

Куприянов вошел в кабинет Дробова уверенной походкой, лицо его не выдавало тревоги. Он был убежден, что вызов в милицию не имеет никакого отношения к ОБХСС.

— Садитесь, Григорий Матвеич,— пригласил Дробов.— Хочу задать вам несколько вопросов.

— Прежде скажите, в чем меня обвиняют? — ощетинился Куприянов. Придя к убеждению, что его пребывание в милиции не связано с ОБХСС, он решил не обороняться, а наступать.— По закону вы обязаны сначала предъявить обвинение, а потом уже допрашивать.

— Совершенно правильно, Григорий Матвеич.— Дробов заставил себя улыбнуться.— Приятно, когда

граждане знают не только свои права, но и чужие обязанности. Поэтому ставлю вас в известность, что в настоящее время вы ни в чем не обвиняетесь.

— Тогда почему же вы меня допрашиваете?

— Я вас не допрашиваю, я не следователь, а старший инспектор уголовного розыска. Наш разговор является продолжением вчерашнего опроса, произведенного товарищем Моховым во время обыска. Хочу получить от вас некоторые дополнительные объяснения.

— От меня?

— Именно от вас, Григорий Матвеич.

— Так я уже все сказал.

— Необходимо кое-что уточнить. Постарайтесь припомнить, как вы провели вечер третьего сентября.

— С какого часа вы считаете вечер?

— Допустим, с девятнадцати часов.

— Значит, как провел вечер третьего с семи часов?

— Совершенно верно. Как можно подробнее.

Куприянов наморщил лоб. На его лице Дробов попрежнему не улавливал испуга. «Этот, видать, не «сявка», придется попотеть»,— подумал он.

— В семь вечера я был дома,— сказал, подумав, Куприянов.

— И больше уже не выходили из дома?

— Выходил... За сигаретами.

— Купили сигареты и вернулись домой?

Куприянов бросил быстрый взгляд на Дробова:

— Заскочил по дороге в «Гастроном».

— Что вы там купили?

— Купил банку скумбрии в томате... потом бутылку... пол-литра, значит, водки...

— Вы хотели сказать — бутылку коньяку?

— А хотя бы и коньяку! Зарплата мне позволяет! — вызывающе сказал Куприянов.

— Разумеется, позволяет. Ну а потом?

— Потом вернулся домой.
— А потом?
— Что «потом»?
— Вернулись домой с бутылкой коньяку, с закуской, а дальше? Выпили в одиночку, закусили скумбрией и легли спать? Так, что ли?

Куприянов отвел глаза в сторону:

— Зачем же спать. Так рано я не ложусь. Зашел один человек, посидели немного, телек посмотрели, то да се, за разговорами и не заметили, как пару часов пробежало.

— Скажите, у Кривулиной был знакомый по фамилии Клофес?
— Не слыхал про такого.
— А про Марка Даниловича слышали?
— Тоже не слыхал.
— Скажите, покойная Кривулина любила выпить?
— Пьяной ее не видел.
— Третьего сентября, когда вы выпивали с вашим знакомым, Скрипкина была дома?
— Скрипкиной не было, ушла в театр.
— Вы знали заранее, что ее не будет дома?

Куприянов ответил не сразу:

— Не помню...

Дробов уловил настороженность в круглых бесцветных глазах Куприянова.

— Значит, третьего сентября вы смотрели телепередачи. Что вы запомнили из этих передач?
— Что запомнил? Песни запомнил... понравились, какие уж, и не помню. Хор, кажется, пел. Еще там... ансамбль какой-то играл...
— Когда ушел ваш знакомый?
— Да так около десяти. Я в это время спать уже собираюсь. Мне ведь на стройку... к восьми часам надо, а ехать в Ульянку больше часа.

— В каком театре была в тот вечер Скрипкина?

— Точно не знаю, она всегда в оперетту ходит.

— Значит, вы расстались с вашей гостьей около десяти?

— Что-то в этом роде.— Куприянов не заметил, что Дробов мимоходом уточнил: человек, с которым Куприянов был в тот вечер, женщина.

— А может быть, вы не хотели, чтобы Скрипкина видела, кто был у вас в тот вечер?

После этого вопроса Куприянов заметил свой промах, но, не зная степени осведомленности Дробова, побоялся попасть впросак и пошел напролом:

— Были причины, но это мое дело... личное.

— Верю. Теперь припомните, как вы провели вечер четвертого сентября.

— После работы написал жене письмо. Потом... потом говорил по телефону...

— С кем?

— С одной знакомой.

— Как фамилия этой знакомой?

— Фамилия? Не могу точно сказать, не то Зотова, не то Лотова.

— Странно, что вы не знаете фамилии своих знакомых.

— Недавно познакомились... Случайно. Я жену провожал, а она — мужа. Разговорились в купе... тут и познакомились...

— Следовательно, разговором в купе ваше знакомство не ограничилось?

— Да, так получилось... Вышли вместе из вагона, пошли на трамвайную остановку. Ну я так просто, чтобы не молчать, спрашиваю, не будет ли она скучать без мужа, а она смеется: дескать, у меня на такой случай телефон есть, найдется с кем поговорить, скуку развеять. Ну я тут, просто так, говорю: в случае чего, позвоните,

посидим в ресторане, музыку послушаем. И дал ей телефон. Она и позвонила.

— Номер ее телефона?

— Не знаю... Я ей не звонил, она сама позвонила.

— Понятно... Ну а как фамилия женщины, с которой вы провели вечер третьего сентября?

Куприянов привстал со стула, но тотчас же сел обратно.

— Отвечать на такой вопрос не обязан.

— Ваше дело. Курите.— Дробов придвинул к Куприянову пачку сигарет.— Значит, она не прочь была выпить?

— Кто «она»?— угрюмо спросил Куприянов, не прикасаясь к сигаретам.

— Да Кривулина, конечно! Речь о ней идет, сами понимаете.

Куприянов почувствовал холодную пустоту в груди, мысли его в эту минуту утратили четкость, он испугался, но инстинкт самосохранения подсказал ему, что молчание будет свидетельствовать против него, в голове билась только одна мысль: «Кривулина успела сообщить...»

— По-соседски...— пробормотал он наконец.

— Что «по-соседски»?

— Зашла посидеть...

— Вы все еще утверждаете, что в кино не были больше года?

— Не был...

— Были, Григорий Матвеич, были, и не далее как пятого сентября. Были в кино «Антей».

— Если бы ходил — не скрывал... Чего мне скрывать?

— Именно это меня и удивляет: почему вы так упорно отрицаете обычный, несущественный факт. В том, что вы находились в кино «Антей», когда была убита Кри-

вулина,— в этом нет никакого сомнения. В кармане вашего плаща обнаружен билет на пятое сентября, причем на предпоследний сеанс. Как вы можете объяснить наличие билета, если вы больше года не были в кино? Кстати, учтите, что на билете могут быть отпечатки пальцев. Я жду объяснений.

Дробов не исключал, что известие о билете сломит Куприянова и после некоторых неловких уловок и запирательств последует признание в преступлении. Но этого не случилось. Слова Дробова о билете не произвели на Куприянова ожидаемого действия. Более того, Дробов заметил, что временное замешательство Куприянова вновь сменилось нагловатой уверенностью, свойственной уголовникам, когда им кажется, что преступление их недоказуемо.

— Смотрел я этого «Мстителя»,— Куприянов потянулся за сигаретой.— Смотрел. Ну и что? Нельзя, что ли?

— Почему же вы так упорно отрицали этот безобидный факт?

— Не хотел иметь семейных неприятностей.

— Уточните, пожалуйста.

— Чего уточнять, все яснее ясного: я в кино был не один.

— Ну и что из этого следует?

— А то, что если бы сказал, мне бы от ваших вопросов не отбиться: «С кем был?», «Кто такая?», «Где работает?», «В каких находитесь отношениях?», «С какого времени?» и тому подобное. А ваши органы, известно, на слово не верят, начались бы опросы ее мужа, соседей, сослуживцев, моей супруги, а в результате? Не знаю, выгнал бы ее муж, а мне — край! Потому что такая сложилась обстановка в семье... были уже неприятности на этой почве.

— Не имею права вмешиваться в вашу семейную

жизнь,— сказал Дробов.— Попробую проверить ваши слова без огласки, тем более что сейчас для этого вполне благоприятные условия: в городе нет ни вашей жены, ни...— Дробов выдержал заранее продуманную паузу, наблюдая за напряженным выражением лица Куприянова...— ни мужа вашей знакомой, который тоже уехал в Сочи.

Куприянов снова сжал широкой ладонью острый срезанный подбородок.

— Почему вы так решили?.. Я не говорил... может, это совсем другая.

— Может быть, и другая. Но лучше не придумывать разные головоломки, которые мы все равно разгадаем. Обстоятельства дела требуют, чтобы я знал, с кем вы были пятого сентября в кино «Антей». А раз так, то рано или поздно я это узнаю. В ваших интересах, чтобы я узнал об этом как можно раньше... если вы не хотите лишней огласки. Поэтому я снова вас спрашиваю, как фамилия, имя, отчество вашей спутницы? Кривулина?

Куприянов перестал терзать свой подбородок и шумно вздохнул.

— Воронина Васса Евгеньевна...

— Это точно?

— Точно...

— Хорошо. Мы проверим.

— Я могу быть свободен?

— До утра побудете у нас. Ваше отсутствие может обеспокоить Скрипкину. Позвоните ей отсюда и сообщите, что вам пришлось неожиданно выехать в область на завод стройматериалов...

* * *

Молодая смазливая бабенка Воронина поначалу ударилась в слезы, но, узнав, что разговор в милиции

останется неизвестным мужу, быстро успокоилась и не только подтвердила посещение с Куприяновым фильма «Мститель» в кинотеатре «Антей» пятого сентября, но и, порывшись в сумочке, нашла обрывок билета. Приложив его к обрывку, найденному в кармане плаща Куприянова, Дробов без труда установил, что вместе они составляют два билета в седьмой ряд партера.

— Куприянов, конечно, проводил вас домой после сеанса?

— А вы думали! — кокетливо улыбнулась Воронина.

— И зашел к вам посидеть?

— Вы и это знаете?!

— И ушел от вас утром?

— Ах, какой он болтун! Вот уж не думала! Солидный, семейный человек. Мне пришлось его оставить до утра. Городской транспорт безобразно рано заканчивает работу, без всякого учета интересов трудящихся! Вот болтун! Никак не думала! Но вы обещали, что наш разговор останется между нами, у меня муж такой мнительный, прямо болезненный.

Отпустив Воронину, Дробов еще раз с помощью НТО проверил «стыковку» двух билетных обрывков и направился в кабинет начальника отдела: первоначальная версия об участии Куприянова в убийстве Кривулиной рушилась...

* * *

Было семь часов утра, когда Дробова разбудил телефонный звонок. Невыспавшийся, с тяжелой головой, Дробов, чертыхаясь, подошел к телефону.

— Все в порядке, товарищ Дробов! — услышал он жизнерадостный голос.— Извините, что звоню так рано — тороплюсь на лекцию. Литературная викторина разгадана. Ученые боги не подвели.

Сонливость Дробова мгновенно прошла:

— Я вас слушаю! Бумага и карандаш у меня под рукой!

— Записывайте. Диктую по справке, полученной с кафедры западной литературы. Слова «К законам я влеченья не имею» являются строкой из реплики графа Сеффолка — персонажа пьесы Шекспира «Генрих Шестой». Полностью эта реплика звучит так:

К законам я влеченья не имею:
Им воли никогда не подчинял;
Но подчинял закон своей я воле.

Смотри: Уильям Шекспир. «Генрих Шестой». Полное собрание сочинений в восьми томах. Том первый, страница сто девятнадцатая. Издание издательства «Искусство». Москва. Тысяча девятьсот пятьдесят седьмой год.

— Понятно! Теперь понятно, почему я помнил! — радостно закричал Дробов в телефонную трубку.— Этого «Генриха» я читал двадцать восемь лет назад. В последнем классе! Спасибо вам, дорогой товарищ! Вам и вашим ученым! Большое спасибо!

ШЕКСПИР ВКЛЮЧАЕТСЯ В ОПЕРАТИВНУЮ ГРУППУ

После звонка из университета фигура Клофеса отнюдь не стала менее загадочной. Но одно было неоспоримо,— так, во всяком случае, думал Дробов: звонок Клофеса — не глупая выходка хулигана, а вполне осмысленный ход. Чей? Для чего? Ответ напрашивался единственный: человек, называющий себя Клофесом, заинтересован в осложнении розыска преступника, хочет запутать следственные органы. Иными словами, он имеет отношение к убийству Кривулиной.

— Но где его искать? — спрашивал нервно Кулябко.— Что мы имеем, кроме записи телефонного разговора? Я знаю, Василий Андреич, сейчас вы скажете свое любимое: «Давайте рассуждать». Боюсь, что рассуждения заменяют нам действия. «Действовать — вот для чего мы в этом мире». Кажется, эти слова принадлежат Людвигу Фейербаху. Я полностью присоединяюсь к этому девизу.

— Надо полагать,— сухо сказал Дробов,— что действовать не рассуждая — гораздо опаснее, чем рассуждать не действуя, особенно в нашем деле. Наиболее удачные литературные образы сыщиков, начиная с классического Шерлока Холмса и кончая нашими, так сказать, современниками — инспектором Мегрэ и детективом Пуаро,— все они немалую часть розыскной работы проводят в своих кабинетах: анализируют ход событий, устанавливают логическую связь между различными явлениями, обобщают свои наблюдения, проверяют выводы. Именно этот стиль работы приносит им успех.

— Литература одно, а жизнь другое,— стоял на своем Кулябко.— Кривулину не ограбили, но ведь кому-то ее смерть была нужна. Это ясно! Кому? Кому было необходимо убить Кривулину — вот основной вопрос, на который мы должны сейчас ответить. А мы по-настоящему не изучили ни ее связей, ни окружения: получается, что у нее нет ни родственников, ни друзей, ни знакомых. Не может этого быть. Надо в конце концов выяснить, кто же такая Кривулина, что правда и что ложь в ее документах. А вы все больше беспокоитесь о Клофесе, которого можно искать сто лет, да так и не найти!

— Но почему вы решили, что Клофес не имеет отношения к ее окружению? Почему вы исключаете его из числа людей, связанных с Кривулиной? Так вот. У нас есть утвержденный план розыска, будем работать по

плану, и при этом я не теряю надежды разыскать так называемого Клофеса.

— По записи голоса на магнитофоне? — съязвил Кулябко.

— В том числе. Кроме голоса на магнитофоне, у меня, дорогой Максим Трофимыч, есть еще строчка из Шекспира, всего одна строчка, но она дает мне основания для некоторых размышлений и выводов. С вашего разрешения я включу в нашу оперативную группу... товарища Шекспира...

В Управлении по делам культуры Дробова встретила миловидная, элегантная женщина. На его вопросы она отвечала быстро, обстоятельно, точно, и вместе с тем в ее манере держаться ощущалось неуловимое кокетство женщины, привыкшей нравиться мужчинам.

— Скажите, Августа Ивановна,— начал Дробов,— в репертуаре каких ленинградских театров имеются пьесы Шекспира?

— Сейчас только в одном: в Большом драматическом имени Горького. Отлично поставили «Генриха».

«Генриха»! Сдерживая волнение, Дробов заставил себя продолжить разговор в непринужденном тоне:

— Признаюсь, Августа Ивановна, «Генриха Шестого» я никогда не видел на сцене. Читать читал, но давно. С удовольствием схожу на этот спектакль. Вы не помните, кто у них играет графа Сеффолка?

В темных глазах Августы Ивановны мелькнула едва заметная усмешка.

— Должна вас огорчить, товарищ Дробов. В Большом драматическом поставлен не «Генрих Шестой», а «Генрих Четвертый». Шекспир в своих драматических «Хрониках» — «Генрих Четвертый», «Генрих Пятый»,

«Генрих Шестой», «Генрих Восьмой» — можно сказать, обессмертил чуть ли не всех английских Генрихов!

Чуть закинув голову,— привычка маленьких женщин — она с любопытством ждала новых вопросов: хотела понять, почему старшего инспектора уголовного розыска интересуют шекспировские постановки. Дробов же, подобно рыболову, у которого сорвалась с крючка вожделенная рыбина, старался подавить злую досаду. Из всех этих «Генрихов» ему нужен был только один — «Генрих Шестой»! Пытаясь улыбнуться, Дробов сказал, что «Генриха Четвертого» он посмотрит с еще большим удовольствием — эту пьесу он даже не читал.

— Но, может быть, Шекспир есть в репертуаре гастролирующих театров? — спросил он.

— В этом сезоне у нас гастролирует только периферия. Она редко отваживается на шекспировские постановки, уж очень велика ответственность.

— А самодеятельность? Говорят, ленинградские коллективы самодеятельности славятся на весь Союз.

— Что вы?! Самодеятельности осуществить постановку Шекспира можно где угодно, но только не в Ленинграде и не в Москве!

— Не совсем понимаю...

— В Ленинграде, где Шекспира ставят лучшие академические театры с первоклассными исполнителями, посредственное, дилетантское исполнение шекспировских пьес обречено на провал. Ну а на периферии, особенно там, где нет профессиональных театров, бывает всякое. Недавно мы как раз столкнулись с таким явлением. Во Дворце культуры имени Кирова проходил смотр самодеятельности трех районов Ленинградской области, между прочим, в смотре участвовал драмкружок из Владигорска.

— Из Владигорска? Если не ошибаюсь, это небольшой город вблизи Эстонии?

— Совершенно верно, небольшой промышленный городок вблизи Эстонии. Представьте себе, этот коллектив дерзнул поставить две сцены из «Гамлета». Мы их посмотрели и дружески посоветовали не показывать в Ленинграде, тем более что другие их спектакли были, что называется, на уровне.

— Какие у них еще были спектакли?

— Вот, пожалуйста.— Августа Ивановна вынула из папки сложенную афишку. — Здесь указаны и репертуар, и исполнители, и фамилия руководителя самодеятельности...

— Спасибо. Когда они уехали из Ленинграда?

— Смотр кончился шестого сентября. Думаю, что они уехали седьмого.

— Я вам очень признателен. — Дробов встал. — Всего вам доброго.

— А я вам желаю удачи в вашей работе.

Августа Ивановна так и не поняла, зачем к ней приходил этот инспектор уголовного розыска. С ее точки зрения, весь разговор носил какой-то сумбурный характер.

* * *

Прокурорская санкция на арест Куприянова была получена. В тот же вечер Дорофеев приступил к допросу. На вопрос, признает ли себя Куприянов виновным в убийстве Кривулиной, Куприянов, бледный, испуганный, затряс головой:

— Что вы, гражданин следователь?! И в мыслях такого не было! Зачем мне ее убивать?!

— Именно этот вопрос следствию необходимо выяснить. Поэтому я спрашиваю вас: почему вы убили Кривулину? От кого вы получили яд?

Задавая эти вопросы, Дорофеев уже знал из следственных материалов, что к убийству Кривулиной Куприянов не имеет отношения, но выработанный им предварительно план допроса предусматривал именно такое начало.

— Не убивал я, никого я не убивал!

— Не убивали? И не собирались убить?

Дорофеев заметил, что последний вопрос насторожил Куприянова. Он ответил не сразу, а когда заговорил, голос его звучал тихо и глухо:

— Не было у меня такого в голове... чтобы убить...

— Значит, не собирались?

— Поверьте слову, гражданин следователь!

Дорофеев нажал кнопку звонка. Появился молодой человек в модном темном костюме и остановился у дверей.

— Попросите войти,— сказал Дорофеев.

Молодой человек вышел, и сразу же на его месте возникла Антонина Ивановна Скрипкина. При виде Куприянова она застыла на пороге, потом нерешительно сделала шажок вперед и снова остановилась.

— Гражданин Куприянов, знакома вам эта гражданка? —спросил следователь.

— Знакома... Живем в одной квартире...

— Как фамилия, имя, отчество этой гражданки?

— Скрипкина Антонина Ивановна.

— Скажите, Антонина Ивановна, вам знаком этот гражданин?

— Господи! Еще бы! Я ведь что думала?.. Позавчера мне Григорий Матвеич позвонил, сказал, что едет в область, я сразу не поверила... знаю я, какая это область, когда жены в городе нет...

— Погодите, погодите,— прервал ее Дорофеев.— Назовите фамилию, имя, отчество этого гражданина.

— Я же говорю — Григорий Матвеич.

— Назовите фамилию!
— Куприянов, конечно.
— Так. Пожалуйста, сядьте вот сюда.
Не глядя на Куприянова, Скрипкина прошла вперед, села на стул и тряхнула кудряшками.
— Свидетельница Скрипкина,— начал Дорофеев, перелистывая какие-то бумажки,— вы подтверждаете свои показания о том, что слышали, как Куприянов угрожал убить Кривулину?
— Подтверждаю! Слышала! Даже испугалась!
— Что именно вы слышали?
— Григорий Матвеич закричал, что отравит Зиночку, как крысу.
— Кто это, Зиночка?
— Как кто? Кривулина, конечно! Прекрасной души человек...
— Значит, вы слышали, как Куприянов грозил отравить Кривулину Зинаиду Михеевну?
— Конечно, слышала. Он же кричал. Громко!
— Врет! — оборвал свидетельницу Куприянов. Он был уверен, что Скрипкиной тогда в квартире не было, слышать их ссору она не могла, значит, об угрозе узнала от Зинаиды. Но Зинаида мертва, ссылка на нее бездоказательна.
— Вы отрицаете показания Скрипкиной?
— Категорически! Она зла на меня — вот и наговаривает. Будь Кривулина жива, она бы сразу сказала, что Скрипкина врет.
— Вы думаете? — Дорофеев задумчиво взглянул на Куприянова, потом перевел взгляд на Скрипкину.— Дайте ваш пропуск, Антонина Ивановна. Печать вам поставят в соседней комнате,— сказал он, подписывая пропуск.— Можете идти.
Оставшись наедине с Куприяновым, Дорофеев, как бы забыв о его присутствии, долго читал или делал вид,

что читает, какие-то бумаги, потом, словно спохватившись, быстро взглянул на Куприянова и проговорил тихим, будничным голосом:

— Ну зачем вы говорите неправду? Вы же угрожали Кривулиной. На что вы надеетесь? На то, что Кривулина мертва и не может подтвердить правильность показаний Скрипкиной? Но иногда и мертвые говорят. Еще как говорят! Кривулина успела написать о вашей угрозе отравить ее, «как чумную крысу». Очень подробно написала. Было это двадцать четвертого августа, в субботу вечером. Она была на кухне, варила обед. Там и началась ваша ссора. Вы обругали ее стервой, она плеснула в вас щами из поварешки. Облила, конечно, ваш пиджак. Вот тогда вы и заявили, что отравите ее. И свою угрозу осуществили, может быть и не лично, а с чьей-нибудь помощью, но осуществили. Между прочим, сегодня мы сделали у вас дополнительный обыск и нашли пиджак, на котором имеются следы тех самых щей. Вы даже не потрудились отдать его в чистку...

С каждым словом тихого, вежливого следователя Куприянов терял надежду доказать свою непричастность к убийству Кривулиной. Наказание за такое преступление могло быть только одно — расстрел!

— Не убивал! Не убивал я! — Он вскочил со стула и тут же тяжело опустился.— Не убивал я!.. Только грозил...

— А почему вы ей грозили, Григорий Матвеевич? — вежливо осведомился Дорофеев.

— Она меня шантажировала... вымогала...— Левая нога Куприянова дергалась мелкой и частой судорогой.— Каждый день грозила...

— Прошу вас объяснить, каким образом Кривулина могла вас шантажировать? И что помешало вам обратиться в соответствующие организации? Разве вы не знаете, что шантаж является уголовным преступлением?

Вы молчите? Из вашего молчания следует только одно: Кривулина знала компрометирующие вас факты, огласки которых вы боялись. Так?

— Да...

— Каковы эти факты?

Куприянов облизнул пересохшие губы. Он дышал тяжело и часто, точно марафонец на финише, угроза расстрела казалась ему неотвратимой.

— Я не слышу ответа,— напомнил о себе Дорофеев.

— Она знала... некоторые нарушения... грозила... вымогала деньги.

— И вам пришлось купить ей пальто с норковым воротником, холодильник, золотое кольцо с бриллиантом. Что вы еще ей купили? Сколько она получила от вас денег? У кого и за сколько вы купили кольцо?

— Гражданин следователь! Уверяю вас, не покупал я ей кольца! Норковую шкурку за сто двадцать рублей — точно, купил. Потребовала! Откуда кольцо у нее — не знаю...

— А холодильник?

— Холодильник она сама купила... Я только ей устроил, чтобы без очереди.

— Купила сама, но на ваши деньги? Так?

— Не знаю... Я ей каждый месяц платил...

— Платили, чтобы она молчала? Сколько платили?

— Шестьдесят рублей в месяц.

— Как долго вы выплачивали Кривулиной по шестьдесят рублей в месяц?

— Почти три года... А незадолго до смерти она стала требовать, чтобы сто... Где же мне взять столько?! Тогда я и пригрозил... думал, что испугается...

— Ну а теперь скажите, за что вы ей платили.

— Она раньше на коммутаторе нашем работала. Слушала... подслушивала мои разговоры по телефону...

а мне приходилось делать некоторые нарушения... чтобы выполнить план...

— Хорошо, об этом мы поговорим завтра со всеми подробностями. А сейчас спрашиваю вас снова и советую говорить правду: у кого и за сколько купили вы золотое кольцо с бриллиантом, которое оказалось потом у Кривулиной?

— Гражданин следователь, не покупал я этого кольца! Поверьте, ни сном, ни духом... Вот клянусь, ничего о кольце не знаю. Могу только сказать, что кольцо я на ней увидел перед самой ее смертью. Верьте честному слову — ничего, просто ничего не знаю...

— Попробую поверить. У вас достаточно своих грехов, чтобы брать на себя чужие. Вот об этих грехах мы и поговорим завтра...

* * *

В городской билетной кассе, как всегда, толпился народ, в каждую из бесчисленных касс завивались спиралью очереди,— казалось, все ленинградцы решили немедленно, сегодня же, разъехаться в разные концы страны. У телефонных кабин тоже стояли очереди.

Значит, отсюда три дня назад говорил Клофес. Почему отсюда? Причин может быть много. Возможно, в его квартире нет телефона или есть, но коммунальный. Вести такой разговор из коммунальной квартиры нельзя. А может быть, он пришел на станцию за билетом и воспользовался заодно телефоном. Может быть... может быть... Сквозь плотный гул людского говора возникла все та же фраза: «К законам я влеченья не имею...» Нет, это не было сказано, это было не сказано, а произнесено. На публику!

Дробов вышел на улицу. Рядом высилось огромное здание Дворца культуры имени Кирова.

Осенний день выдался на редкость ясный, солнечный. Одинокое, неправдоподобно белое неподвижное облачко казалось нарисованным только для того, чтобы сильнее подчеркнуть синеву неба. На скамейках под деревьями сидели молодые пары, ожидая начала очередного киносеанса во Дворце культуры. Два мальчугана, заливаясь счастливым смехом, гоняли по площади на велосипедах. Казалось невероятным, что вот в такой же день человек, убивший накануне женщину, спокойно прошел по этой площади, купил железнодорожный билет и уехал куда-то, оставив только одну улику — зажатую в мертвой руке конфетную обертку...

Директора Дворца на месте не оказалось, его заместитель, юркий, разговорчивый малый, был в курсе всех дел. «Да, такой смотр самодеятельности проходил. Когда все уехали? Кажется, седьмого. Нет, Шекспира не показывали. «Гамлета»? На публику не пустили, смотрела только комиссия. Участника самодеятельности по фамилии Клофес Марк Данилович не было, это уж точно. Буфет? Пожалуйста, провожу вас...

В буфете Дробов внимательно разглядывал в витрине конфеты. Сухопарая, с угреватым лицом буфетчица следила за ним большими выпуклыми глазами. Ее раздражало молчаливое любопытство неизвестного человека. Верно, проверяет, правильно ли цены обозначены.

— Вы что хотите, гражданин? — не выдержала буфетчица.

— Говорят, у вас бывают эстонские конфеты «Пьяная вишня»...

Казалось, глаза буфетчицы выпрыгнут из орбит.

— «Пьяная вишня»! В нашем буфете! Какой пьяный вам это сказал? Я забыла, как она выглядит, эта вишня! — Голос буфетчицы негодующе клокотал.— Надо же придумать такое: в нашем буфете — «Пьяная вишня»!

* * *

Во Владигорске Дробова встретил местный инспектор уголовного розыска Янсон.

— Мне звонили из Ленинграда, предупредили о вашем приезде. Неужели мы проглядели что-нибудь серьезное? — озабоченно спросил он.

— Ответ на этот вопрос мы получим через два-три дня. А сейчас прошу вас, Эдуард Оттович, расскажите мне подробнейшим образом, что вы знаете о самодеятельности драмкружка в вашем городе, кто им руководит, как давно он существует, каков состав его участников, пользуется ли он успехом у трудящихся вашего города и как к нему относится заводская общественность.

* * *

Заведующий отделом культпросветработы местного райсовета Сомов и руководительница драмкружка Летова ожидали ленинградского товарища в кабинете директора заводского клуба. Оба были слегка взволнованы.

— Вы как предполагаете, Вера Федоровна,— спросил Сомов,— это хорошо или плохо? Боюсь, что плохо.

— Почему вы так думаете?

— Сами же говорили, что на смотре наши спектакли ничем не выделялись, а «Гамлета» даже отсоветовали. Значит, ничего хорошего от приезда ленинградского товарища ждать нам не приходится. Вы-то, вы-то как считаете? — не без раздражения спросил Сомов.

— Странный вопрос с вашей стороны, очень странный! Звонили вам, а не мне, разговаривали с вами, а не со мной. Вы хоть знаете, кто звонил, откуда? Спросили вы, кто и зачем приедет?

— Не надо нервничать, Вера Федоровна. Могу вас

информировать. Звонили из Ленинградского управления по делам культуры. Разговор был короткий. Сказали, что выезжает их работник, инструктор по самодеятельности, фамилия не то Тропов не то Пропов — слышимость ни к черту! Вопросы я не задавал, они сами сказали — будет знакомиться с работой самодеятельного коллектива, с репертуаром.

— Ну и пусть, особых грехов у нас нет.

— Это вы так думаете! Вспомните, сколько раз я сигнализировал: с репертуаром неблагополучно. Вокруг нас герои нашей бурной действительности, а вас интересуют одни гамлеты и офелии. Вот увидите — нам эти гамлеты боком выйдут!

— Нет, это удивительно, неужели вы не понимаете, что необходимо ставить классику? Ставили, ставят и будут ставить! Я и Тропову так скажу,— решительно заявила Вера Федоровна.

Тяжело дыша, Сомов незаметно положил в рот таблетку валидола.

— Пропорция, пропорция важна — вот о чем вы не должны забывать, Вера Федоровна!

— Понятно! —горько усмехнулась Вера Федоровна.— Вы из тех, кто проверяет гармонию алгеброй! Но искусство не нуждается в застывших формулах.

Их перепалку оборвал приход Дробова:

— Давайте знакомиться, дорогие товарищи. Василий Андреевич Дробов. Вам звонили о моем приезде?

— Да, да, мы знаем,— отозвался поспешно Сомов.

— Приехал познакомиться с вашими успехами и трудностями,— сказал Дробов как можно приветливее.

— Очень рады! — сухо проговорила Летова.— Трудностей хватает. Нет средств на костюмы, на оформление, на парики, каждый раз пытаемся выкроить из жилетки фрак.

— Трудности, о которых вы упомянули,— явление общего порядка... к сожалению. Будем надеяться, что это явление временное. Кружок у вас большой? — спросил Дробов.— Насколько мне известно, вы поставили «Гамлета»? Там же много действующих лиц.

Сомов бросил на Летову сердитый взгляд: «Сама видишь, кто был прав!»

— Да, поставили! Две сцены! — вызывающе подтвердила Вера Федоровна.— И, представьте себе, именно они проходят у нас при полном аншлаге.

— Меня это не удивляет,— сказал Дробов.— Я и сам с удовольствием посмотрю их. В Ленинграде давно уже не ставили «Гамлета».

— Вот видите,— взглянув на Сомова, начала было Вера Федоровна и осеклась: пожалуй, лучше не заострять внимание на репертуаре.

— Интересно, очень интересно, как вы поставили Шекспира.

— Вы неудачно приехали! — искренне огорчилась Летова.— Заболела королева — аппендицит! Лежит в больнице, завтра операция. Дублерши, конечно, нет!

— Действительно неудачно,— подтвердил Дробов.— Может быть, у вас есть лишняя программа этого спектакля? Для отчета она мне понадобится.

— Конечно, есть.— Вера Федоровна протянула отпечатанную на ротаторе программу.— Вот, пожалуйста.

— Спасибо. Завтра попрошу вас рассказать подробно об исполнителях. Меня интересует трудовая и творческая биография исполнителей. Дело в том, что мне заказана статья: «Мировая драматургия на сцене самодеятельных театров». К тому же я готовлю доклад на эту тему. Что у вас сейчас в репертуаре, кроме «Гамлета»?

Опережая Веру Федоровну, торопливо заговорил Сомов:

— Сейчас, Василий Андреевич, все наше внимание обращено к современности. Трудно, но ищем.

— Ищем, но не находим,— глядя в сторону, как бы про себя сказала Вера Федоровна.

— Репертуар у нас, конечно, невелик,— продолжал Сомов, делая вид, что не слышал реплики Веры Федоровны.— Ограничены средствами, участники заняты на производстве, много семейных...

— И все же каков ваш репертуар?

— Пусть докладывает худрук,— ушел от ответа Сомов.— Ее хозяйство, ей и первое слово.

— Пожалуйста! — Летова раскрыла папку,— В нашем репертуаре четыре постановки: сцены из «Гамлета», чеховские «Медведь» и «Свадьба» — та самая классика, которой некоторые боятся,— задиристо взглянула она на Сомова.— Из современности — «Стряпуха» Софронова. Вот программки.— Летова протянула Дробову еще три листка, отпечатанные на ротаторе.

— А над чем вы сейчас работаете?

— Сейчас репетируем... пытаемся... не знаем, что получится... хотим взять еще несколько сцен из шекспировских пьес... целиком поставить нам не под силу.

— Из каких пьес и какие сцены вы включили в постановку?

— Пока мы остановились на трех. Две начали репетировать еще до поездки в Ленинград.

— На каких трех?

— «Укрощение строптивой». Из этой комедии мы берем только сцену первой встречи Петруччо и Катарины. Она займет не больше десяти — двенадцати минут. У нас на заводе много молодежи, поэтому мы решили взять сцену из «Ромео и Джульетты», но пока еще не решили, какую именно. Скорее всего, вторую и третью сцены из второго акта: в саду Капулетти и в келье брата Лоренцо — всего три действующих лица. Вот вы

недовольны, что все Шекспир да Шекспир,— продолжала она, хотя никто не высказывал недовольства, — а между тем кружковцы рвутся играть Шекспира, даже ссорятся из-за того, кому играть в этих постановках. Были конфликты! Пришлось мне взять две сцены из «Генриха Шестого», в них участвуют восемь человек. Конечно, мы ставим все в концертном исполнении. Совершенно не дают денег на костюмы. Абсолютно!

Немалого труда стоило Дробову скрыть свое волнение, когда он услышал упоминание о «Генрихе Шестом».

— Какие сцены вы взяли из «Генриха Шестого»?

— Четвертую и пятую сцены из второго акта.

Дробов прикрыл глаза, ему казалось, если он этого не сделает, оба собеседника заметят, как он взволнован: в четвертой сцене второго акта Сеффолк произносит фразу, которая вот уже столько дней неотступно звенит в ушах Дробова: «К законам я влеченья не имею...»

— Когда очередная репетиция шекспировских сцен?

— Завтра, в девятнадцать часов.

— Надеюсь, мое присутствие не смутит кружковцев?

— Пусть приучаются работать в любой обстановке,— сурово сказала Вера Федоровна.— Актер обязан на сцене абстрагироваться от всего привходящего, иначе он не сможет уйти от самого себя, не овладеет искусством перевоплощения.

— Вы говорите, что в сцене «Укрощения» заняты двое кружковцев, а в сценах из «Генриха» восемь?

— Да.

— Разрешите я запишу сейчас фамилии и профессии исполнителей.

— Они у меня выписаны, могу вам дать.— Вера Федоровна протянула Дробову листок из блокнота. Дробов заставил себя положить его в карман, не взглянув на машинописный текст.

— Ну так... Можно сказать, знакомство наше состоялось. Представление о ваших творческих замыслах у меня есть. Расстанемся до завтрашнего вечера и продолжим разговор после репетиции...

* * *

Из клуба Дробов направился в местное управление внутренних дел, где его ждал Янсон.

— Дорогой Эдуард Оттович, я должен воспользоваться вашим телефоном,— сказал Дробов еще с порога.— И попрошу вас обеспечить в заводской гостинице еще одну комнату на имя товарища Кулябки.

— Это мо-о-ожно.— Янсон некоторые слова произносил почему-то нараспев, растягивая гласные.—Гостиница бу-у-удет. С какого дня нужен номер товарищу Кулябке?

— Завтра с полудня. А сейчас с вашего разрешения я соединюсь с Ленинградом.

Разговор с Кулябкой занял три-четыре минуты. Слышимость была скверная. Дробов с трудом разбирал отдельные слова, но понял, что ничего нового по делу Кривулиной нет.

— Вы-то меня слышите? — надрывался Дробов.— Слышите? Выезжайте ко мне и обязательно захватите с собой магнитофон. Вы меня слышите? Захватите магнитофон, на который записан разговор с Клофесом. И обязательно возьмите пленку с записью Клофеса. Вы все поняли? Прекрасно! Жду к полудню! Всего!

Он положил трубку, вынул из кармана список исполнителей шекспировских сцен и взглянул на Янсона. Тот сидел в углу за своим столом и что-то писал. Казалось, он забыл о присутствии в комнате старшего инспектора Ленинградского управления внутренних дел. Дробов развернул список. «Здесь, на этом листке, среди десяти

фамилий есть и фамилия убийцы»,— подумал он, не заглядывая в листок, и, поймав себя на этой медлительности, рассердился. «Спокойно, спокойно, возьми себя в руки!»

Он стал читать написанные от руки строчки:

УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ

Петруччо, дворянин из Вероны . . .	Березнецкий (завод, лаборант).
Катарнна . . .	Левнна (аптека, провнзор).

ГЕНРИХ VI

Сомерсет . . .	Карпов (полнклинnка, монтер).
Сеффолк	Шадрнн (завод, ннженер).
Уорнк	Панов (завод, токарь).
Ричард Плантагенет	Раузнн (мнлнцня, лейтенант).
Вернон	Матеюнас (гараж, шофер).
Стряпчий	Остросаблин (пенснонер).
Мортнмер . . .	Резннк (больнница, врач).
Страж	Фальк (почта).

Дробов не мог оторвать глаз от четвертой строчки: «Сеффолк! Вот он, Сеффолк! Инженер Шадрин! Наконец-то мы встретимся!»

Он повернулся к Янсону, тот все еще писал, голова его почти что лежала на левом плече.

— Эдуард Оттович, извините, что отвлекаю, но вашему управлению придется немедленно включиться в работу. Завтра к полудню мне нужно знать как можно подробнее биографию заводского инженера — некоего Шадрина. Вам эта фамилия что-нибудь говорит?

— Да, зна-а-аю. Не платит алименты на сына. Бухгалтерия завода удерживает по исполнительному листу. Вы-ы-ыпить любитель. Завтра получите более подробные сведения.

— Спасибо. Еще один вопрос. Известно вам, что недалеко от вас в Эстонии есть дом отдыха имени Восьмого марта?

— Конечно. В Этюпе. Хороший дом, отдыхающие хва-а-алят.

— Если не ошибаюсь, Этюп находится в тридцати километрах от вашего Владигорска?

— Да-а-а. Всего лишь двадцать пять минут езды на машине.

— Скажите, отдыхающие в Этюпе бывают во Владигорске?

— Обязательно. Экскурсии два раза в месяц.

— Экскурсии? А что их привлекает у вас?

— Показуха! У нас есть краеведческий музей, а у них есть план культработы. Вот культурник и возит их к нам. Пла-а-ан выполняет. И еще есть немаловажная причина,— усмехнулся Янсон.— Ресторан. Наш ресторан. Здесь можно хорошо выпить и закусить, а у них дом отдыха — в лесу, на отшибе от всех «Гастрономов». Мы уже знаем: час на экскурсию, три — на ресторан.

— Вы говорите, Шадрин любит выпить. Очевидно, и он не редкий гость в ресторане?

— Торчит... всегда.

— Кстати, вы помните его имя-отчество?

— Коне-е-ечно. Марк Данилыч. Его зовут Марк Данилыч...

РЕПЕТИЦИЯ

Утром следующего дня справка о Шадрине была готова:

«Марк Данилович Шадрин родился в 1917 году в Риге. По окончании Рижского политехникума был принят на работу в Управление пароходства. Во время

Великой Отечественной войны оставался в занятой немцами Риге. В 1955 году женился на уроженке Таллина Эльзе Генриховне Клаас и переехал на жительство в Таллин. В 1959 году, не оформив развода, оставил жену с двумя детьми, скрылся из Таллина. Через год был обнаружен органами милиции. В настоящее время платит по суду алименты. Состоит в незарегистрированном браке (проживают совместно) с Левиной Софьей Ефимовной — провизором городской аптеки. Временами подвержен запоям. В общественной жизни завода участия не принимает».

Читая справку, Дробов обратил особое внимание на упоминание о Таллине. Прожив несколько лет в Таллине, Шадрин, безусловно, мог получить оттуда коробку дефицитных конфет. Необходимо навести еще одну справку: когда последний раз Шадрин был в Таллине и с кем там общался...

Встретив Кулябку, Дробов, ни о чем не расспрашивая, протянул ему список исполнителей шекспировских сцен и справку о Шадрине.

— Клофеса нет, зато обнаружен Марк Данилович. И этот Марк Данилович играет роль Сеффолка,— сказал Дробов, но в голосе его не было твердости, свойственной человеку, нашедшему истину после долгих и трудных поисков.

— Вы обратили внимание на характер работы сожительницы Шадрина? Провизор! — многозначительно сказал Кулябко.

— Обратил, конечно. Человек, который изготовляет лекарства, всегда может воспользоваться ядовитыми препаратами. В нашем плане расследования сожительница Шадрина должна занять свое место. Целый ряд медикаментов включает в себя ядовитые вещества. При нарушении правильной дозировки эти вещества могут вызвать смертельный исход.

— Вы приказали захватить магнитофон и пленку с записью Клофеса. Для чего?

— Надо найти возможность записать на магнитофон эту самую строчку, когда ее произнесет на репетиции Шадрин...

— Зачем? Магнитофонная запись юридической силы не имеет.

— Для суда не имеет, но может облегчить следствие Дорофееву. Да и для нас с вами она может иметь значение. Знаете, я пришел к убеждению, что этот Шадрин, что называется, «ушиблен» Шекспиром.

— То есть?

— Похоже, что мысли его постоянно вращаются вокруг шекспировских героев. Из самых различных пьес. Вы помните, как он расшифровал по буквам свою фамилию? Я проверил — и оказалось, что все названные им имена не что иное, как персонажи шекспировских пьес, все до единого!

— Кроме слова «сцена».

— Психологически и это слово находится в том же ряду. Шекспир неотделим от сцены. Сейчас мы пройдем в Управление внутренних дел, я представлю вас местному начальству. Надо с их помощью организовать сегодня запись репетиции на магнитофон.

Кулябко вскинул на Дробова вопрошающий взгляд:

— Вы решили провести следственный эксперимент? Но ведь Клофес записан с телефона, а вы хотите записать его через микрофон. Звучание неизбежно будет иным. Такой материал Дорофееву ни к чему!

— Ну что вы, право,— обиделся Дробов.— У меня вырисовывается план, по которому мы сможем провести точный эксперимент.

...Дробов появился в клубе за час до начала репетиции. Уже в холле первого этажа его оглушила какофония всевозможных звуков. Из какой-то комнаты слыша-

лись бухающие удары в барабан и пронзительный звон меди — ударники из музыкального кружка разучивали свои партии. С верхнего этажа неслась песня — шла спевка заводского хора. Откуда-то слышались непрерывные сухие пистолетные выстрелы — в бильярдной шел турнир «мастеров кия».

Дробов поднялся в буфет, он здорово проголодался: столовая гостиницы была закрыта на ремонт. В единственный ресторан городка стояла очередь на улице.

Посетителей в буфете не было. За служебным столиком у окна судачили буфетчица и официантка. Заметив Дробова, буфетчица лениво направилась к стойке.

— Чем угощаете приезжих гостей, товарищ буфетчица? — спросил Дробов.— Учтите, что у меня отличный аппетит. Таких людей и кормить приятно.

— Что имеем, все перед вами.

— Сосиски? Сардельки? Чем сегодня богаты?

— Все перед вами, под прилавком товар не держу.

— Так...— Дробов печально взглянул на буфетную стойку: бутерброды с докторской колбасой и сыром, окаменевшие пряники, винегрет.— А нельзя ли яишенку? — без всякой надежды спросил он.

— Вот люди! Я же сказала: что видите, то и есть, а чего не видите — того нет!

— Тогда попрошу чашку кофе...

— Кофе сегодня не будет, кофеварка сломалась.

— Тогда — стакан чая...

— Чая надо подождать— «титан» еще не включен.

— Ладно...— тяжело вздохнул Дробов.— Дайте пару бутербродов с колбасой и сыром, ну и бутылку пива. А какие у вас конфеты?

— Все перед вами.

— Понимаете, мне для подарка... Хочется что-нибудь хорошее... в коробке.

— В коробках нет.

— Говорят, у вас есть конфеты «Пьяная вишня».
— Были, да сплыли. За два дня раскупили.
— Вот досада! Надо было вчера к вам зайти.
— Вчера? Да их уже дней десять как нет.
— Может, где-нибудь в магазинах есть? Не знаете случайно?
— Вот уж не ищите! Кроме моего буфета, их нигде не было. Сама в Таллине вырвала сорок коробок. Сама вырвала, сама привезла!
— Это вы молодец! Неужели сорок коробок за два дня расхватали?
— Точно. Я их и на прилавок не ставила. Наши артисты все расхватали.
— Какие артисты? Разве у вас есть театр?
— Театр! — презрительно хмыкнула буфетчица.— Наши самодеятельные. Перед отъездом в Ленинград.
— А-а... Этих артистов я знаю. И товарища Летову знаю. Кто же из них такой любитель конфет?
— Да все любители! Летова две коробки схватила, Матеюнас две, Шадрин, помню, взял, Остросаблин... всех теперь не упомнишь.
— Жаль, что мне не досталось.— Он взял тарелку с бутербродами, бутылку пива и сел за столик.
«Значит, Шадрин покупал «Пьяную вишню» накануне отъезда в Ленинград»...— думал Дробов, машинально жуя черствый бутерброд. Он вынул из кармана театральную афишку спектаклей, шедших в Ленинграде. Хотелось еще раз проверить, в каких спектаклях был занят Шадрин. В чеховской сцене «Свадьба» Шадрин в очередь с Остросаблиным играл роль Ревунова-Караулова, в «Гамлете» — могильщика. В других спектаклях Шадрин не значился.
К семи часам Дробов вошел в фойе третьего этажа. Навстречу ему поднялась встревоженная Летова:

— Василий Андреич, Сомов установил в репетиционной комнате микрофон, сказал, что репетиция будет записываться на магнитофон. Об этом вы мне не говорили. Все участники взволнованы, никто не понимает, зачем это... возникают разные тревожные предположения...

— Вера Федоровна, дорогая, успокойтесь сами и успокойте других. Просто забыл вам сказать: записываю на всякий случай, мне это может пригодиться.

— Ну все-таки, что вы имеете в виду?

— Разве я не говорил вам, что мне предстоит делать доклад о постановках Шекспира на сценах самодеятельных коллективов? Естественно, что некоторые свои выводы и положения мне хочется подтвердить конкретным материалом, то есть звукозаписями. Такие записи я делал и в других коллективах самодеятельности. Вот и все. Так что для волнений нет никаких оснований.

— Как сказать,— протянула Летова.— «Нет основания для волнения». А вдруг вы этой записью будете подтверждать уничтожающие нас выводы?

— Обещаю вам не делать этого.— Поймав недоверчивый взгляд Летовой, Дробов пояснил: — Уж так повелось в театральной критике: ругать, не утруждая себя доказательствами, хвалить только с убедительными доказательствами.

— Я вам верю, Василий Андреич,— сказала потеплевшим голосом Летова.— Кружковцы собрались, пройдем в репетиционную. Я сообщила участникам о приезде ленинградского товарища. Может быть, вам лучше начать знакомство с беседы?

— Беседу отложим... потом, если она понадобится. После репетиции задержитесь ненадолго, могут возникнуть вопросы.

В репетиционной, на расставленных вдоль стены стульях, сидели участники самодеятельности. Увидев

Дробова, кружковцы, не скрывая любопытства, уставились на него. Летова хлопнула в ладоши, как бы призывая к тишине, хотя никакой нужды в этом не было.

— Хочу представить вам Василия Андреевича Дробова,— начала торжественно Летова.— Василия Андреевича интересует постановка шекспировских пьес в самодеятельных кружках. Пусть вас не смущают микрофоны. Репетиция будет записываться на магнитофон. Запись нужна Василию Андреевичу для подкрепления некоторых принципиальных положений своего будущего доклада. Итак, не будем терять времени, приступим к работе. Петруччо! Катарина! Прошу вас! Начали!

«Катарина — Левина из аптеки»... Дробов не спускал глаз с моложавой рослой женщины. Движения ее были резки, порывисты, голос низкий, богатый модуляциями. И все же довольно скоро Дробов понял, что роль Катарины Левиной не по плечу и дана ей, очевидно, ради ее броской внешности и голосовых данных. На протяжении всей репетиции ее смуглое красивое лицо оставалось неподвижным и, как показалось Дробову, настороженным. Несколько раз он ловил на себе ее пристальный взгляд. Шекспировский стих Левина читала ученически, старательно подчеркивая все знаки препинания. Но Дробова не интересовали сценические данные Левиной, ему хотелось составить представление о ее способности играть не на сцене, а в жизни.

Изредка, отрывая взгляд от Левиной, он устремлял его в сторону, где сидели восемь кружковцев — исполнители двух сцен из «Генриха». Кто из них Шадрин? Родился в 1917 году... Очевидно, самый старший из них... тот, который сидит у окна... в очках...

Двойной хлопок в ладоши прервал его наблюдения.

— Петруччо и Катарина свободны! — возвестила Летова.— Начинаем репетировать «Генриха». Четвертую сцену! Прошу!

В этой сцене Дробов знал каждое слово, знал так, что мог бы произнести текст за всех шестерых. Вот сейчас Ричард Плантагенет скажет свою реплику, и сразу же заговорит Сеффолк! По тому, как разместились участники сцены, Дробов понял: на первом плане Плантагенет и Сеффолк. Ну конечно, Сеффолк — тот самый человек, что сидел у окна. Шадрин! Живущий во второй половине двадцатого века советский инженер Шадрин решил, что может, подобно графу Сеффолку, жившему в пятнадцатом веке, подчинять законы своей воле.

Нетерпение охватило Дробова: когда же наконец заговорит Сеффолк? Плантагенет — юный лейтенант милиции — смотрел с отрешенным видом в какую-то одному ему видимую точку. «Входит в образ»,— подумал Дробов.

Но вот актер сделал шаг вперед и, повернувшись вполоборота к остальным, произнес глубоким, густым басом:

Что значит, господа, молчанье ваше?
Ужель никто не вступится за правду?

Высокий седеющий человек с приплюснутым носом, давно не стриженный, поправив очки, раздраженно ответил:

Там, в зале Темпля, было слишком шумно;
В саду удобней будет говорить.

«Сеффолк! Заговорил Сеффолк! Сейчас, буквально через несколько секунд, прозвучит та фраза!»

Взлохмаченный Шадрин, угрюмо взглянув на Плантагенета, заговорил надменно, тяжело роняя слова:

К законам я влеченья не имею:
Им воли никогда не подчинял;
Но подчинял закон своей я воле.

Знакомая интонация! Те же интонации, что и тогда, в Ленинграде! Но голос... Впрочем, голос Клофеса претерпел неизбежное изменение. Одно дело слышать голос непосредственно, другое — по телефону или воспроизведенным на магнитофоне по телефонной записи. Необходимо повторить запись с точным воспроизведением первоначальных условий.

Дальнейший ход репетиции Дробова не интересовал, он только делал вид, что следит за игрой исполнителей, на самом же деле мысли его были направлены к одному: как, не вызывая подозрения Шадрина, осуществить запись по телефону.

Во время краткого перерыва Летова поспешила к Дробову и, нервно теребя носовой платок, устремила на него вопрошающий взгляд.

— Очень интересно,— сказал Дробов.— Ваша трактовка достаточно своеобразна, лишена широко распространенного штампа. Я говорю, конечно, о том немногом, что сейчас увидел. Особенно это заметно в монологе Петруччо. Что касается «Генриха», там тоже есть интересные моменты. В общем, я доволен, что ваша репетиция записана на магнитофон. Убежден, что мне это пригодится.

Летова не пыталась скрыть свою радость:

— Вот видите! А Ленинград зарубил нам сцены из «Гамлета». Жаль, что вас не было на том просмотре, вы бы нас отстояли.

— Возможно. До какого часа у вас репетиция?

— Как всегда, до половины десятого.

— Тогда сделаем так. Вы продолжайте репетицию, а я проверю запись на магнитофоне. В двадцать один тридцать позвоню вам. Актеров до моего звонка, пожалуйста, не отпускайте, может быть, им придется задержаться на пять-шесть минут.

— Вы хотели поговорить со мной после репетиции...

— Поговорим завтра, я не тороплюсь. Сейчас придет техник и снимет микрофоны. Итак, до завтра...

* * *

За углом, в сорока—пятидесяти метрах от клуба, Дробова ждала машина. За рулем сидел Янсон.

— Успели сравнить запись? — спросил Дробов.

— Успе-е-ели. Похо-о-оже... но не совсем.

— Конечно, не совсем: запись с микрофона может и не совпадать с записью по телефону. Но это поправимо...

В управлении их встретил хмурый Кулябко.

— Похоже и непохоже, говорит так же, а голос разный,— ответил он на немой вопрос Дробова.

— Не совсем понятно и совсем не по-русски: «Говорит так же, а голос разный». Давайте послушаем вместе.

Прослушав и сравнив обе записи, Дробов понял, что Кулябко нашел довольно точное определение. Тембр голоса несколько отличался от голоса Клофеса, но «рисунок» фразы «К законам я влеченья не имею» в обеих записях был абсолютно одинаков: та же пауза после слов «к законам», то же необоснованное выделение слова «влеченья».

— Не теряю надежды на установление идентификации голосов,—сказал Дробов.

Ровно в двадцать один тридцать Дробов позвонил в репетиционную:

— Вера Федоровна? Как там дела? Только что кончили? У меня просьба. Запись хорошая, за исключением первой реплики Плантагенета и двух последующих реплик Сеффолка. Что? Да, действительно, с микрофонами поторопились, убрали раньше времени. Но выход есть.

Попросите своих исполнителей произнести свои реплики в телефон. У меня японский магнитофон с лентой исключительной чувствительности. Да, да, пожалуйста, сейчас. У меня все готово. Жду!

Запись заняла несколько минут. Теперь эксперимент был воспроизведен полностью. Из записи важна была только одна строчка, именно ее звучание должно было в какой-то мере решить, точно ли Клофес и Шадрин — одно и то же лицо.

Дважды в напряженном молчании прослушали они новую ленту, сравнивая ее с ленинградской записью. Свежая телефонная запись была далека от совершенства, делать решающие выводы на ее основании было рискованно. Но одно было несомненно, и на этом сошлись все трое — если Клофес и Шадрин разные люди, то безусловно: либо Клофес копировал Шадрина, либо Шадрин копировал Клофеса.

— Проверим на хронометраж,— предложил Янсон, положив на ладонь секундомер.—Интересно, совпадают ли они по времени звучания?

Проверка показала просто удивительное совпадение — и та, и другая запись звучали ровно три и две десятых секунды.

— Воздержимся от поспешных выводов, но подумать есть над чем,—сказал Дробов.— Завтра в девять утра я встречусь с Летовой, а вы, Максим Трофимович, наведайтесь на завод, наведите подробнейшие справки о Шадрине, поговорите с кем полагается. Вас, Эдуард Оттович, попрошу поинтересоваться Левиной, характером ее работы: приходилось ли ей изготовлять лекарства, в состав которых входили ядовитые вещества. Какова система контроля за использованием подобных веществ. Но все это могут установить только специалисты. Придется вам организовать такую проверку через рай-

здравотдел и, конечно, так, чтобы Левина не подозревала, что проверка имеет к ней какое-то отношение...

* * *

Новая встреча с Летовой состоялась в гостинице, где остановились Дробов и Кулябко. Дробов не сомневался, что Летова прежде всего заведет разговор о вчерашней репетиции. Активно поддерживать такой разговор он опасался, понимая, что его суждения могут оказаться откровенно дилетантскими, странными для работника Управления по делам культуры. И потому, как только Летова вошла, Дробов, упреждая ее вопросы, заговорил сам.

— Попрошу вас, дорогая Вера Федоровна,— начал он, расхаживая по небольшому номеру,— попрошу рассказать о ваших подопечных. Меня давно интересует вопрос, кто, как, каким путем приходит в нашу самодеятельность. Понимаю, о всех рассказать не можете, ограничимся участниками вчерашней репетиции.

— Не знаю, что, собственно, рассказывать. — Летова была недовольна таким оборотом беседы. Ей хотелось вести творческий разговор, но, оказывается, товарищ из Ленинграда недалеко ушел от Сомова: тот тоже вечно требует какие-то анкеты, характеристики.— Кто где работает — это я знаю. Мне кажется, самое важное для меня, как руководителя творческого коллектива, знать, вернее понимать, кто талантлив, а кто нет и каковы возможности каждого. Остальное для настоящего искусства значения не имеет.

— Вы думаете? — строго спросил Дробов.—А вот у Станиславского была другая точка зрения.—Дробов не имел никакого понятия о точке зрения Станиславского на этот вопрос, но расчет его оказался правильным: авторитет Станиславского сделал свое дело.

— Да нет, я, конечно, знаю более или менее о каждом, не первый год работаю. Но согласитесь, что знать подробно о всех... при моей загрузке... у нас некоторые совсем недавно пришли.

— Конечно, конечно, я понимаю, — быстро согласился Дробов. — Ограничимся в разговоре, так сказать, «шекспиристами». Сведения мне нужны для доклада, да и для статьи небезынтересны. Меня интересует их психология. Не испугались ли они глубины, масштабности необычных для нас страстей шекспировских героев?

— Вот уж нет! — живо отозвалась Летова.— Поначалу я была уверена, что Шекспир их испугает, казалось бы, все чуждо: эпоха, герои, проблемы, психика. Но мои сомнения исчезли при первой же застольной читке. Вернее, после читки, когда началась «драка» за роли. На роль Катарины претендовали сразу четыре исполнительницы. Представляете, в каком я оказалась положении?! Кому из трех отдать предпочтение? Я говорю «из трех», потому что четвертая явно не годилась на такую роль по своим внешним данным. Я остановилась на Левиной, но пока что недовольна — деревянная она какая-то... Скованная...

— Очевидно, не может войти в образ, уйти от самой себя, преобразиться,— сказал Дробов, вспоминая формулировки, читанные им в газетных рецензиях на спектакли.

— Уйти от самой себя? Когда я училась в театральном институте, я слушала лекции замечательного педагога, прекрасного артиста Бориса Андреевича Бабочкина. Так вот, он всегда утверждал, что актер, преображаясь, должен оставаться самим собою, должен идти от самого себя. Вы не согласны с этим?

Поняв, что Летова втянет его сейчас в сложнейший театроведческий спор, Дробов поспешил изменить тему беседы:

— Это требует специального разговора. Мы еще к нему вернемся. Вы рассказали о реакции женского состава, а как реагировала мужская часть коллектива?

— Почти так же. Плантагенет и Сеффолк — вот две роли, вокруг которых разгорелись главные страсти. Не представляете, как мне было трудно. Да что я говорю «было трудно»? Страсти не улеглись до сих пор. На роль Плантагенета претендовали трое, на роль Сеффолка — двое. С Сеффолком было лучше, потому что Шадрин имел явные преимущества перед Луговым, а с Плантагенетом хуже — двое из троих безусловно имели равные шансы. Я остановилась на Раузине из милиции только потому, что он пластичнее других, в шекспировских пьесах пластика важна, как нигде. И вот теперь соперник Раузина даже не здоровается с ним. Впрочем, и Луговой не скрывает своей неприязни к Шадрину.

— А Шадрин, вы считаете, справится с ролью? Как он прошел в Ленинграде? Если не ошибаюсь, он играл в «Свадьбе» Ревунова-Караулова?

— В Ленинграде ему не пришлось играть.

— Как не пришлось? Я говорю о Шадрине. Разве вы не показывали в Ленинграде «Свадьбу»?

— Показывали, но без Шадрина. Он так подвел нас! Я думала, у меня будет инфаркт! В «Гамлете» он играл роль могильщика, дублера у него нет. А в «Свадьбе» он играет в очередь с Остросаблиным. Причем Остросаблин, безусловно, переигрывает его. И вот когда второго сентября выяснилось, что сцены из «Гамлета» не пойдут, Шадрин в тот же день запил. Представляете? Кошмар! Стыд! Вечером я усадила его пьяного в поезд и дала телеграмму Левиной, чтобы встретила. Я, конечно, сообщила на завод о его безобразном поведении. Это счастье, что у него был дублер.

Рассказ Летовой ошеломил Дробова настолько, что он не сразу нашел нить дальнейшего разговора. «Зна-

чит, в день преступления Шадрина в Ленинграде не было? Впрочем, почему не было: второго уехал, а третьего мог вернуться. Вполне допустимо, тем более что такой вариант как нельзя лучше устраивал Шадрина: уехал из Ленинграда второго, а преступление совершено пятого. Проверить, тщательно проверить его алиби!»

— Значит, Шадрин пьет? — спросил Дробов, чтобы как-то разрядить паузу.— А вы не боитесь, что он подведет вас, играя Сеффолка без дублера?

— А что делать? Роль сложная, и при всей своей одержимости Луговой не вытянет... И все же вы правы: попробую заняться с Луговым индивидуально. Теперь несколько слов об остальных исполнителях.

Но мысли Дробова были заняты теперь совсем другим, и он почти не вникал в слова Летовой. «Значит, Шадрин — ложный след? Редчайшее совпадение косвенных улик. Столько совпадений: играет Сеффолка, перед отъездом в Ленинград покупал «Пьяную вишню», живет с женщиной, которая имеет возможность достать экзогенный яд, и, наконец, имя и отчество — Марк Данилович... Значит, если преступник не он, то кто-то из труппы, кто его, безусловно, знает. Теперь уж нельзя сомневаться, что убийца — участник местной самодеятельности... Да-да, неудачи иногда приближают к победе...

ОДНИМ НЕИЗВЕСТНЫМ МЕНЬШЕ

Янсон сидел в своем кабинете и читал сводку о происшествиях за минувшие сутки. Увидев Дробова, он виновато улыбнулся.

— Знаете, Василий Андреевич, ничего существенного о Луговом пока сообщить не могу. Работает буфетчиком в городском ресторане, в меру жуликоват. Я задание да-а-ал, дня через два получим более подробные сведения

с места его рождения, из Центрального архива Советской Армии.

— Давно он живет у вас?

— Три года. Приехал из Нарвы вместе с женой. Но об одном случае я все-таки хочу рассказать. Может быть, вам это пригодится. Второго сентября наш угро получил сведения, что Лугового обокрали. Однако до сего времени заявление от потерпевшего не поступило. Спрашиваю начальника угро, откуда им известно о краже. Оказывается, случайно. От соседки по квартире. Она встретила на лестнице жену Лугового, та пла-а-ачет. Спрашивает: что случилось? Оказывается, пропало дорогое кольцо. Было закрыто на ключ в комоде, лежало в глубине ящика, под бельем, и вдруг исчезло. Замок цел, а кольца нет. Луговая говорила, что кольцо золотое, с бриллиантом. А заявления в угро так и не поступило.

Перед Дробовым возникло первое совещание оперативной группы: на столе лежит содержимое сумочки Кривулиной. Рядом с металлическим рублем — золотое кольцо с прозрачным, как стекло, камешком. Дробов тогда удивился, узнав, что этот камень, уступающий в блеске дешевой чешской бижутерии,—настоящий бриллиант. Экспертиза установила, что кольцо старинное, на его внутренней стороне когда-то была выгравирована буква «о». Следы гравировки были заметны даже без лупы.

— Эдуард Оттович! — Дробов не мог скрыть своего возбуждения.— Вы не представляете, как важна ваша информация. Вам покажется странным, но я почти убежден, что человек, укравший это кольцо, имеет прямое отношение к преступлению в кинотеатре «Антей». Прошу вас как можно скорее соединить меня с Ленинградом...

* * *

Проверка показала, что Шадрин третьего сентября утром явился на завод, был на заводе и четвертого, а пятого, отработав смену, присутствовал на цеховом производственном совещании. Таким образом, его алиби было полностью установлено.

— В этом я почти не сомневался,— сказал Дробов Кулябке.— Ну что ж, в нашем уравнении одним неизвестным стало меньше, значит, и решать его будет легче. Сегодня суббота, и Шадрин выходной... выходной...— повторил он, разминая папиросу. — Вот что... Сделайте так, чтобы Шадрин не смог сегодня принять участия в репетиции. Это очень важно. Репетиция назначена на четырнадцать часов, сейчас начало одиннадцатого. Если действовать быстро — времени хватит.

— Вы не считаете нужным поделиться со мной вашим новым планом? — холодно спросил Кулябко.

— Сегодня приедет Дорофеев, обсудим мой план вместе, самым подробным образом! Но сейчас дорога каждая секунда. А ну как Шадрин уйдет куда-нибудь из дому и появится на репетиции? Он мне там ну никак не нужен сегодня! Поэтому не теряйте драгоценного времени, обеспечьте отсутствие Шадрина. Это первое, а второе — каким-нибудь способом доведите до сведения Летовой, что Шадрина на репетиции не будет. О предстоящем отсутствии Шадрина Летова должна узнать не позднее двенадцати часов. Надеюсь на ваш опыт и находчивость. Не пренебрегайте помощью Янсона.

— Это все?

— Нет, не все. Я только что говорил по телефону с Ленинградом. К нам выезжает Дорофеев. Поезд приходит в пятнадцать часов. Прошу вас встретить его, проводить к Янсону и до моего прихода ввести в курс дела.

— Хорошо. Значит, встречаемся у Янсона?
— Да.
— Тогда я пошел.
— Желаю!

После ухода Кулябки Дробов достал из портфеля первый том собрания сочинений Шекспира и углубился в чтение «Генриха VI».

Работа приучила Дробова к бессистемному чтению. Он вынужден был читать не то, что ему хотелось, а то, что необходимо было прочесть в связи с расследованием очередного уголовного дела. В свое время Дробов опубликовал в одной из центральных газет небезынтересную статью под библейским названием «Вначале было слово». В статье говорилось о вредном влиянии дурной литературы и фильмов на рост преступности среди молодежи. В первоначальном варианте статьи Дробов высказывал предположение, что в художественной литературе, в кино и телепередачах убийства должны происходить «за кулисами», так как подобные сцены могут вызвать опасную реакцию у некоторых подростков с дурными наклонностями. Выбросить этот абзац его заставил... Шекспир. Просмотрев множество уголовных дел, Дробов обнаружил немало случаев, когда убийцы объясняли свое преступление влиянием прочитанных романов, рассказов, увиденных кинофильмов. Однако ни один из преступников не назвал при этом имени Шекспира и Достоевского. Поначалу Дробов решил, что эти люди никогда не читали и не видели на сцене трагедий Шекспира, не смотрели инсценировок и кинофильмов по романам Достоевского. Но нет, многим преступникам были знакомы и романы Достоевского и трагедии Шекспира, но ни один преступник не ссылался на их дурное влияние. Быть может, поэтому Дробов начал свою статью весьма претенциозно: «Великое искусство не может творить зло».

Перечитывая сейчас Шекспира, Дробов подумал, что на этот раз ему, возможно, придется пересмотреть свое утверждение. Но неужели шекспировский Сеффолк мог послужить для убийцы Кривулиной хотя бы косвенным толчком к совершению преступления! «Нет, нет,— спорил Дробов с собою,— это просто совпадение, и только. Шекспир здесь ни при чем!»

Резкий стук в дверь заставил его оторваться от Шекспира. В номер вбежала Летова.

— Нет, вы только подумайте,— начала она, задыхаясь,— можно ли так работать?! Я вас спрашиваю, Василий Андреич, можно ли так относиться к искусству?

— Что случилось, Вера Федоровна? — Дробов придвинул стул.— Сядьте, успокойтесь и расскажите, в чем дело.

— Они сорвали репетицию, которую я назначила специально для вас. Это возмутительно!

— Кто и почему сорвал репетицию?

— Военкомат! Час назад к Шадрину явился нарочный из военкомата и увел его. Мне позвонил Сомов, объяснил, что военкомат проводит проверку мобилизационной готовности офицерского состава. Что делать? Ума не приложу!

— Действительно не повезло. Но здесь уж ничего не поделаешь: дело военное, приказано — выполняй!

— Понимаю, все понимаю, но такая досада! Представляю, как расстроятся участники, когда узнают, что репетицию отменили.

— А зачем ее отменять? Из-за одного человека? Тот же Луговой может подменить Шадрина. Тем более что вы все равно решили ввести его в спектакль.

— Я думала об этом. Но какое у вас создастся впечатление? Луговой ведь совсем «сырой». Я отработала с ним только первые реплики, а потом целиком переключилась на Шадрина.

— Но текст-то Луговой знает?

— Еще как! Текст у него прямо от зубов отскакивает!

— Чего же лучше? Проводите спокойно репетицию. Кстати, что собою представляет Луговой?

— Луговой? Ну что я могу сказать? Довольно начитан, общителен, разговорчив. Участник Отечественной войны, до сих пор люто ненавидит немцев, ругает их по всякому поводу и без повода. Очень любит выступать в концертах самодеятельности. Правда, его выступления ничего общего с искусством актера не имеют, это, скорее, фокусы...

— А именно?

— У него имеется три номера. Во всех трех зрительный зал принимает участие. Кто-нибудь из зрителей задает ему восемь рифмованных слов, он их записывает и буквально через минуту сочиняет и читает на эти рифмы стихотворение. Стихи, конечно, ерундовые, но, представьте, публике это очень нравится. Потом у него есть номер, который называется «справа налево». Кто-нибудь из зрителей выкрикивает какое-нибудь длинное слово, а он сразу же произносит это слово, как бы читая его справа налево. Глупый номер, однако имеет успех. Но особенно восхищают зрителей его математические способности, которые он демонстрирует в своем третьем номере: умножение в уме. Четырехзначные на четырехзначные! Он проделывает это молниеносно, за десять — пятнадцать секунд! Непостижимо! Я под страхом смертной казни не смогла бы.

— Я тоже,— усмехнулся Дробов.— Вы успеете предупредить Лугового о репетиции?

— Ой, да! — Летова вскочила.— Бегу! Только бы застать его дома! До скорого свидания.

— До скорого! Увидимся в два часа.

* * *

Дорофеева Кулябко увидел еще в окне вагона. Состав медленно проплывал вдоль платформы, Дорофеев приветственно помахал Кулябке рукой, а тот широко шагал по перрону, стараясь не отстать от вагона. Наконец буфера лязгнули, поезд остановился. Следом за Дорофеевым на платформу спрыгнул высокий человек в светло-голубой спортивной куртке. Кулябко опытным глазом сразу определил, что спутнику Дорофеева около сорока.

— Знакомься, Максим,— сказал Дорофеев.— Это Новиков Борис Николаевич. Следователь из Комитета государственной безопасности. Прибыл по нашему делу. А где Дробыч?

— Занят по этому самому нашему делу. Сказал, что освободится в начале пятого.

— Получит сюрприз. И ты тоже. Что будем делать, Борис Николаевич?

— Должен позвонить местному уполномоченному КГБ, а потом, как говорится, будем действовать по обстоятельствам. Конечно, я хочу как можно скорее встретиться с товарищем Дробовым, узнать, что ему удалось здесь сделать.

— Тогда пройдем сейчас к Янсону,— предложил Кулябко.— Оттуда вы можете позвонить в комитет. Кстати, Дробов после репетиции тоже придет к Янсону.

Кулябко не удивился приезду работника Комитета госбезопасности. Он помнил сообщение Дробова о том, что убийством Кривулиной заинтересовался КГБ. Значит, чекистам стало известно что-то, если Новиков приехал сюда.

Новиков шел молча. Темно-коричневый южный загар, плотно сжатые губы, слегка нахмуренные густые брови делали его лицо замкнутым, малоподвижным.

— Должно быть, с юга недавно? На курорте были? — спросил Кулябко, тяготясь молчанием.

— Нет,— сухо ответил Новиков.

Дорофеев усмехнулся. Он знал причину «курортного» загара Новикова. Два последних месяца Новиков провел на южном берегу Кавказа в поисках бывшего командира взвода зондеркоманды Афанасенко, орудовавшего в сорок втором году на Псковщине. Это был изощренный садист. Положив на голову пленного партизана картофелину, Афанасенко отходил шагов на десять в сторону, вынимал пистолет и неторопливо объяснял:

«Ты не бойся. Сейчас выстрелю, и картофли на твоей голове как не бывало! Твое дело маленькое — стоять, не шевелиться, под руку мне не говорить. Тогда я не промахнусь, все будет зер гут!»

Потом он долго целился в картофелину, упиваясь предсмертным ужасом жертвы, несколько раз опускал и подымал пистолет, грустно приговаривая:

«Рука сёдни без твердости. Стой, не моргай! — И стрелял, не целясь, в живот партизана.— Как обещал, так и выполнил,— говорил он, подходя к распростертому окровавленному телу.— Картофли-то на твоей голове нет, вона куда отлетела».

Розыск Афанасенко продолжался много лет, наконец в конце мая стало известно, что его видели на юге Кавказа. Два месяца понадобилось Новикову и его помощникам из Сухумского комитета госбезопасности, чтобы засечь преступника. Ранним весенним утром, когда пожилой чистильщик обуви раскладывал свои щетки и тюбики с сапожным кремом, вблизи его стеклянной будки бесшумно остановилась машина. Выйдя из «Волги», Новиков минуту-другую смотрел на хмурого, обросшего седой щетиной чистильщика.

«Смотреть любишь? — сердито спросил чистиль-

щик.— Иди в кино. Там две серии крутят, три часа смотреть будешь».

«Закрывайте лавочку, Афанасенко,— сказал Новиков.— Вешайте замок — и в машину. Быстро!»

Вернувшись в Ленинград, Новиков включился в новый розыск. Шагая сейчас по маленькому городку, он уже не думал об Афанасенко: где-то здесь притаился «волк среди людей», его надо найти и обезвредить.

По дороге в милицию Кулябко рассказал об истории с Шадриным и почему Дробов просил по телефону Дорофеева привезти кольцо Кривулиной.

Янсон встретил их своей обычной добродушной улыбкой.

— Мой кабинет к вашим услугам, товарищи. Я буду ря-я-ядом, понадоблюсь — не стесняйтесь. Но прошу вас, товарищ Дорофеев, передать мне кольцо Кривулиной. Вы, конечно, привезли его?

— Привез.

— Товарищ Дробов полагает, что это кольцо украдено у одной жительницы нашего города, некой Луговой. Василий Андреич придает этому факту, если он подтвердится, большое значение. Сейчас я пошлю за Луговой. Товарищ Дробов просил, чтобы вы, товарищ Дорофеев, присутствовали при моем разговоре с Луговой.

— Дробов проинструктировал вас о характере разговора?

— Да, коне-е-ечно...

— Хорошо. Когда она явится, я в вашем распоряжении.

Позвонив в местное отделение КГБ, Новиков сел за стол Янсона, взглянул на Кулябку и неожиданно усмехнулся. Усмешка мгновенно смыла с его лица замкнутость и неподвижность.

— У вас неплохая выдержка, товарищ Кулябко,— сказал Новиков.— Признайтесь, вам не терпится узнать, почему я здесь и почему вообще в это дело вмешался наш Комитет?

— Что ж, не отрицаю, очеиь заинтересован, дело у нас общее.

— Совершеиио верно, дело иаше общее. Так вот, Кривулина никогда не была Быковой. Ее девичья фамилия Рябова. Раиса Ивановна Рябова. Эту Рябову мы разыскивали уже давио, ио она довольно искусно заметала свои следы. В сорок пятом году, присвоив себе биографию советской патриотки Зииаиды Быковой, она оказалась с Красной Армией на территории Чехословакии. В те горячие дни иашего яростиого иаступлеиия могло случиться всякое. Когда там было разбираться! Но в сорок восьмом году иаши органы уже зиали, что комсомолка Зииаида Быкова была казиеиа фашистами за попытку к бегству из коицлагеря С-113. Дальиейшее расследование показало, что Рябова зимой сорок первого года тоже оказалась в плеиу и иаходилась в одиом лагере с Быковой, ио довольно скоро стала предательницей и завербовалась в армию измениика Власова. Судя по дальиейшему, Рябова знала несложную биографию Зииаиды Быковой, ио запомиила ее неточно, так как не думала, что ей придется воспользоваться этим именем. Отсюда иекоторая путаиица в ее автобиографии и анкетах. И хотя Рябова не раз меияла и фамилию, и местожительство, и работу, все же мы напали на ее след, и если бы Кривулину — Рябову не убили в сентябре, то в октябре ее уже иикому убить не удалось бы.

— Почему?

— Потому что к этому времеии оиа бы оказалась под иадежиой охраной тюремиых решеток. Убийство Кривулиной, безусловно, связаио с ее измеиой родине...

Тихо звякнул телефои, Кулябко сиял трубку.

— Янсон говорит. Попросите товарища Дорофеева зайти в соседнюю комнату, сейчас придет Луговая.

* * *

Ванда Сергеевна Луговая, глуповатая пожилая женщина, считала себя значительной особой только на том основании, что почти все соседки по дому где-то работали, она же могла жить на содержании мужа, не работая.

В эту субботу, после неожиданного ухода мужа на репетицию, Ванда Сергеевна, оставшись одна, разложила четыре пасьянса, потом заказала по телефону билет на четырехчасовой киносеанс и переоделась, чтобы спуститься в парфюмерный магазин «Красота» за краской для волос. Неожиданно раздался продолжительный, резкий звонок. «Почта»,— подумала Ванда Сергеевна, но, открыв дверь, увидела знакомого квартального, младшего лейтенанта милиции.

— Пришел с доброй вестью,— сказал младший лейтенант.— Нашлось ваше кольцо. Начальник отделения майор Янсон просит вас немедленно прибыть в милицию. Вот как мы работаем: вы и не заявляли, а мы все равно нашли!

— Нашлось кольцо? Не может быть! — обрадовалась Ванда Сергеевна.

— Точно, нашлось. Майор зря говорить не будет...

Войдя в помещение милиции, Ванда Сергеевна, не понимая почему, вдруг оробела, радостное возбуждение ее угасло, и она вошла к Янсону с растерянной, вымученной улыбкой.

— Ванда Сергеевна Луговая? — спросил Янсон и, не дожидаясь ответа, указал на стул.— Садитесь, прошу вас. Недавно мы задержали вора-рецидивиста. При обыске у него обнаружены несколько колец. Арестован-

ный заявил, что не по-о-омнит, где, когда и у кого украл их. Не исключено, что среди обнаруженных колец есть и ваше золотое кольцо с бриллиантом.

На лице Ванды Сергеевны появилось нескрываемое удивление:

— Вы говорите, что у вора нашли золотое кольцо с бриллиантом?

— Именно так. Потому и вызвали вас.

— Но... Понимаете ли. Муж мне сказал... его ведь не было, когда украли... Он был в Ленинграде. Когда приехал, я ему рассказала... он как раз приехал, когда я собралась к вам, чтобы заявить, а он сказал, что смешно беспокоить милицию из-за пустяков. Оказывается, кольцо было не золотое, а только позолоченное, а камень тоже поддельный.

— Ах вот что! А мы удивлялись, почему вы не тревожите нас. Теперь все поня-я-ятно. Но все равно, золотое ли, медное ли, вор должен отвечать за сам факт воровства. Поэтому я вас прошу осмотреть внимательным образом изъятые у вора пять колец. Если обнаружите похищенное у вас, укажите, какое именно ваше.— Янсон поднял лежащий на столе лист белой бумаги, под которым лежали кольца.

— Подойдите поближе, осмотрите каждую вещь.

Луговая склонилась над кольцами. Кольца были схожи, в каждом поблескивал прозрачный камешек. Два кольца из пяти Луговая сразу же отодвинула в сторону. Оправа у них была шире, чем у трех остальных.

— Вот оно,— сказала Луговая, взяв в руки одно из оставшихся.

— Вы уверены в этом?

— Конечно! У меня же верная примета. Там внутри когда-то была буква «о», потом ее стерли, да не совсем. Вот посмотрите.

Янсон и Дорофеев с деланным вниманием всматривались в следы гравировки.

— Сомнений никаких, здесь действительно была бу-у-ква. Необходимо оформить опознание протоколом.

Отодвинув в сторону кольца, Янсон взял авторучку.

— Ванда Сергеевна, вы допрашиваетесь в качестве свидетельницы по обвинению Кулькова Ивана Захаровича в краже. Прежде чем перейти к основным вопросам, прошу вас ответить на несколько вопросов, имеющих чисто личный характер, таков уж порядок,— сказал он с сожалением.— Итак, прошу вас назвать свою фамилию, имя, отчество.

— Луговая Ванда Сергеевна.

— Как ваша девичья фамилия?

— Луговая.

— Вы, очевидно, не поняли моего вопроса. Какую фамилию вы носили до замужества?

На лице Ванды Сергеевны появились красные пятна, она испуганно смотрела на Янсона.

— До замужества... Луговая, — тихо сказала она.

— Но ведь фамилия вашего мужа — Луговой? Вы что, родственники?

— Нет...— Красные пятна выступили и на ее полной шее.— Когда мы регистрировались в загсе, он принял мою фамилию.

— Редчайший случай! Какая же у него была фамилия до регистрации? Очевидно, очень неблагозвучная, раз он решил сменить ее?

— Нет, почему же? — обиделась вдруг Ванда Сергеевна.— У него тоже была хорошая фамилия — Истомин. Только он сказал... сказал, что хочет изменить из любви ко мне...

Лицо Ванды Сергеевны полыхало, она сидела опустив голову, стараясь не встретиться взглядом с Янсоном.

— Чувство, достойное уважения,— заметил Янсон.— В загсе, наверно, удивились. Где вы регистрировались?

— В поселке Лендеры. Это в Карелии, поселок такой. Там Семен Семеныч клубом заведовал, а я там и родилась. Мы оттуда, как зарегистрировались, уехали в Нарву.

— Долго вы прожили в Нарве?

— Два года. У Семена Семеныча беспокойная натура, говорит, что не любит засиживаться на одном месте, говорит, что любит перемену природы.

— Кольцо это он вам подарил?

— Он.

— Когда?

— Да еще перед свадьбой...

Дальнейший опрос уже не представлял никакого интереса ни для Янсона, ни для Дорофеева.

— Кольцо пока останется у нас,— сказал Янсон, прощаясь с Вандой Сергеевной.— Оно понадобится на суде как вещественное доказательство. Вас вызовут в суд в качестве свидетельницы.

Из милиции Ванда Сергеевна вышла в хорошем настроении,— она успеет зайти в парфюмерный магазин «Красота» и не опоздает на четырехчасовой киносеанс.

СНОВА НА РЕПЕТИЦИИ

Придя на репетицию, Дробов застал ту же картину, что и накануне: драмкружковцы сидели вдоль стены и ждали привычного хлопка в ладоши — «начинаем!». Он сразу определил, кто из них Луговой: семеро были на вчерашней репетиции, восьмого он видел впервые.

Закинув ногу на ногу, Луговой сидел, вытянув длинную шею, уставившись в потолок. По потолку вяло ползала большая муха.

Последовал традиционный хлопок в ладоши, и исполнители поднялись на сценическую площадку. Плантагенет произнес первую реплику, следом заговорил граф Сеффолк:

К законам я влеченья не имею...

Голос Лугового звучал, как слепок с голоса Шадрина. Те же интонации, та же акцентировка на тех же словах, те же жесты, движения... «Эта Летова натаскивает своих питомцев, как канареек,— все поют на один лад,— подумал Дробов.— Нет, опираться на магнитофонную запись, очевидно, нельзя. Надо создать такую ситуацию, при которой Луговой выдаст сам себя, если он действительно преступник».

Дробов оставался на месте, но меньше всего его интересовало происходящее на сцене. Он обдумывал новый план расследования, при котором еще до опроса или ареста Лугового станет ясно, имеет ли он отношение к убийству Кривулиной.

— Пойду покурю,— сказал он шепотом Летовой.

Неслышно ступая, Дробов вышел из комнаты. Телефон был в соседней комнате. Соединившись с Янсоном, он отдал необходимые распоряжения, сделал несколько быстрых коротких затяжек и вернулся в репетиционную. На сценической площадке находились исполнители пятой сцены, в которой Луговой не участвовал. Он сидел на своем прежнем месте, в той же позе — закинув ногу на ногу, но теперь взгляд его был устремлен не на потолок, а на сцену. Губы его слегка шевелились, можно было подумать, что он суфлирует всем исполнителям пятой сцены.

«И верно, он одержим Шекспиром,— подумал Дробов.— Вернее, не Шекспиром, а шекспировскими злодеями».

Дробов пристально вглядывался в Лугового, внешность которого не понравилась ему с первого взгляда: на тонкой шее покачивалась маленькая лысеющая голова, большие круглые очки прикрывали редкие белесые брови, время от времени он почему-то надувал щеки. Глядя на эту очкастую голову с надутыми щеками, Дробов вспомнил учение какой-то индусской секты о том, что души умерших людей переселяются в различных животных. «Душа Лугового после смерти обязательно переселится в кобру»,— подумал он и тут же рассердился на себя. Сколько раз убеждался он, как опасно принимать во внимание внешность людей. Год назад в него стрелял бандит, носивший кличку Христос. Бандит и верно был похож на классическое изображение «сына божия». Дробов остался жив только потому, что электромонтер ЖЭКа — один из понятых — выбил пистолет из рук Христа. У понятого была круглая большая голова с приплюснутым переломанным носом, маленькие, глубоко сидящие бесцветные глазки, низкий лоб. Когда в Управлении внутренних дел ему вручали ценный подарок, Дробов узнал, что этот человек с лицом убийцы усыновил двух сирот из детского дома, о которых заботится, как родной отец...

Наконец Луговой перестал шевелить губами, вытащил сигарету и стал вертеть в руках коробок со спичками. Было ясно, что сейчас он пойдет курить. И верно, постучав сигаретой о коробок, Луговой направился к выходу. Через минуту поднялся и вышел Дробов.

Луговой сидел на широком подоконнике, в его бледных губах была плотно зажата дымящаяся сигарета.

Дробов подошел к нему с незажженной папиросой и попросил прикурить. Луговой с любезной улыбкой протянул ему спички и подвинулся, как бы приглашая Дробова сесть рядом.

— Вы, кажется, принимали участие в ленинградском смотре? — начал разговор Дробов, садясь на подоконник.

— Да, посчастливилось.

— Долго у нас пробыли?

— Совсем мало, с первого по шестое.

— Понравился вам Ленинград?

— Еще бы! Красивый город. Большой.

— Вы, конечно, побывали в наших театрах, в кино?

— Где там! Утром репетиция, вечером спектакль...

— Вера Федоровна говорила мне, что вы увлекаетесь Шекспиром. Интересно, что вас привлекает в его драматургии?

— То же, что и всех,— характеры персонажей. Сильные, решительные, готовые ради достижения цели и на героизм и на злодейство.— Он помолчал немного и, стряхнув пепел с сигареты, добавил: — Увы, в наше время таких характеров не встретишь!

— Вы думаете?

— Конечно. Убийцы в нашей стране, как бы вам сказать, измельчали, что ли... Убивают, главным образом, в пьяном виде, просто так, из-за ничего.. А вы проследите, как хитро действуют убийцы у Шекспира, как умно готовятся к преступлению, с какой решимостью, с каким холодным расчетом. Ничего подобного теперь нет...

— Напрасно вы так думаете.— Дробов внимательно следил за выражением лица Лугового.— Напрасно. В вашем маленьком городе, возможно, ничего подобного и не случается, но в больших городах водятся злодеи не хуже шекспировских, уверяю вас.

— Не знаю... В больших городах не жил и в газетах про это никогда не читал.

— Да разве газеты пишут про такое? У меня брат работник милиции, так он мне иногда рассказывает...

Совсем недавно у нас в Ленинграде произошло вполне шекспировское преступление. И знаете где? Невозможно представить! В кино! Понимаете, в кино! Забыл, в каком именно. Кончился сеанс, а в ложе женщина сидит, не выходит. Оказывается, ее пытались отравить. Правда, есть предположение, что она сама отравилась, но мой брат придерживается другой точки зрения, уверяет, что имела место попытка отравления. И заметьте, никакого ограбления, все содержимое сумочки,— там было сто рублей,— все, все цело. Брат уверен, что здесь имела место попытка избавиться от опасного свидетеля. Теперь все ждут, когда эта женщина придет в себя, тогда все разъяснится.

По мере того как Дробов говорил, Луговой явно терял над собой контроль. Без всякой нужды он снимал и протирал дрожащими руками очки, на низком морщинистом лбу проступила испарина.

— Значит... простите, я не понял... эта женщина осталась жива?.. — запинаясь, спросил он.

— Жива, но пока как бы и не жива.

— Не понимаю...— Луговой поднес спичку к дымящейся папиросе,— как это — жива и не жива?.. Не понимаю...

— Она жива, но яд оказал на ее организм своеобразное воздействие. Она никого не узнает, не отвечает на вопросы. Профессор уверяет, что такое состояние может продолжаться очень долго, но может случиться и так, что она внезапно, скажем завтра, придет в себя, и тогда сразу все выяснится.

Зажженная спичка догорела до конца, но Луговой не почувствовал ожога. Швырнув окурок в урну, он вытер рукавом вспотевший лоб.

— С утра температурю,— сказал он хрипло.— Пришел, чтобы не сорвать репетицию... Грипп, должно быть...

— Зря пришли,— живо отозвался Дробов.— Грипп — дело серьезное, надо отлежаться, иначе могут быть осложнения.

— Скажу сейчас Вере Федоровне, что не могу... Она отпустит.

— Конечно, отпустит. Не тяните с этим. Я еще зайду в буфет, а вы сейчас же идите домой, и — в постель. Вызовите врача, с гриппом не шутят.

Расслабленной походкой Луговой направился в репетиционную. Дробов выглянул в окно. В сквере, на скамейке, сидел Кулябко, на другом конце скамьи сидел, углубившись в газету, высокий смуглый человек в бледно-голубой спортивной куртке.

* * *

Луговой вышел из клуба и быстро пошел в сторону, противоположную его дому. По дороге он дважды неудачно пытался остановить идущие мимо машины. Наконец ему повезло: заметив поднятую руку Лугового, очередная «Победа» затормозила, из окна шоферской кабины выглянул водитель в морской фуражке с «капустой».

— Не откажите в любезности, подбросьте к вокзалу,— приложив руки к груди, взмолился Луговой.

— А это как хозяин решит,— сказал, улыбаясь, водитель и обернулся к сидящему в машине человеку.— Как, хозяин, проявим чуткость?

— Если заплатит, пусть садится, нам спешить некуда.

— Заплачу, конечно, заплачу,— обрадовался Луговой.

Водитель открыл дверцу кабины, и Луговой плюхнулся на сиденье.

— Значит, на вокзал, пожалуйста!

— Есть на вокзал, пожалуйста! Пять минут — и на месте. А цена-то всего пара целковых.

— Вы понимаете, мне нужно потом заехать еще в два-три места... Это займет немного времени, самое большое — час.

— Обсудим,— весело отозвался водитель. Светофор вспыхнул красным огнем и преградил им дорогу.— Хозяин, гражданин хочет зафрахтовать наш лайнер на целый час. Какие указания?

— Гривенник! — послышался лаконичный ответ.

«Мародеры, черт бы вас побрал!» — выругался про себя Луговой.

— Пожалуйста! — сказал он вслух, вытащил поспешно десять рублей и сунул водителю.

— О'кей! — сказал водитель.— Сейчас дадим полный вперед!

Мышастая «Победа» подкатила к вокзалу, Луговой выскочил из машины и, широко шагая, скрылся в здании.

Вернулся он довольно скоро.

— Немного подождем,— сказал водитель.— Хозяин пошел за сигаретами.

Луговой взглянул на часы:

— Он недолго?

— Сейчас явится.

Прошло несколько минут. Сидя рядом с шофером, Луговой даже не заметил, как «хозяин» оказался на заднем сиденье.

— Куда держим курс? — спросил водитель Лугового.

— На улицу Октября, дом десять.

— Подскажите, как ехать, мы ведь здесь проездом...

— Сейчас прямо и вправо.

— Есть сейчас прямо и вправо.

Дом десять по улице Октября оказался пятиэтажной новостройкой. Луговой вышел из машины, бросив на ходу:

— Минут через пятнадцать поедем дальше.

— Давай, давай! — поощрительно сказал водитель.— Время — деньги, или, говоря по-американски, таймс из монэ!..

Луговой вышел из дома через десять минут. Он успел переодеть костюм, вместо рубашки на нем был свитер, в одной руке Луговой держал чемодан, в другой — объемистый портфель. Через плечо было перекинуто летнее пальто.

— Садитесь сюда,— приоткрыл дверцу хозяин машины.— А чемодан в багажник. Сережа, открой багажник.

— Есть Сережа открой багажник! Прошу ваш чемоданчик. Сейчас пристроим — и «в дальний путь на долгие года»! Куда теперь? На вокзал?

— Сначала в сберкассу. Не успели выписать командировочные. Придется на свои ехать, потом, конечно, выплатят.

— А где она, сберкасса-то? — спросил водитель.

— По дороге на вокзал, чуть в сторону.

— Далеко едете? — полюбопытствовал хозяин, когда машина тронулась.

— Да нет, поблизости... В Тарту.

— Слыхал. Хороший, говорят, город. Надолго?

— Дней на пять... Товарищ водитель, попрошу в этот переулок, сразу же за углом.

— Есть! Ошвартуемся за углом!

Машина круто завернула в переулок и остановилась. Не расставаясь с портфелем, Луговой степенно вошел в сберкассу.

— Пошел закрывать счет,— сказал водитель.

— Ясно.

— Место встречи остается прежним?
— Да. На перекрестке Морской и Партизанской.
— Пока идет хорошо.
— Дальше будет лучше...
— Вот он возвращается.
Луговой сбежал со ступенек.
— Все! — сказал он. — Теперь финиш — вокзал!
— Есть финиш — вокзал!

Машина рванулась с места, выехала на Морскую и понеслась к вокзалу. Редкие прохожие провожали ее осуждающим взглядом — явное превышение дозволенной скорости. На перекрестке Морской и Партизанской водитель, не снижая скорости, наехал на желтый свет. Тотчас же раздался резкий переливчатый свисток.

— А, черт! — водитель нажал на тормоз, машина злобно заскрежетала и остановилась.

Не спеша, точно прогуливаясь, к мышастой «Победе» подошли два орудовца — лейтенант и дружинник с красной повязкой на рукаве. Лейтенант козырнул:

— Ваши права?

— Права?— Водитель сунул руку в боковой карман пиджака, потом в задний карман брюк, потом снова в карман пиджака и растерянно развел руками: — Оставил дома, товарищ лейтенант. Переодевался и оставил в старом пиджаке. Первый раз такое со мной, уж вы поверьте.

— Очень плохо. Машина ваша?

— Хозяина.— Водитель кивнул головой на заднее сиденье.

Дружинник открыл дверцу «Победы».

— Кому из вас принадлежит машина?

— Ну мне, а что?

— Паспорт у вас с собой?

— Такого закона нет, чтобы советский человек всюду таскал с собой паспорт.

— А у вас, товарищ водитель, паспорт с собой?

— Да, понимаете, все документы оставил в старом костюме.

— Придется проехать в отделение. Подвиньтесь вправо,— приказал лейтенант водителю. Тот, не споря, выполнил приказ, и лейтенант занял его место.

— Товарищи, я здесь человек случайный,— заговорил, тяжело дыша, Луговой.— Попросил подвезти до вокзала, мне в командировку, поезд уходит через полчаса.— Он пригнул голову, чтобы выйти из машины.

— Оставайтесь на месте, гражданин,— жестко сказал дружинник и сел в машину. Луговой оказался посредине между дружинником и смуглым человеком в бледно-голубой спортивной куртке.

— Товарищи...— начал он, но лейтенант уже тронул с места, и мышастая «Победа» повернула к центру городка...

...НЕИЗВЕСТНЫХ БОЛЬШЕ НЕТ

Вернувшись на другой день в Ленинград, Новиков и Дробов встретились в Комитете госбезопасности.

— С результатами расследования этого дела в Ленинграде я знаком,— сказал Новиков.— Меня интересует ваша работа во Владигорске.

Слушая сообщение Дробова, Новиков делал какие-то пометки в небольшом карманном блокноте, изредка задавая Дробову вопросы.

— Почему он назвал себя Клофесом? — спросил Новиков.— В этом что-то есть. Назвал бы себя Петровым, Ивановым — их в Советском Союзе миллионы,— ищи ветра в поле! А он вдруг — Клофес!

— Со стыдом признаюсь, долгое время я сам не понимал этого. Помогла, представьте, Летова. Как гово-

рил Козьма Прутков, «и терпентин на что-нибудь полезен». Говоря о Луговом, Летова упомянула о его выступлениях на концертах самодеятельности. Был у него такой номер: зрители выкрикивали какое-нибудь заковыристое слово, а он мгновенно произносил это слово прочтенным справа налево. Прочтите фамилию Клофес справа налево, и вы поймете, откуда она взялась.

На какую-то долю минуты Новиков задумался. Дробов наблюдал, как выражение сосредоточенности на лице Новикова сменилось сперва недоумением, потом улыбкой.

— Сефолк! Сефолк! — воскликнул он.— И впрямь, этот Луговой помешался на Шекспире. Ну а все-таки почему он ее убил?

— Тут могут быть два варианта. Вариант первый. Луговой боялся, что Кривулина его выдаст. Вариант второй. Встретив случайно Лугового, Кривулина начала его шантажировать, требуя за молчание деньги. Должно быть, ее требования превышали его возможности. Он вынужден был отдать ей бриллиантовое кольцо, она же, очевидно, требовала, так же как и с Куприянова, ежемесячную дань. И тогда он решил избавиться от нее радикально.

— Оба варианта приходили и мне в голову, но оба они уязвимы. Чем могла Кривулина — Рябова угрожать Луговому? Тем, что она выдаст его, сообщит властям, что он власовец? Так?

— Скорее всего.

— Но ведь Луговой мог угрожать Кривулиной тем же самым. Она тоже служила в армии Власова и тоже скрыла этот факт. Выходит, что Луговой боялся Рябову, а Рябова почему-то не боялась его. Почему?

— Думал над этим и я; к сожалению, не нахожу ответа. Очевидно, ответ будет получен во время допросов. Когда вы думаете начать?

— Медлить оснований нет. «Дружеская беседа» состоится сегодня вечером. Кстати, вы уверены, что Луговой не знает о кольце?

— Что именно?

— То, что его жена признала кольцо своим?

— Ничего не знает. Он ушел на репетицию в тринадцать тридцать и с тех пор с женой не встречался. Когда она вернулась из кино домой, он уже был арестован.

* * *

В течение недели Луговой допрашивался дважды. Новиков отдавал должное его сообразительности и хитрости. Луговой улавливал расставленные ему ловушки и довольно ловко обходил их. Он не отрицал своей попытки бежать из городка, сказав, что задумал это давно, чтобы избавиться от жены, которая ему опротивела.

— Почему вы не развелись, как это делают тысячи других людей? — задал вопрос Новиков.

Луговой и на это нашел, казалось бы, убедительный ответ. Разыграв мимическую сцену, изображающую внутреннюю борьбу, колебания, нерешительность, отчаяние, Луговой сообщил приглушенным голосом:

— Она знала компрометирующие меня факты.

— Какие?

Луговой ответил не сразу, последовала новая мимическая сцена. Новиков терпеливо ждал.

— Я иногда допускал пересортицу вин в буфете,— последовал после паузы ответ.— Жена знала об этом, я был у нее в руках, она грозилась...

Это был шаблонный прием уголовника: признаться в малом, чтобы отвести обвинение в большом.

— Кстати, почему вы приняли фамилию жены?

— Я не знал, что это запрещено.

— Не виляйте, вы отлично знаете, что это не запрещено. Очевидно, у вас были причины для такого решения?

— Луговой звучит более красиво...

После второго допроса Новиков не вызывал Лугового целую неделю. За это время данные о Луговом пополнились новыми сведениями.

Перерыв между допросами Новиков сделал умышленно, зная, как нервничает преступник в такие длительные «паузы», уверенный, что в эти «пустые» дни следователь добывает все новые и новые улики.

На очередной допрос он явился, отягощенный мрачными предположениями. Следователь положил перед ним кольцо и, не задавая вопросов, сказал, усмехаясь:

— Эта вещица Кривулиной — Рябовой больше не понадобится, обойдется без украшений.— Сказал и сел, ожидая реакции Лугового.

Вытянув длинную шею, Луговой уставился на кольцо, надувая щеки, шумно выдыхая воздух.

Новиков угадывал ход мыслей Лугового. Теперь уж Луговой не сомневался, что за эту неделю случилось то, чего он боялся больше всего, о чем ему говорил Дробов: Рябова пришла в себя и, конечно, рассказала, с кем она была в кино, кто и почему хотел ее отравить. Сказав «а», она сказала и «б» — объяснила, что заставило его, Лугового, пойти на такой шаг.

— Ваша жена,— услышал он голос следователя,— увидев это кольцо, в отличие от вас, сразу же узнала его по букве «о».

Снова Новикову казалось, что он читает мысли Лугового: «Ванду вызывали... допрашивали... Она признала кольцо... Ее, конечно, спросили, почему не заявили в угро, и она объяснила почему...»

— Какие подарки, кроме кольца, вы делали Рябовой?

— Никаких...

— Откупались деньгами? Сколько вы дали ей в июле? Помните, когда она приехала с экскурсией из Этюпа и увидела вас в ресторане?

Луговой молчал.

— Вы не хотите отвечать?

— Семьдесят рублей.— Луговой передернул плечами, ему стало вдруг холодно.

— Она требовала от вас ежемесячной выплаты определенной суммы? Какой именно?

Этот вопрос был подсказан Новикову знакомством с делом Куприянова, от которого Кривулина требовала за молчание выплаты определенной ежемесячной суммы. Естественно было предположить, что такое же требование она предъявила и Луговому.

Услышав вопрос Новикова, Луговой уже не сомневался, что Рябова жива, иначе откуда знать следователю об их июльском разговоре.

— Сто рублей,— с трудом выдавил Луговой.

— Сто рублей. Немалая сумма. За что же она требовала с вас сто рублей, гражданин Клофес?

Обращение «гражданин Клофес» лишило Лугового остатков самообладания.

Новиков видел: убийца в нокдауне, еще один-два точных удара — и он получит нокаут.

— Молчите? Я вас понимаю. Признаваться в таких грехах страшно. Но я облегчу вам задачу, напомню, что произошло пятого сентября. Вы купили четыре билета в ложу «Б» в кинотеатр «Антей», решив покончить с опасной свидетельницей, с вымогательницей. До этого вместо очередной выплаты вы вручили ей бриллиантовое кольцо, сославшись на отсутствие денег. Кольцо она тут же надела на палец, хотя оно было ей мало. Минут за двадцать до конца сеанса, в темноте, в ваших руках появилась коробка конфет «Пьяная вишня», которую вы

приобрели в вашем клубном буфете, незадолго до отъезда в Ленинград. Вот такую коробку, точно такую, посмотрите.— Новиков вынул из стола узкую коробку.— Конфеты в ней лежат по две в ряд. Одну из них вы заранее убрали, поэтому Рябова могла взять только отравленную конфету...

Маленькая голова Лугового качалась на тонкой шее, словно ее душил тесный и жесткий воротник. Новиков продолжал:

— В конфете была славная начинка — крупинка смертельного яда. Вы знали, что Рябова умрет почти мгновенно, и когда замолкли ее хрипы, которых не было слышно за грохотом бесконечных выстрелов и взрывов в этом фильме, вы, прежде чем уйти, попытались снять с нее кольцо. Пришлось повозиться. Но когда вы дернули его изо всей силы, кольцо соскочило с пальца, упало на пол и покатилось. Вы потратили несколько минут, чтобы найти его, но темнота, опасность, нервы — все это мешало вам. Боясь, что сеанс кончится с минуты на минуту, вы поспешили уйти без кольца. Вы так спешили, что даже не сняли черных перчаток, они, кстати, обнаружены в вашем чемодане вместе с коричневым плащом, в котором вы были тогда в кино. Вот так, гражданин Луговой. Если я допустил какую-нибудь незначительную неточность, можете меня поправить. Это пойдет вам же на пользу. Вы молчите? Может быть, теперь вы скажете, что заставило вас пойти на такое преступление?

Впившись пальцами в сиденье стула, Луговой смотрел на следователя обезумевшими от страха глазами, пытался что-то сказать и не мог. Спазмы сдавили ему горло.

— Раз молчите вы, придется говорить мне,— продолжал Новиков.— Шестого сентября, услыхав по радио объявление,— вы знаете, о каком объявлении я говорю,— вы решили запутать расследование этого дела. Из

будки телефона-автомата вы позвонили в милицию, наплели всякую ерунду, назвав себя Марком Даниловичем Клофесом. Вы назвали имя-отчество Шадрина, потому что злы на него, поскольку он одареннее вас, ну а фамилия Клофес — загадка для детей младшего школьного возраста. Вы ловко читаете слова справа налево. Вот так, гражданин Луговой. Впрочем, никакой вы не Луговой, но об этом — потом. А сейчас, если вы в состоянии говорить, ответьте все же: почему вы решили убить Кривулину — Рябову?

— Она... она..— Луговой сорвал с себя очки и, держа их дрожащими пальцами, невнятно бормотал: — Она... грозилась... Грозилась, что погубит меня... хотела оклеветать...

— Каким образом она могла вас погубить?

— Я же был в плену... в концентрационном лагере... у фашистов. В лагере кто-то выдавал немецкой администрации коммунистов... — Он умолк, зрачки его без очков стали огромными.

— Дальше!

— Рябова угрожала, что заявит... будто это делал я... А как бы я мог доказать, что не я?..

— Неплохо придумали, Луговой,— усмехнулся Новиков.— Неплохо. На мертвого можно сваливать все, на живого — труднее, вы этого не учитываете.

Брошенное вскользь замечание Новикова укрепило догадку Лугового: Рябова жива и, конечно, дает показания, предстоит очная ставка.

— Где и когда вы познакомились с Рябовой?

— Не помню... в армии... во время войны...

— Что с вашей памятью, Луговой? Быть может, вы забыли, что орудовали в армии изменника Власова? Отвечайте! Когда вы оказались в так называемой Русской освободительной армии предателя Власова?

— Меня насильно... грозили повесить...

— Какую должность вы занимали в этой бандитской армии? Не вздумайте лгать, это вам только повредит.
— Я был в штабе... рядовым работником...
— И оказались с Власовым в Чехословакии, когда он бежал под ударами наших войск?
— Да... В Чехословакии Власова захватили, а мне... а я отстал.
— Очевидно, вы были важной птицей у Власова, если оказались при нем даже в Чехословакии?
— Нет, нет, я был рядовым штабным офицером.
— Не скромничайте, Луговой. Цианистый калий упал к вам не с неба. Нам известно, что только самые приближенные к Власову мерзавцы получали, на всякий случай, яд, чтобы покончить с собой, если окажутся в руках советских органов. Ведь Рябова тоже служила у Власова, но яда не получила...
— Она добровольно вступила, а я — под страхом смерти... На суде она, наверно, наврала, что ей угрожали...
— На каком суде?
— Когда ее судили за то, что она служила у Власова.
— С чего вы взяли, что ее судили?
— Она сама мне рассказала в июле, при встрече.— Он умолк, потрясенный внезапно мелькнувшей догадкой.
— Рябова до сих пор не была судима, ей удалось скрыть свое преступное прошлое,— сказал Новиков.
Глаза Лугового налились яростной злобой.
— Сволочь! — выкрикнул он, потеряв всякую власть над собой.
— Луговой! Не забывайте, где вы находитесь!
— Она сказала... Она обманула меня! Тварь!
— Что она вам сказала? Чем вы так возмущены?
— Эта тварь сказала, что ее судили за измену в со-

рок шестом году, что она отбыла свой семилетний срок в лагере на Колыме, что теперь ей нечего бояться. Гадина! Тварь! Сука! — зашелся криком Луговой.

Новиков терпеливо ждал, когда Луговой переборет приступ необузданной истерии. Побелев от ярости, Луговой потрясал над головой сжатыми кулаками, воспаленные глаза его налились бешенством, посиневшие губы дергались и кривились.

Новиков налил стакан воды.

— Выпейте!

Трясущимися руками Луговой обхватил стакан и, стуча зубами о стекло, стал пить, давясь и обливаясь водой. Сделав последний глоток, он все еще сжимал в руках граненый стакан. Наступила реакция. Он тяжело дышал, его лоб покрылся испариной, голова бессильно свесилась на грудь.

— Признаете вы себя виновным в измене Родине? — громко и отчетливо спросил Новиков.

— Признаю,— шепотом ответил Луговой, по-прежнему не подымая головы.

— Признаете себя виновным в том, что пятого сентября тысяча девятьсот шестьдесят девятого года решили уничтожить опасного свидетеля своего преступного прошлого — Рябову Раису Ивановну, дав ей отравленную конфету?

— Признаю...

— Подпишите протокол.— Новиков придвинул к Луговому исписанный лист бумаги, и тот, не глядя, подписал его крупными, кривыми буквами...

Когда увели Лугового, Новиков откинулся на спинку кресла и неподвижно, закрыв глаза, просидел так несколько минут, потом вдруг резко выпрямился и набрал номер телефона.

— Дробов? Новиков говорит. Сообщаю: уравнение решено, неизвестных больше нет...

СОДЕРЖАНИЕ

Нисон Александрович Ходза

„ЗЛАЯ ЗВЕЗДА"

ПОВЕСТИ

Редактор *Б. Г. Друян*
Художник *С. А. Остров*. Художественный редактор *А. К. Тимошевский*. Технический редактор *В. И. Демьяненко*. Корректор *Л. М. Ван-Заам*

Сдано в набор 20/VIII 1975 г. Подписано к печати 15/XII 1975 г. Формат 70×108 1/32. Бум. тип. № 3. Усл. печ. л. 16,80. Уч.-изд. л. 16,63. Тираж 100 000 экз. Заказ № 281. Цена 61 коп.

Лениздат, 191023, Ленинград, Фонтанка, 59.

Ордена Трудового Красного Знамени типография им. Володарского Лениздата 191023, Ленинград, Фонтанка, 57.

Ходза Н.
Х 69 Злая звезда. Повести. Л., Лениздат, 1976.
381 с.

Книга Н. Ходзы рассказывает о самоотверженной службе чекистов, пограничников и работников милиции. Дело, которому они служат, требует не только мужества, но и душевной чуткости, любви к человеку, нравственной чистоты.

Х $\frac{70302-000}{М171(03)-76}$ 000—76

Н. ХОДЗА ✶ ЗЛАЯ ЗВЕЗДА